

Болеслав Прус

Форпост

I

Из-под маленького, как хата, пригорка бьет ключ — это исток реки Бялки. Он выдолбил в каменистой почве впадину, и вода в ней бурлит и гудит, как рой пчел, готовящихся к отлету.

На протяжении мили Бялка течет равниной. Села, леса, деревья в полях, кресты на распустьях — все видно как на ладони, но уменьшенное расстоянием. Равнина похожа на круглый стол, а человек посреди этого стола — точно муха, накрытая голубым колпаком. Ему дозволено есть все, что он сумеет сыскать и чего не отнимут у него другие, лишь бы он не заходил чересчур далеко и не слишком высоко возносился.

Но всего в одной миле к югу попадаешь как бы в другую местность. Низкие берега Бялки расступаются и становятся выше, гладь полей взбухает буграми, тропинка то поднимается вверх, то падает вниз, снова поднимается и снова падает — все круче и все чаще.

Равнина исчезла, кругом овраги, и вместо широких просторов справа и слева, впереди и позади вырастают высокие, в несколько этажей, холмы — отлогие или обрывистые, голые или поросшие кустами. Из одного оврага переходишь в другой, еще более дикий и узкий, потом в третий, четвертый... десятый... Сыро, пронизывает холод; взбираешься на горку и видишь огромную сеть разветвленных и переплетающихся между собой оврагов.

Еще несколько сот шагов по течению реки — и ландшафт снова меняется. Холмы тут ниже и стоят порознь, как громадные муравейники. В полдень солнечные лучи ударяют прямо в глаза; край оврагов остался позади, и открылась широкая долина Бялки.

Если земля — стол, на котором провидение уготовило трапезу для всех созданий своих, то долина Бялки — гигантское овальное блюдо с сильно загнутыми краями. Зимой оно белое, а в остальные времена года напоминает майолику, расписанную цветистыми узорами, суровыми, неправильными по рисунку, но прекрасными.

На дне этого блюда божественный гончар поместил луга и с севера на юг перерезал их лентой Бялки; на синем фоне реки гребни волн отливают по утрам и по вечерам багрянцем, золотом — среди дня и серебром — в ясные ночи.

Отделав дно, всемогущий мастер принялся лепить края, тщательно следя за тем, чтобы ни один из них не был похож на другие.

Западный край дик и мрачен. Луг здесь упирается в крутые склоны холмов, покрытых осыпью известняка. Лишь кое-где растет кустик шиповника, карликовая береза или чахлая черешня. Местами видна голая земля, как будто с нее клочьями содрали шкуру. Даже самые стойкие растения бегут отсюда, и

вместо зелени тут желтеет глина, сереют песчаные пласты или торчит утес, ощерившийся, как мертвец.

Восточный край совсем иной: он расположен амфитеатром, в три яруса, которые полого поднимаются один над другим. Первый ярус, у реки, — чернозем; в одной стороне его среди садов выстроились в ряд хаты — это деревня. На втором ярусе, суглинистом, чуть не над самой деревней раскинулась помещичья усадьба, — их соединяет старая липовая аллея. Вправо и влево большими прямоугольниками, засеянными пшеницей, рожью и горохом или занятыми паром, тянутся господские поля. Наконец, в третьем ярусе — песчаная почва; ее засевают овсом или рожью. Еще выше, как бы подпирая небо, чернеет сосновый лес.

Северный край долины холмистый, но холмы тут стоят в одиночку, как курганы. Три из них (в том числе и самый высокий в округе, с сосной на вершине) принадлежат крестьянину Юзефу Слимаку.

Хуторок этот — точно пустынь: вдалеке от деревни и еще дальше от имения.

В нем десять моргов земли; с востока он примыкает к реке Бялке, с запада — к большаку, который именно в этом месте пересекает долину и спускается к деревне.

Все постройки Слимака теснятся у дороги. Тут и хата с двумя дверьми — на большак и во двор, и конюшня под одной крышей с хлевом и закутом для коровы, и рига, и, наконец, навес, под которым стоят телеги.

Мужики из долины в шутку говорили про Слимака, что он живет, словно в сибирской ссылке. «Правда, до костела ему ближе, чем нам, — прибавляли они, — зато не с кем перекинуться словом».

Однако пустынь эта была не так уж безлюдна. В теплый осенний денек на холме можно было увидеть белую фигуру батрака, пахавшего на паре лошадок хозяйское поле, или жену Слимака с девкой-работницей, когда они обе в красных юбках копали картошку. В ложбинке между холмами обычно пас коров тринадцатилетний Ендрек Слимак, выделявавший при этом удивительнейшие выкрутасы. А если б хорошенько поискать, можно было найти и Стася, восьмилетнего мальчонку с белыми, как лен, волосами: он либо бродил по оврагам, либо, усевшись на горке под сосной, задумчиво глядел в долину.

Хутор этот, капля в море человеческих деяний, был отдельным, прошедшим разные фазы мирком со своей историей.

Вспомним, к примеру, время, когда у Юзефа Слимака было едва семь моргов земли, а в хате только он сам-друг с женой. Вскоре, однако, совершились два чрезвычайных события: жена его родила сына Ендрека, а в хозяйстве согласно уставу о сервитуте прибавилось три морга земли.

Обстоятельства эти произвели большую перемену в жизни Слимака: он купил корову и боровка, а на полевые работы стал нанимать кого-нибудь из деревенских бедняков.

Несколько лет спустя явился на свет и второй сын. Тогда Сливакова на пробу — всего на полгода — взяла себе в подмогу старуху поденщицу Собесскую. Проба затянулась еще на три месяца, но однажды ночью Собесская затосковала по корчме, сбежала в деревню, а на ее место поступила дурочка Зоська, тоже на полгода. Сливаковой все казалось, что вот-вот кончатся спешные дела и она управится без работницы.

Дурочка Зоська прожила у Сливаков около шести лет и, хотя работы у них не убавилось, перешла батрачить в имение. На этот раз Сливакова наняла пятнадцатилетнюю сиротку Магду; у девушки было свое хозяйство: корова, несколько полосок земли и полхаты, но она предпочла пойти в люди, лишь бы не оставаться в родном доме. По словам Магды, ее до полусмерти колотил дядя, а остальная родня только и знала, что уговаривала сироту смириться, внушая ей, что чем больше палок обломает дядя об ее хребет, тем для нее же будет лучше.

В ту пору Слика сам обрабатывал свое поле и лишь изредка брал кого-нибудь поденно. Тем не менее он еще успевал ходить со своими лошадьми в имение и возить из города товар евреям, живущим в поселке. Но когда его стали чаще звать в имение, он уже не мог управиться с хозяйством, нанимая поденщиков от случая к случаю, и принялся исподволь подыскивать себе батрака.

К осени жена вконец извела Слика, требуя, чтобы он нашел работника. Как раз в эту пору из больницы возвращался в родные места Мацек Овчаж, которому телегой придавило ногу. Путь его лежал мимо хаты Сливаков; он отошал, выбился из сил и присел отдохнуть на камне у ворот, жалостно поглядывая в сторону хаты. В это время в сенях хозяйка мяла для скотины вареную картошку, и вкусный запах ее разносился вместе с клубами пара по всему двору. От этого аромата у Овчажа засосало под ложечкой и так его разморило, что он словно прирос к камню.

— Никак, это вы, Овчаж? — окликнула его Сливакова, с трудом узнав одетого в лохмотья калеку.

— Я самый, — ответил бедняк.

— А говорили в деревне, будто вас задавило.

— Еще того хуже, — вздохнул Мацек, — в больницу меня свезли. Уж лучше бы убило меня на месте этой телегой! Не пришлось бы мне теперь тужить о ночлеге да не мутило бы меня с голодухи.

Хозяйка призадумалась.

— Кабы знать, что ты не помрешь, — сказала она, помолчав, — может, мы взяли бы тебя в батраки...

Мацек вскочил с камня и, волоча ногу, заковылял к хате.

— Чего мне помирать? — закричал он. — Зубы-то у меня здоровые, и работать я могу за двоих, только бы мне малость подкормиться. Дайте-ка мне борща с хлебом, наемся я досыта, так хоть целый воз дров вам наколю. На пробу возьмите

меня на недельку, я все ваши горы вспашу. Служить вам буду за одежду да за латанные сапоги; мне-то, главное, где-нибудь на зиму приткнуться...

Овчаж умолк, удивленный тем, что столько наговорил, потому что от природы он был немногословен. Сливакова осмотрела его со всех сторон, дала ему поесть, а когда он одолел миску борща да миску картофеля, велела ему сходить на реку умыться. Вечером, когда Слимак вернулся домой, она представила ему нового батрака, который уже и дров наколот, и скотину покормил.

Пока жена рассказывала ему, как это произошло, Слимак молчал. Но сердце у него было мягкое, и, подумав, он молвил:

— Что ж, Мацек, оставайся у нас, коли так. Нам будет хорошо, и тебе будет хорошо; нам будет худо, и тебе будет худо. А случись, не приведи господи, что и вовсе не станет хлеба в хате, тогда ты и пойдешь, как нынче шел, куда глаза глядят. Покрепче станешь, тогда всякий наймет тебя с охотой.

Таким образом, на хуторе появился новый обитатель. Тихий он был, как муравей, преданный, как собака, а работал, несмотря на свое увечье, не как одна, а как две лошади.

С этого времени в доме Слимака больше не прибавилось ни детей, ни работников, ни скотины — если только не считать рыжего пса Бурека. В жизни хутора установилось полное равновесие. Все хлопоты, все тревоги и чаяния, как и все помыслы, сосредоточились вокруг одной цели: сохранить существующее благополучие. Ради этого работница носила в печку дрова или, распевая, бежала вприпрыжку в погреб за картошкой. Ради этого хозяйка вскакивала на заре и спешила к своим коровам или жарилась у огня, придвигая и отодвигая огромные корчаги. Ради этого обливался потом Овчаж, то сгибаясь над плугом, то волоча свою хроную ногу за бороной. И, наконец, с этой же целью, еще шепча утренние молитвы, чуть свет уходил Слимак в помещичью ригу или вез в город проданное евреям зерно.

Оттого зимой, отдыхая от трудов, они горевали, что выпало на поля мало снега, или тревожились о том, где достать корма для скота. Оттого в мае они молили бога послать дождь, а в конце июня — ведро. И оттого после жатвы они гадали, сколько четвертей даст скирда и какие установятся цены. Словно пчелы вокруг улья, роились их мысли вокруг самого важного — заботы о хлебе насущном. Отклониться от этого пути им было трудно, сойти с него совсем — невозможно. Они даже не без гордости говаривали, что на то-де и барин, чтоб гулять да приказывать, а мужик — чтоб людей да себя кормить.

II

На дворе был апрель. После обеда вся семья Слимака разбрелась по своим делам. Хозяйка ту же затынула на затылке концы красного платка, вскинула на спину узел выстиранного белья и пошла на реку. За ней поплелся Стасек, разглядывая облака, показавшиеся ему сегодня не такими, как вчера. Работница Магда принялась мыть обеденную посуду, распевая все громче свое: «Ой, да-да!..» —

вслед удалявшейся хозяйке. А Ендрек, толкнув Магду и дернув собаку за хвост, схватил мотыгу и с пронзительным свистом побежал в огород копать гряды.

Слимак сидел у печки. Это был мужик среднего роста, широкий в груди, с могучими руками. На его спокойном лице темнели коротко подстриженные усы, лоб закрывали челкой длинные волосы, падавшие сзади на шею. У ворота его холщовой рубахи алела стеклянная запонка в медной оправе. Облокотясь левой рукой на кулак правой, он курил трубку, а когда глаза у него закрылись и слишком низко свесилась голова, он уселся поудобнее, облокотился правой рукой на кулак левой и снова раскурил трубку.

Пуская клубы сизого дыма, он дремал, время от времени сплевывая на середину горницы и перекладывая трубку из одной руки в другую. Но вот чубук его зачирикал, словно воробушек, — Слимак выколотил трубку о край лавки и поковырял в ней пальцем. Наконец он поднялся и, зевая, положил трубку на выступ печки.

Искося взглянув на Магду, Слимак пожал плечами. Девушка приплясывала даже за мытьем посуды, и резвость ее пробуждала в нем жалость. Уж он-то не стал бы приплясывать, он-то знал, как тяжелеют руки, ноги и голова, когда человек как следует наработается.

Слимак обул грубые сапоги с подковками, надел негнущийся зипун, опоясался жестким ремнем, нахлобучил на голову высокую баранью шапку и почувствовал, что его руки, ноги, все тело еще более отяжелели. Ему пришло на ум, что после громадной миски похлебки да такой же миски клецек с творогом было бы куда более кстати растянуться на соломе, нежели приниматься за работу. Но он пересилил себя и вышел во двор. Коричневый зипун и черная шапка придавали ему сходство с обуглившимся сверху сосновым пнем.

Рига была открыта, и из дверей, как нарочно, торчало несколько снопов соломы, маня Слимака вздремнуть. Но он отвернулся и окинул взглядом холм, на котором утром посеял овес. Ему показалось, что на бороздах желтеют зерна: в страхе они тщетно пытались спрятаться под землей от стайки воробьев, налетевших пеклевать овсеца.

— Так вы и съели бы меня до последней косточки! — буркнул Слимак. Тяжело передвигая ноги, он подошел к навесу и выволок оттуда две бороны, похожие на оконные решетки, утыканые дубовыми пальцами. Затем вывел из конюшни своих гнедок. Одна зевала, другая шевелила губами и, прищурясь, глядела на Слимака, словно говоря про себя: «А не лучше ли тебе, мужичок, и самому подремать, и нас не гонять по горам? Будто мало мы натоптались вчера?»

В ответ Слимак только покачал головой. Он запряг гнедок в одну борону, прицепил к ней другую, — и лошадки не спеша пустились в путь. Проехав зеленую лужайку за конюшней, они вскарабкались по бурому косогору и наконец добрались до вершины.

Если бы поглядеть со двора, поверх конюшни, загораживающей холм, могло бы показаться, что коренастый мужик и его понурые лошаденки расхаживают прямо по небесной лазури — сто шагов вперед, сто шагов назад. Всякий раз, когда они доходили до межи, с сердитым чириканьем вспархивала стайка воробьев и тучей летела на другой конец поля. А то усаживались пичуги в сторонке и тут поднимали галдеж: никак не могли понять, зачем Слимак засыпает землей столько добра...

«Глупый мужик! Глупый мужик!.. Да что за глупый мужик!..» — гомонили воробьи.

— Ну как же! — брюзжал Слимак. — Послушай я вас, дармоедов, так и вы все с голоду перемерете под забором. И они же еще насмеются, лодыри!..

Нет, радости не давал Слимаку его труд, которого никто даже не ценил. Мало того что расшумелись воробьи, критикуя его работу, что гнедые презрительно помахивали хвостами перед самым его носом, а бороны упирались изо всей мочи, не желая двигаться вперед, так еще каждый камешек, каждый комок земли старался на свой лад ему помешать. И вот, что ни шаг, уныло спотыкаются гнедые; правда, стоит Слимаку крикнуть: «Но-о, милые!» — как они трогаются с места, но тогда начинают бунтовать бороны и тянут их назад. Уймутся наконец бороны, выбившись из сил, тогда камни лезут под копыта лошадям, а пахарю под ноги или забивают боронам зубья, а иной раз и ломают. Даже земля и та ему противилась, неблагодарная.

— Ах ты свинья, хуже свиньи! — из себя выходил мужик. — Да кабы я свинью так чесал скребницей, как тебя бороной, она бы лежала смирнехонько да еще бы похрюкивала — вроде как спасибо. А ты все ершишься, словно я тебя обижаю!..

За оскорбленную землю вступилось солнце: оно бросило громадный сноп света на бурую пашню, показав на ней темные и желтоватые пятна.

«Вот смотри! — говорило солнце. — Видишь, черный клочок? Таким был весь холм, когда твой отец сеял на нем пшеницу. А теперь погляди на тот, желтый: это глина выпирает из-под чернозема, скоро она покроет всю твою землю».

«А я чем же виноват?» — возразил Слимак.

«Ты-то не виноват? — прошептала, в свою очередь, земля. — Сам-то ты ешь три раза в день, а меня — часто ли кормишь?.. Дай бог, раз в восемь лет! Да и тогда много ли мне даешь? Собака и та бы околела на таких харчах. И ведь чего пожалел для меня, для сироты?.. Стыдно сказать: конского да коровьего навоза!..»

Повесив голову, мужик сокрушенно молчал.

«Сам-то ты спишь, ежели жена не прогонит из хаты, и всю ночь, и среди бела дня, а мне даешь ли когда передохнуть? Раз в десять лет, да и тогда меня скотина топчет. Чего же мне радоваться, что ты меня боронуешь? Попробуй-ка, не дай корове сена и не подстели ей соломы, а только чеши ее да скреби, вот увидишь,

много ли у нее будет молока? Сдохнет твоя корова, да еще из общины тебе ветеринара пришлют, чтоб он добил остальную животину, так и шкуры с этой падали ни один живодер не купит».

«Господи, помилуй и спаси!..» — вздыхал мужик, признавая, что земля права. И, хоть он горевал и раскаивался, никто его не жалел. Наоборот, то и дело налетал западный ветер, пробивался сквозь засохшие стебли на меже и свистел над самым его ухом:

«Погоди, погоди, уж я тебе задам!.. Такой нагоню дождь, такой потоп, что последний чернозем у тебя смоет на дорогу или на помещиковы луга. И тут хоть собственными зубами боронуй, все равно из года в год так и пойдет все хуже и хуже. Все у тебя запустеет!»

Не напрасно грозился ветер. При отце-покойнике, старом Слимаке, на этом месте собирали чуть не по пятьдесят четвериков пшеницы с морга. А нынче и за тридцать четвериков ржи надо благодарить бога; что же будет года через два, через три?..

— Вот она, мужицкая доля! — бормотал Слимак. — Работаешь, работаешь, а все беда беду погоняет. Эх, не так бы я хозяйствовал, кабы мог прикупить еще одну коровушку да хоть вон тот лужок... — Он показал кнутом на луг у реки.

«Глупый мужик! Что за глупый мужик!» — чирикали воробьи.

«Гляди, вон глина выпирает из-под чернозема», — твердило солнце.

«Голодом меня моришь, передохнуть не даешь...» — стонала земля.

«Дурень ты, дурень!» — сердито ворчали ленивые, но зубастые бороны.

«Хи-хи!» — смеялся ветер между засохших стеблей.

— Вот она, моя доля! — шепнул Слимак. — Кабы это помещик или хоть эконом меня распекал, мне бы не так было обидно. А то уж и от твари безъязыкой не дождешься доброго слова...

Он запустил всю пятерню в волосы, сдвинув шапку на левое ухо, и остановил лошадей, чтобы поглядеть по сторонам и развеять грустные думы.

У большой дороги перед хатой Ендрек копал мотыгой гряды; он то и дело разгибался и швырял камнями в птиц или, фальшивя, горланил:

Эх!.. Уж как я дерну
Краковяка крепко,
Затрещат сапожки,
Половицы — в щечки! —

или стучал в окошко и пронзительно визжал, передразнивая Магду:

Я тебя в потемках,
Стась, не разглядела,
А то бы, ей-богу,

Отворить велела!

А она отвечала ему из горницы на тот же мотив:

Пусть я, сиротинка,
Буду побираться,
По углам не стану
Ночью целоваться.

Слимак обернулся к лужайке и увидел свою бабу: она стояла под мостом в рубашке и легкой юбке и, нагнувшись, колотила белье вальком так, что эхо отдавалось по всей долине. Стасек тоже был на лугу, но уже не сидел возле матери, а один брел вверх по реке, к оврагам. Время от времени он присаживался на берегу и, подперев голову руками, подолгу смотрел в воду.

«Хотел бы я знать, что он там высматривает?» — усмехнулся мужик. Стасек, его любимец, был непохож на других ребятишек и часто видел то, что для глаз обыкновенных людей оставалось недоступным.

Слимак взмахнул кнутом, и лошади тронулись. Снова заворчали бороны, снова вспорхнули из-под ног воробьи, снова ветер засвистел между стеблей, но мужика уже поглотили другие мысли.

«Сколько же у меня земли? — соображал он. — Всего десять моргов — и луга ни клочка. Если мне засеять только шесть или семь моргов, а остальное пускать под пар, чем я прокормлю семью? Батрак ест не меньше меня, даром что хромой, да еще пятнадцать рублей жалованья ему давай. Магда — та много не съест, но и проку от ее работы — кот заплакал. Одно спасение, что иной раз в имение позовут подсобить да к евреям наймешься с телегой или баба продаст маслица и яиц либо поросенка откормит. А много ли за все это получишь? Слава богу, если за год припрячешь в сундук пятьдесят рублей. А ведь когда мы поженились, у нас и сотенная была не в диковину».

«Вот тут и давай навоз земле, когда и так-то едва-едва хватает хлеба, а сено и овес приходится покупать в имении. А случись, неохота им продавать корма или звать на работу — что будешь делать? Хоть подыхай с голоду да еще скотину гони на ярмарку...»

«У меня ведь не столько земли, — размышлял Слимак, — как у Гжиба, Лукасяка или Сарнецкого. Те господами стали. Один со своей бабой в костел уже ездит в бричке, другой ходит в картузе, точно бондарь, а третий — который год норовит подсидеть старшину и пристроиться к теплomu местечку. А ты тут бейся, как знаешь, на своих десяти моргах да еще эконому кланяйся в ноги, чтобы не забыл про тебя».

«Нет, пусть уж идет, как шло до сих пор! — решил Слимак. — Легче ксендзу управиться на тридцати моргах, чем бедняку на одном. Будь у меня побольше скота да луг, не стал бы я милости просить в имении, да и клевер бы посеял...»

Вдруг за рекой, на дороге поднялось облако пыли. Слимак заметил его и подумал, что кто-то из имения едет верхом к мосту. Но ехал он как-то странно. Облако

пыли то подвигалось вперед, то вдруг пятилось назад шагов на пятнадцать — двадцать. Минутами пыль оседала, и тогда зоркие мужицкие глаза могли различить коня и всадника, но затем она снова подымалась и клубилась на дороге, словно налетела буря.

Слимак остановил лошадей и, щитком приставив руку к глазам, стал раздумывать:

«Чудно как едет, и кто бы это мог быть? Помещик не помещик, кучер не кучер, вроде и вовсе душа не христианская, но и не еврей!.. Еврей аккурат так корежится на лошади, как этот; но опять же нет у еврея такой лихости в езде. Верно, кто-нибудь нездешний или полоумный...»

Между тем всадник подскакал к мосту, и Слимак уже мог хорошенько его разглядеть. Это был молодой человек тщедушного сложения, в светлом костюме и бархатном картузике с большим козырьком. На носу у него были очки, во рту папироса, а под мышкой хлыст. Поводья он держал в обоих кулаках, которые так и подпрыгивали от шеи лошади к самому его подбородку. Вывернув ноги, всадник с такой силой сжимал ими бока своего коня, что брюки его задрались до колен и над низкими ботинками виднелось исподнее.

Даже человек, совершенно не сведущий в верховой езде, сразу бы догадался, что наездник этот впервые сел на лошадь, а лошадь впервые везет такого наездника. Минутами оба они в полной гармонии двигались рысью, но вдруг подскакивавший в седле всадник терял равновесие, дергал поводья, и чуткая к малейшему прикосновению лошадь сворачивала в сторону или останавливалась как вкопанная. В такие минуты всадник принимался чмокать и сжимать коленями седло, но вскоре убеждался, что это не действует, и силился достать торчавший под мышкой хлыст. Наконец лошадь, догадавшись, что ему нужно, снова бежала рысью, приводя в движение руки, ноги, голову и туловище всадника, дергавшегося в седле, как тряпичная кукла.

Как ни смирна была лошадь, порой все же ее охватывало отчаяние, и она пускалась вскачь. Однако всадник каким-то чудом находил равновесие и, возбужденный быстрой ездой, давал волю фантазии. В мечтах он видел себя капитаном кавалерии, во главе эскадрона мчавшимся в атаку. Вдруг рука его, еще не «освоившаяся» с офицерским званием, делала лишнее движение, лошадь внезапно останавливалась, и всадник тыкался ей в шею носом и папиросой.

Все это, однако, нисколько не портило ему настроения: с самого детства он бредил верховой ездой и лишь сегодня наконец получил возможность досыта насладиться ею.

Время от времени лошадь, почувствовав, что ей отпустили поводья, поворачивала назад к деревне. Тогда всадник видел стайку собак и ребятишек, гнавшихся за ним с видимым удовольствием, и его «демократическое» сердце наполняла дружелюбная радость. Наряду с стремлением к рыцарским подвигам в душе его жила страстная любовь к народу, который он изучил в такой же степени, в какой овладел искусством держаться в стремях. Однако он тотчас

подавлял вспышку любви к народу, снова возбуждал в себе кавалерийские инстинкты и посредством чрезвычайно сложных приемов поворачивал обратно к мосту. Очевидно, у нею было намерение пересечь долину поперек.

— Эге! Да это, видать, баринов шурин приехал из Варшавы, его ведь ожидали! — произнес вслух развеселившийся Слимак. — Женку себе барин нашел хоть куда и ездил за ней недалеко, а чтоб выискать такого шурика, пришлось, верно, полсвета объехать... В наших краях медведя скорей встретишь, нежели такого ездока. Ну, стало быть, он глупей последнего подпaska, хоть и баринов шурин... А, как ни говори, все-таки баринов шурин!

Пока Слимак оценивал таким образом «друга народа», всадник въехал наконец на мост. Стук валька привлек его внимание; он повернул коня и с высоты седла свесил голову над водой. Тощей фигурой и задраным жокейским козырьком он напоминал журавля.

«Чего ему там понадобилось?» — подумал мужик.

Панич, видно, спросил о чем-то сидевшую на корточках женщину; она привстала и подняла голову. Юбка ее была высоко подоткнута, и Слимак лишь теперь заметил, какие у нее красивые белые колени. Мороз пробежал по его коже.

«Какого черта ему надо от моей бабы? — повторял Слимак. — На лошади сидит, как нищий на паперти, а к бабам приставать — на это он горазд! Ну, и моя тоже — могла бы малость прикрыть свою красоту, а то расселась — смотреть тошно. Как-никак это баринов шурин...»

Баринов шурин съехал с моста, не без труда повернул лошадь к воде и остановился возле Слимаковой. Мужик уже не бормотал, а смотрел на них во все глаза. Колени жены показались ему еще белее.

Вдруг произошло что-то непонятное. Панич протянул руку к бусам на шее Слимаковой, но она так решительно взмахнула вальком, что конь в испуге выскочил из воды, а всадник обхватил его шею коленями.

— Что ты делаешь, Ягна! — ахнул Слимак. — Это же баринов шурин, дура!..

Но крик его не долетел до Ягны, а панич нисколько не обиделся на то, что ему погрозили вальком. Он послал Слимаковой воздушный поцелуй, привстал в стремях и пришпорил коня. Умное животное угадало его намерения. Высоко вскинув голову, конь резвой рысью понесся к хате Слимака. Однако счастье снова изменило паничу: нога его выскользнула из стремени, он обеими руками вцепился в гриву и заорал что было мочи:

— Тпру!.. Стой же ты, черт!..

Услышав крик, Ендрек взобрался на ворота и при виде странно одетого панича захохотал во все горло. Лошадь шарахнулась влево и так трянула всадника, что с головы его свалился бархатный картузик.

— Подними-ка мою шапку, дружок!.. — на скаку крикнул панич Ендреку.

— Сам потерял, сам и поднимай. Ха-ха-ха! — покатывался Ендрек и захопал в ладоши, чтобы испугать скакуна.

Все это видел и слышал Слимак. В первую минуту у него отнялся язык — в такой гнев его привело нахальство сына, но он мигом опомнился и гаркнул:

— Ах ты щенок этакий!.. Сейчас же подай ермолку паничу, раз тебе велено!

Ендрек поднял двумя пальцами картузик и, стараясь держать его подальше от себя, подал всаднику, который наконец совладал с лошастью.

— Благодарю, очень благодарен, — проговорил панич, смеясь не хуже парнишки.

— Ендрек! Ты что же, собачий сын, шапку не снимаешь перед паничем? — орал с горки Слимак. — Сейчас женими!

— Буду я перед всяким шапку ломать! — ответил дерзкий мальчишка.

— Отлично! Очень хорошо!.. — радовался панич. — Погоди, вот тебе золотый. Свободный гражданин ни перед кем не должен унижаться.

Но Слимак не разделял демократических взглядов панича. Бросив вожжи, с шапкой в одной руке и кнутом в другой, он уже бежал к Ендреку.

— Гражданин, прошу тебя, гражданин, — зывал панич к Слимаку, — не трогай этого юношу... Не подавляй в нем независимости духа... Не...

Он собирался было продолжать, но лошади надоело стоять, и она понесла его к мосту. По дороге всадник встретил возвращавшуюся домой Слимакову, снял испачканный в пыли картуз и, замахав им, прокричал:

— Прошу вас, пани, не позволяйте бить мальчика!..

Ендрек исчез, панич повернул назад и снова проехал по мосту, а Слимак все еще стоял на том же месте с шапкой в одной руке и кнутом в другой, пораженный всем происшедшим. Что за чудак! Пристал к его жене, обрадовался нахальству Ендрека, почтенного крестьянина назвал «гражданином», а бабу его — «пани»...

— Вот фармазон! — буркнул Слимак. Затем надел шапку и, рассерженный, вернулся к лошадям.

— Нно-о, милые! Ну и времена настали, ну-ну! Деревенский малый не хочет поклониться барину, а барин его же похваливает. Да уж и барин! Хоть он и шурин помещику, а в голове у него неладно! Нно-о, милые! Скоро и вовсе господа переведутся, и тогда мужику крышка! А может, Ендрек мой, как подрастет, и вправду надумает что другое, только мужиком он не будет, ей-ей, не будет! Нно-о, милые!..

Ему казалось, что он уже видит своего Ендрека в низких ботинках и бархатном картузике.

— Тьфу! — сплюнул мужик. — Нет, куда я жив, тебе, щенок, по-господски не одеваться. Нно-о, милые! Придется ему нынче задать трепку, а то малый до того избалуется, что, пожалуй, перед самым помещиком шапки не снимет, а тогда

заработка не жди. Только этого не хватало! А все из-за бабы, это она с пути сбивает парня. Ничего не поделаешь, придется нынче пересчитать ему ребра!..

Тут Слимак снова заметил пыль на дороге, но уже со стороны равнины, и различил два неясных силуэта: один — высокий, другой — продолговатый.

«Корову кто-то ведет, — подумал мужик, — куда бы это? Ярмарки будто нет... Непременно выдеру парня, хоть сам господь бог за него вступись... Чья же это корова?.. Нно-о, милые! Эх, кабы мне еще коровку да в придачу этот лужок!..»

Съехав с вершины холма, он принялся бороновать косогор, спускавшийся к Бялке. У реки он увидел Стасека, зато потерял из виду свой хутор и таинственного мужика с коровой. От усталости у него не подымались руки, едва двигались ноги, но всего тяжелее было сознание, что ему, верно, никогда не удастся хорошенько отдохнуть. Кончит он работу на своем поле, надо идти в город, — а то чем же жить?

«Хоть бы разок отлежаться вволю! — думал мужик. — Эх, будь у меня побольше землицы или еще одна корова да луг, я бы тогда знай себе полеживал...»

Он уже с полчаса шагал за бороной на новом месте и то чмокал лошадям, то мечтал о том, что когда-нибудь отлежится, как вдруг услышал:

— Юзеф! Юзеф! — и увидел на холме свою бабу.

— Ну, чего тебе? — спросил мужик.

— Что случилось-то, знаешь? — заговорила, запыхавшись, хозяйка.

— А почему я знаю? — забеспокоился мужик. «Неужто новая подать?» — мелькнуло у него в голове.

— Пришел к нам дядька Магды, ну, этот, Войцех Гроховский...

— Девку, что ли, пришел забирать?.. Ну, и пусть берет.

— Как бы не так, только ему и заботы, что о девке! Корову он привел и хочет продать ее Гжибу за тридцать пять рублей бумажками и рубль серебром за повод. Заглядение — корова, верно тебе говорю.

— Пускай продает, мне-то что?

— А то, что мы ее купим, — решительно заявила Слимакова.

Мужик даже кнут уронил наземь и, задрвав голову, уставился на жену.

Он и правда давно мечтал о третьей корове, но отдать сразу тридцать с лишним рублей и произвести такой переворот в хозяйстве — это показалось ему просто чудовищным.

— Бес тебя, что ли, попутал? — спросил он.

Баба уперлась руками в бока.

— А чего меня путать? — проговорила она повышая голос. — Что ж, меня уж и на корову не станет? Гжиб своей бабе бричку купил, а тебе скотины для меня

жалко?.. Стоят у нас две коровы в закуте, что ж, много тебе с ними забот? А нашлась бы у тебя хоть одна крепкая рубаха, кабы не наши коровы?

— Господи помилуй! — простонал мужик, у которого от скороговорки жены начинали путаться мысли. — Да чем же ты ее кормить будешь? Сена мне больше в усадьбе не продадут. Ну, говори, чем? — спрашивал он.

— Арендуй у барина хоть этот лужок, вот тебе и сено, — ответила жена, показывая на полосу земли, зеленевшую между рекой и пашней Слимака.

Возможность так скоро осуществить свои самые дерзкие мечтания поразила мужика.

— Побойся ты бога, Ягна, что ты болтаешь? Как же это я арендую луг?

— Сходи в усадьбу, попроси барина да заплати за год, только и всего.

— Спятила баба, ей-богу, спятила! Да ведь нынче наша скотина щиплет тут траву даром, а заплати я за аренду — что тогда? Тогда-то уж не будет даром.

— Заплатишь за аренду, будет у тебя третья корова.

— На черта она сдалась, если мне и за нее и за луг надобно платить. Не пойду я к барину.

Жена подошла поближе и посмотрела ему в глаза.

— Не пойдешь? — спросила она.

— Не пойду.

— Ну, так я и дома раздобуду сено, только ты тогда не то что к барину, а к самому дьяволу пойдешь, если тебе не хватит для лошадей. А корову эту я не упусти и куплю...

— Ну и покупай.

— И куплю, но ты ее сторгуешь: мне-то некогда Гроховского уламывать, да и водку с ним я не стану пить.

— А ты пей, а ты уламывай, раз захотелось тебе корову! — кричал Слимак.

Бабенка подскочила к нему и, грозя кулаком, затараторила:

— Юзек, ты смотри у меня не бунтуй, коли у самого нет правильного соображения! Ты меня слушайся. То все охал, что навозу мало, голову мне дурил, что тебе скотина нужна, а подвернулся случай, покупать не хочешь. Наши-то коровы ничего тебе не стоят да еще деньги дают и молоко; так и новая тебе деньги принесет, ты только меня слушайся. Говорю тебе: меня слушайся! Кончай работу и ступай домой, да смотри сторгуй корову, не то я и знать тебя не хочу...

Сказала и ушла, а мужик схватился за голову.

— Ох, и беда мне с бабой! — причитал он. — Где уж мне, горемычному, луг арендовать?.. Барин и толковать со мной об этом не станет. Да и трава всегда была у нас даровая, сколько скотина ни съест, а теперь как?.. Уперлась баба,

понадобилась ей корова, и что хочешь делай, хоть головой об стену... И зачем я, горемычный, родился, зачем на белый свет явился, — куда ни кинь, одно только расстройство!.. Нно-о, милые!

Он взмахнул кнутом, дернул вожжи и стал опять боронить. Ему казалось, что камни и комья земли снова ворчат: «Дурень ты, дурень!..» — а ветер смеется среди стеблей и шепчет: «Тридцать пять рублей бумажками заплатишь, да еще рубль серебром за повод. Копил-копил день за днем, неделю за неделей, ровно девять месяцев, а нынче сразу отдашь все, как одну копеечку. Гроховский набьет себе карманы новенькими бумажками, а твой кошель отощает. Да еще придется тебе загородку с кормушкой для коровы ставить, да с тревогой и страхом барину в ножки кланяться, да за луг платить, да часами дожидаться эконома, чтобы дал квиток на аренду...»

— Ох, беда, беда! — бормотал мужик. — Нно-о, милые! Сколько времени копишь грошик за грошиком, пока соберешь рубль, сколько набегаешься, покуда новенькую бумажку выменяешь... Нно-о, милые! А тут еще барин, пожалуй, не захочет луг отдавать...

«Чего врешь, чего врешь; знаешь, что отдаст», — чирикали воробьи.

— Отдать-то отдаст, — неохотно признал Слимак, — да за аренду велит платить. А то, бывало, скотинка пощиплет по-соседски травку задаром, без единого гроша! Боже мой милостивый, что за несчастливый день выдался нынче!.. Этакую кучу денег отдать!.. Лучше бы меня самой что ни есть тяжелой хворью скрутило, только бы не бросать попусту этикие деньги!

Солнце уже клонилось к западу, когда Слимак перешел с бороной на последнюю полосу, у самой дороги. В эту минуту заревела та корова, которую он должен был купить; рев ее понравился мужику и даже затронул какую-то струнку в его сердце.

«Ясное дело, три коровы — не то что две, — подумал он. — При таком хозяйстве мне и почету будет больше. Беда только с лугом да с деньгами. Эх, сам я кругом виноват...»

Ему вспомнилось, сколько раз, бывало, разлегшись на лавке, он не спал, а строил всякие планы и рассказывал о них жене. Сколько раз говорил, что непременно введет у себя шестиполье и посеет клевер! Сколько раз хвалился, что он на все руки мастер и мог бы в зимнее время делать телеги и всякую хозяйственную утварь, как ему советуют люди!.. Да и не сам ли он мечтал о третьей корове? Не сам ли хотел арендовать луг?

Жена терпеливо слушала — год, два, три года, а нынче вот и велит ему купить корову и арендовать луг. Да чтобы сейчас же, немедленно! Иисусе милостивый, экая упрямая баба! Она еще, чего доброго, заставит его клевер сеять и телеги мастерить.

Станный человек был Слимак. Во всем он понимал толк, даже в жнейках; все умел наладить, даже молотилку в имени починил; все мог придумать и

сообразить, даже как перейти на севооборот в своем хозяйстве, но сделать не решался ничего, пока его не заставляли насильно. Ему недоставало той тонкой нити, которая связывает замысел с исполнением, зато чересчур развит был «нерв послушания». Помещик ли, ксендз ли, староста или жена — все были посланы богом, чтобы приказывать Слимаку, но сам он не умел себе приказать. Мужик он был умный, даже изобретательный, но самостоятельности боялся пуще бешеной собаки. У него даже поговорка такая была: «Мужицкое дело — работать, а господское — гулять да приказывать».

Солнце коснулось макушек гор, опоясывающих долину. Слимак со своими боронами уже добрался до большой дороги и раздумывал, как он будет торговаться с Гроховским, когда услышал позади грубый окрик:

— Эй! Эй!

На дороге стояли двое. Один — седой, бритый, в синем кафтане с высокой талией и в немецкой шляпе с загнутыми полями; второй — помоложе, очень прямой, с светлой бородкой, в пальто и картузе. За ними, на некотором расстоянии, дожидалась бричка, запряженная парой лошадей, которыми правил человек в синем кафтане и картузе.

— Это твое поле? — резко спросил Слимака бородатый.

— Подожди, Фриц, — прервал его старик.

— Почему я должен ждать? — вскинулся бородатый.

— Подожди. Это ваша земля, хозяин? — спросил старик несравненно мягче.

— Моя и есть. А то чья же? — ответил мужик.

В эту минуту прибежал с луга Стасек; он уставился на чужаков с удивлением и недоверием.

— И луг этот твой? — спросил бородатый.

— Подожди, Фриц. Это ваш луг, хозяин? — поправил сына старик.

— Не, не мой, господский.

— А чья та гора с сосной?

— Подожди, Фриц.

— Ах, отец, вы любите слишком много болтать...

— Подожди, Фриц, — не унимался старик. — Эта гора с сосной — ваша?..

— Моя, конечно, а то чья же еще?

— Видишь, Фриц, — заговорил старик по-немецки, — здесь можно было бы построить ветряную мельницу для Вильгельма. — И он показал рукой на вершину горы.

— Вильгельм не строит мельницы не потому, что нет достаточно высокой горы, а потому, что он лентяй, — сердито ответил Фриц.

— Прощу тебя, Фриц, будь терпелив. А вот те поля за большой дорогой и овраги — это уже не ваши? — снова обратился старик к мужику.

— Какие же они мои, раз они господские.

— Ну да, — раздраженно прервал бородач, — всем известно, что этот мужик торчит посредине помещичьих полей и нужен тут, как дыра в мосту. Грош цена всему этому делу.

— Подожди, Фриц, — успокаивал его старик. — Вас, хозяин, со всех сторон окружают помещичьи поля?

— Так оно и есть.

— Ну, довольно! — проворчал бородач и потащил отца к бричке.

— Оставайтесь с богом, хозяин, — проговорил старик, слегка приподняв шляпу.

— Ох, как вы любите болтать, — прервал бородач, грубо подталкивая отца. — Из Вильгельма ничего не выйдет, хотя бы вы нашли ему десять таких гор.

— Чего им надо? — вдруг спросил Стасек.

— И верно, — опомнился мужик. — Эй вы, господа!.. Старик повернул голову. — А вы почему про все выпрашиваете?..

— Потому что так нам нравится! — ответил бородач и насильно усадил отца в бричку.

— Будьте здоровы, до свидания! — крикнул старик Слимаку.

Бородач пожал плечами и велел трогать. Бричка покатила к мосту.

«Сколько ж народу прошло нынче по дороге, — рассуждал сам с собой Слимак. — Будто на ярмарку или на богомолье...»

— А что это за люди? — снова спросил Стасек.

— Те, что уехали в бричке? Верно, немцы из Вульки, за три мили отсюда.

— А зачем они спрашивали про землю?

— Разве одни они спрашивали, сынок? — ответил мужик. — Иным до того нравилась наша сторона, что они лазали вон туда, на самую макушку, где сосна. Потом слезут — и поминай как звали.

Слимак окончил работу и повернул лошадей к дому. О немцах он уже позабыл: все его внимание поглотили корова и лужайка. А что, если и вправду купить корову и арендовать лужок? Мурашки пробежали у него по спине при мысли, что самое заветное его желание может исполниться.

Еще одна корова и два морга луга — да это рублей тридцать барыша в год! Тогда и землю можно лучше унавозить, и хлеба больше продать, и на зиму взять в дом старика, чтобы поучил ребятишек грамоте... Что-то другие хозяева сказали б, видя его достаток? Тогда бы уж ему уступали место и в костеле и в корчме. А как отдохнуть можно при таком богатстве!

Ох, отдохнуть! Слимак не знал ни голода, ни холода, дома у него все ладилось, с людьми он дружил, водились у него и деньги, и совсем бы он был счастлив, если б только кости не ломило от работы да мог бы отлежаться и отсидеться, сколько душа пожелает.

III

Вернувшись домой, Слимак оставил бороны на батрака, а сам принялся осматривать корову, стоявшую на привязи у плетня. Уже смеркалось, но мужик сразу увидел, что корова хороша: вся белая, в черных пятнах, и вымя большое, а голова маленькая, с короткими рожками. Разглядев ее как следует, он убедился, что обеим его коровам далеко до этой.

Ему пришло в голову, что не худо бы поводить ее по двору, но он чувствовал, что на это у него не хватит сил. Казалось, руки вылезут из суставов, а ноги просто отвалятся, если он двинется с места. Вот работает человек, гнет спину от зари до зари, но как сядет солнце, тут уж ему надо отдохнуть, ничего не поделаешь. И он не стал проваживать корову, а только погладил. А когда она, словно угадав в нем нового хозяина, повернула голову и ткнулась мокрой мордой ему в руку, Слимака охватила такая нежность, что он готов был обнять ее за шею и расцеловать, как человека.

— Непременно ее куплю, — пробормотал мужик, позабыв об усталости.

В дверях показалась хозяйка с ушатом помоев.

— Мацек! — кликнула она батрака, — как напьется корова, загони ее в закут. Староста у нас заночует, не оставляй же ее во дворе.

— Ну как? — спросил Слимак жену.

— Да как? — ответила она. — Просит тридцать пять рублей бумажками да рубль серебром за повод. Но, что правда, то правда, — прибавила она, помолчав, — корова этого стоит. К вечеру я подоила ее, так, веришь ли, хоть устала она с дороги, а молока дала больше, чем наша Лыска...

Мужик снова ощутил боль в руках и в ногах. «Господи боже мой, сколько натопчешься, намокнешь, недоспишь, покамест сколотишь тридцать пять рублей бумажками да еще рубль серебром! Хоть бы Гроховский уступил что-нибудь...»

— А ты не спрашивала, — снова заговорил Слимак, — он не сбавит?

— Ну, как же!.. Спасибо, если захочет продать. Он все толкует, будто давно уж обещался Гжибу.

Слимак схватил себя за волосы.

— И какая нелегкая его принесла! — запричитал он. — За какие грехи господь так тяжело меня наказывает!.. Я еще не знаю, отдаст ли мне пан лужок, а тут — шутка ли — этикие деньги плати за корову...

— Юзек, не дури, образумься, — наставляла его жена. — Сколько раз в имении сами тебе навязывали луг, а насчет коровы — попробуй поторгуйся. Сбавит он, нет ли, а ты угости его получше, выпей с ним водки; господь не без милости: может, староста и опомнится. Ты только зря не болтай да на меня почаще поглядывай, вот увидишь: все будет ладно.

В это время приковылял батрак и стал отвязывать корову.

— Что, Мацек, — спросила хозяйка, — правда ведь, хороша скотина?

— Ого-го!.. — ответил батрак, потрясая над головой выставленным пальцем.

— Но и деньги за нее немалые, а? — спросил хозяин.

— Ого-го!..

— А что ни говори, она того стоит, верно, Мацек? — поспешила вернуть хозяйка.

— Ого-го!..

После столь многословного высказывания Овчаж отвел корову в закут, а она, оглядываясь по сторонам, так душевно помахивала хвостом, что Слимак не мог подавить в себе волнения.

— Видно, воля господня, — прошептал он. — Попробую ее сторговать. — И направился к дверям хаты.

— Юзек, — остановила его жена, — смотри только не болтай и уши не очень развешивай. Ты думай о том, как бы побольше выторговать, а ежели язык чересчур развяжется, на меня поглядывай. Он ведь кремень-мужик — этот Войцех, одному тебе с ним не сладить.

Слимак еще на пороге снял шапку, перекрестился и вошел в сени. Сердце у него так и сжималось: и денег было жалко, и сомнения одолевали — удастся ли ему выторговать хоть рубль.

Гость сидел на лавке в передней горнице; пламя печки освещало его и Магду, которой он по-отечески внушал, чтобы она была честной, работающей и слушалась своих хозяев.

— В воду велют тебе броситься, — говорил он, — бросайся в воду; в огонь велют кинуться — кидайся в огонь. Случись, хозяйка даст тебе тумака, а то и поколотит, руку ей поцелуй да скажи спасибо, истинно говорю тебе: благословенна рука наказующая.

Произнося эти слова, староста воздел руку кверху, лицо его приняло торжественное выражение; в красном отсвете огня он был похож на проповедника. Магде чудилось, что даже тени, прыгающие по стенам, поддакивают его словам и что вечерний сумрак, заглядывая в окошки, повторяет за дядей: «Благословенна рука наказующая!»

Она плакала навзрыд. Ей то казалось, что она слушает прекрасную проповедь, то — что от каждого слова опекуна на спине у нее взбухают багровые полосы. Она

не испытывала ни страха, ни обиды, а скорее благодарность, к которой примешивались воспоминания недавнего, но уже далекого детства.

Дверь в хату скрипнула, и всю ее ширь заполнил Слимак.

— Слава Иисусу Христу, — приветствовал он гостя.

— Во веки веков, — ответил Гроховский.

Он поднялся с лавки и, выпрямившись, чуть не уперся головой в потолок.

— Спасибо вам, староста, что зашли нас проведать, — сказал Слимак, протягивая ему руку.

— Вам спасибо за ласковую встречу, — ответил Гроховский.

— Может, вам тут у нас неудобно? Вы прямо говорите.

— Э, так хорошо, как и дома не всегда бывает; не только меня, но и скотину хозяйка ваша не оставила без попечения.

— Слава богу, что довольны.

— Вдвойне доволен: по всему видать, Магде у вас живется так, что лучше во всем свете не сыщешь... Магда! — обратился Гроховский к девушке, — а ну, поклонись в ноги хозяину да скажи спасибо, что он для тебя добрее отца родного. А вы, кум, сделайте милость, не жалейте для нее ремня.

— Что ж, она девка неплохая, — ответил Слимак.

Девушка, продолжая всхлипывать, повалилась в ноги — сперва дяде, потом хозяину — и убежала в сени. Слезы снова сдавили ей горло, но глаза уже высохли. Понемногу она успокоилась и, делая вид, будто выбежала по хозяйству, стала протяжно и жалобно кликать свиней.

— Чуш, чуш, чу-ушиньки, чуш...

Но свиньи уже спали. Зато вместо них из мрака вынырнул Бурек, а вслед за собакой Ендрек и Стась. Ендрек хотел было сбить Магду с ног, но та заехала ему кулаком в глаз, он схватил ее за одну руку, Стасек за другую, и все четверо выкатились на дорогу. В темноте нельзя было различить, где собака, а где кто из ребят, так они все перемешались и такой подняли вой и лай вместе с Буреком. Так они и растаяли в тумане, повисшем над лугами.

Между тем в горнице, рассевшись у печки, хозяева вели беседу.

— Что такое у вас приключилось, — спросил гостя Слимак, — почему надумали вы избавиться от коровы?

— Видите, какое дело, — начал Гроховский, кладя руку ему на колено. — Корова эта не моя, а Магдина, ну, а жена давно меня точит: не хочу, говорит, держать чужую корову, своим, дескать, тесно в закуте. Я, конечно, не очень слушаю бабью болтовню, но тут как раз вышел случай: продают землю Комара, того, что спился

и помер. А поле-то его приходится возле самой Магдиной полоски, вот я и думаю: надо продать корову и купить Магде морг земли. Ведь земля — это земля.

— Ох, правда, — вздохнул Слимак.

— То-то и оно. А как выйдут всякие льготы да наделы, девка наша получит больше, чем получила бы теперь.

— Это как же? — заинтересовался Слимак.

— Будут давать столько, сколько у кого уже есть. У меня, к примеру, двадцать пять моргов, мне и дадут двадцать пять. У вас сколько?

— Десять.

— Ну, и добавят десять. А Магде, если у нее будет два с половиной морга, дадут еще два с половиной.

— А верно это — насчет надела?

— Кто его знает? — ответил Гроховский. — Одни говорят — верно, а другие смеются. Я так думаю: дадут или не дадут, а все лучше купить девке лишний морг, раз выходит такой случай. Тем более и баба моя не хочет...

— А раз будут землю давать даром, жалко деньги бросать зря, — заметил Слимак.

— Это правильно, да деньги-то не мои, так у меня и рука не свербит. Но и то сказать: покупаю я не в имении, а у мужика. В имении я бы не спешил покупать, в таком деле всегда лучше выждать.

— А как же! — ответил Слимак. — Дурак поспешит, а умный погодит.

— И, не подумавши, ничего не станет делать.

— И, не подумавши, не сделает, — поддакнул Слимак.

В эту минуту появилась хозяйка с хромым Мацеком. Они прошли в боковушку и выдвинули на середину стол, выкрашенный в вишневый цвет. Возле него Мацек поставил два деревянных стула, а хозяйка зажгла керосиновую лампу без колпака и накрыла стол скатертью.

— Сюда пожалуйста, — пригласила Слимакова. — Юзек, веди-ка старосту. Здесь вам удобнее будет вечерять.

Мацек, ухмыляясь, неуклюже попятился за печку, пропуская в боковушку хозяев.

— Хороша горенка, — сказал Гроховский, оглядываясь по сторонам. — И святых у вас много висит по стенам, и кровать крашеная, и пол настлан, и цветы на окошке. Это, верно, ваших рук дело, кума?

— А то чьих же? — ответила довольная хозяйка. — Он все мотается — то в усадьбу, то в город, о доме и не заботится. Насилу я его заставила настлать пол хоть в боковушке. Сюда, кум, поближе к печке, садитесь, сделайте милость. Сейчас я подам ужин.

Повернувшись к печке, она налила две миски пшенной похлебки со шкварками. Ту, что поменьше, подала батраку, а большую поставила на накрытый стол перед гостем.

— Кушайте с богом, — сказала она Гроховскому, — если чего не хватает, скажите.

— А вы не сядете с нами? — спросил гость.

— Я поем напоследок, с детишками. Мацек, — обратилась она к батраку, — бери свою миску.

Мацек, все так же ухмыляясь, взял свою похлебку и уселся на лавке против входа в боковушку, чтобы видеть старосту и послушать, о чем люди говорят: очень он соскучился по беседе. С довольным видом он поставил миску на колени и сквозь клубы пара любовался на вишневый стол, за которым сидели хозяева, на белую скатерть и жестяные ложки, которыми они ели. Чадящая плошка казалась ему самым усовершенствованным прибором для освещения, а стулья со спинками — самой удобной мебелью. Вид старосты наполнял его сердце благоговением и гордостью. Еще бы — это же староста Гроховский возил его когда-то на жеребьевку и даже стоял у двери в самой канцелярии, в то время как рекруты мокли под дождем во дворе. И Гроховский же велел отвезти его в больницу, заверив, что выйдет он оттуда здоровым. А кто собирает подати? Кто впереди крестного хода несет большую хоругвь? Кто запекает в костеле во время вечерни: «Удостой меня восхвалять тебя, дево пресвятая»? Все Гроховский! И вот сейчас он, такой обыкновенный Мацек Овчаж, сидит с ним под одной кровлей!

А какая у него осанка! Как он развалился на стуле! Ноги вытянул, левой рукой уперся в бок, правой облокотился на стол, а голову откинул назад! Как ему, должно быть, покойно на этом стуле со спинкой!..

Мацек попробовал так же развалиться, но больно стукнулся о стену, которая с возмущением напомнила ему, что он-то не староста, а всего лишь убогий батрак. И, хотя спина у Мацека ныла от работы, он согнулся еще смиреннее, сконфуженно спрятав под лавку обе ноги — и перешибленную и здоровую — в одинаково рваных башмаках. Да и зачем ему разваливаться, когда в двух шагах от него сидели, развалясь, староста и хозяин? Им хорошо, и для Мацека этого было вполне достаточно; он нехотя принял за свою похлебку, жадно прислушиваясь к разговору.

— А правду сказать староста, — начала хозяйка, — зачем вам тащиться с коровой в такую даль, к Гжибу?

— Да он хочет ее купить, — ответил Гроховский.

— Может, и мы купим.

— Так бы оно и следовало, — вмешался Слимак, — девка у нас, пускай бы была и ее корова.

— А ведь верно, Мацек, так бы оно и следовало? — повторила за мужем хозяйка, обращаясь к батраку.

— Ого-го! — засмеялся Мацек, причем горячая похлебка потекла у него по подбородку.

— Что правильно, то правильно, — вздохнул Гроховский. — Это и сам Гжиб так же рассудил бы: туда, дескать, и идти корове, где живет девка.

— Вот и продайте ее нам! — подхватил Слимак.

Гроховский опустил ложку на стол, а голову на грудь. С минуту он раздумывал, наконец произнес, словно покоряясь судьбе:

— Ну, так и быть! Раз уж вы решили, придется вам корову отдать, ничего не поделаешь. У кого девка, у того и корова — тут и толковать нечего.

— Только вы сбавьте хоть сколько-нибудь, — поспешила вставить хозяйка заискивающим тоном.

Староста снова призадумался.

— Видите дело-то какое, — проговорил он. — Кабы скотина была моя, я бы сбавил. А ведь это добро убогой сироты, что осталась без отца, без матери. Как я ее обижу? Вы, стало быть, дайте мне тридцать пять рублей бумажками да рубль серебром за повод, и пускай корова остается у вас.

— Уж очень деньги большие, — вздохнул Слимак.

— Но и корова — заглядение, — возразил староста.

— Деньги-то лежат себе в сундуке и есть не просят.

— Но и молока не дают.

— Ради этой коровы придется мне у пана луг заарендовать.

— Оно и выгоднее, чем покупать сено.

Наступило долгое молчание, неожиданно прерванное Слимаком:

— Ну, кум, говорите последнее слово...

— Я сказал: тридцать пять рублей бумажками да рубль серебром — и забирайте корову. Гжиб будет в обиде на меня, ничего не поделаешь, но вас-то я должен уважить. Девка у вас, пускай и корова у вас.

Хозяйка убрала со стола посуду и вышла в чулан. Через минуту она вернулась, неся бутылку водки, две рюмки, а на тарелке копченую колбасу и вилку с выломанным зубом.

— Будьте здоровы, кум, — сказал Слимак, наливая водку.

— Пейте с богом.

Выпили, затем молча принялись жевать сухую колбасу, отложив вилку на тарелку. При виде водки Мацеку стало до того приятно, что он даже потихоньку вздохнул. Потом сунул обе руки за пазуху и чуть заметно выдвинул ноги из-под

лавки. Ему пришло в голову, что в эту минуту староста и хозяин, должно быть, очень счастливы, и он тоже почувствовал себя счастливым.

— Право, не знаю, как быть, — говорил Слимак, — брать ли корову или не брать? Цену вы заломили такую, что у меня всякая охота пропала.

Гроховский беспокойно заерзал на стуле.

— Кум, голубчик, — сказал он, — золотой мой, как мне быть: ведь добро-то сиротское. Магде я непременно должен купить землю, хоть того ради, что баба блажит.

— За морг с вас не возьмут тридцать пять рублей, земля теперь дешевая.

— Стала дорожать. В нашей волости хотят какую-то новую дорогу прокладывать, так немцы скупают землю.

— Немцы? — повторил Слимак. — Да они уже купили Вульку.

— Что ж, продадут ее другим немцам, а сами перейдут поближе к нам.

— Были у меня нынче в поле два немца и все что-то выпрашивали, да я не понял, чего им надо, — сказал Слимак.

— Вот видите! Сюда норвят залезть. А стоит осесть одному, как за ним потянутся другие, словно муравьи на мед, — вот земля и дорожает.

— Да они знают ли крестьянскую работу?

— Еще как знают!.. Барышей-то немец больше получит, чем мужик, хоть он тут и родился, — ответил Гроховский.

— Чудно!

— Ого!.. Немцы — они умные. Они скота много держат, клевер сеют, а зимой ремеслом промышляют. Нет, мужику против них не устоять.

— Любопытно бы знать, какой они веры. Говорят они между собой, как евреи.

— Вера у них получше еврейской, — сказал староста, подумав, — но не то что католическая, куда там! Костел у них такой же, как у нас, с органом и скамейками. Только ксендз у них женатый и ходит в сюртуке, а в главном алтаре, где место богу-отцу, у них стоит один распятый Христос, как у нас на паперти.

— Стало быть, вера их хуже нашей.

— Хуже, — подтвердил Гроховский, — они и царице небесной не молятся.

— Ох, царица небесная! — прошептала хозяйка.

Слимак и Гроховский набожно вздохнули, а Мацек перекрестился.

— Как их еще господь бог милует! — заметил Слимак. — Пейте, кум.

— За ваше здоровье. А что ж господу их не миловать, раз у них скота много? Скот — он всему основа!

Слимак задумался и вдруг хлопнул ладонью по столу.

— Кум, староста! — воскликнул он с воодушевлением. — Продайте мне корову!

— Продам! — ответил Гроховский и тоже хлопнул по столу ладонью.

— Даю вам... тридцать... один рубль... ей-богу, только по дружбе.

Гроховский обнял его.

— Кум, дайте мне тридцать... ну, хоть тридцать четыре рубля бумажками да рубль серебром за повод.

В горницу осторожно скользнули набегавшиеся вволю ребята. Хозяйка налила им похлебки и отвела в дальний угол, велев сидеть смирно. Они и в самом деле все время сидели смирно, только Стасек один раз свалился с лавки, а Ендрек получил от матери тумака. Зато Магда притаилась, как мышка, а вздремнувшему Мацеку привиделось во сне, будто он сидит в боковушке на стуле со спинкой и пьет водку. Батрак чувствовал, как водка ударила ему в голову, как, захмелев, он развалился не хуже Слимака и во что бы то ни стало хотел поцеловать старосту!.. Вдруг он вздрогнул и, смущенный, очнулся.

Из боковушки доносился запах водки, чадила догорающая плошка. Слимак и Гроховский сидели рядышком.

— Кум... староста... — говорил Слимак, стуча кулаком по столу. — Я дам тебе, сколько ты пожелаешь, говори, стало быть... последнее слово. Твое слово для меня дороже денег, потому что ты голова. На всю волость ты один голова. Старшина — он свинья. Для меня ты старшина, да какой там старшина, ты лучше самого комиссара, потому что ты — голова... Один ты голова на всю волость, убей меня гром!

Они обнялись, и Гроховский заплакал.

— Юзек!.. Брат!.. — говорил он, — не зови меня старостой, зови братом, потому что я тебе брат и ты мне брат...

— Войцех... староста... Говори, сколько хочешь за корову?.. Я столько и дам, кишки из себя вымотаю, а дам.

— Тридцать пять рублей бумажками да рубль серебром за повод.

— Господи помилуй! — ахнула хозяйка. — Да ведь вы только что отдавали корову за тридцать три рубля?

Гроховский поднял мокрые от слез глаза сперва на нее, потом на Слимака.

— Отдавал? — спросил он. — Юзек, брат, отдавал я тебе корову за тридцать три рубля?.. Ладно! Отдаю... Бери... Пусть сирота погибает, зато уж у тебя, брат, корова будет что надо.

Слимак еще сильнее стукнул кулаком по столу.

— Как, чтобы я сироту обидел?.. Не желаю!.. Даю тридцать пять рублей и рубль за повод.

— Что ты болтаешь, дурень? — урезонивала его жена.

— Не дури, — поддержал ее Гроховский. — Ты меня так угостил, так употчевал, что тебе я отдам корову за тридцать три рубля. Аминь, вот мое последнее слово.

— Не желаю!.. — орал Слимак. — Я не еврей и за угощение не беру.

— Юзек!.. — уговаривала его жена.

— Пошла вон! — крикнул Слимак, с трудом поднимаясь со стула. — Я тебе покажу, как мешаться в мои дела...

И вдруг упал в объятия плачущего навзрыд Гроховского.

— Тридцать пять рублей бумажками и рубль серебром за повод! — кричал он.

— Чтоб мне из пекла не вылезть, не возьму! Тридцать три, — всхлипывал Гроховский.

— Юзек! — унимала Слимака жена. — Да уважь ты гостя... Ведь он постарше тебя, он староста, его тут воля, а не твоя... Мацек, — обратилась она к батраку, — ну-ка помоги мне отвести их в ригу.

— Сам пойду!.. — заревел Слимак.

— Тридцать три рубля, — стонал Гроховский. — Хоть ты убей меня, разруби на мелкие кусочки, ни гроша больше не возьму... Иуда я, пес поганый, хотел тебя надуть, как немец, для того и говорил, будто веду корову к Гжибу... А я к тебе ее вел, потому что ты мне брат...

Обнявшись, они вышли из боковушки, но сразу же ткнулись в окно. И только когда Мацек отворил им дверь в сени, они — после нескольких более или менее удачных попыток — все-таки попали во двор.

Хозяйка зажгла фонарь и достала из клетки рядом и подушку, чтобы постелить Гроховскому в риге. Проходя по двору, она увидела странную сцену: Слимак, лежа на навозной куче, убеждал Гроховского лечь спать, а староста опустился подле него на колени и, вытирая слезы полкой зипуна, читал молитвы. Над ними с озабоченным видом стоял батрак.

— Верно, вы чего-то крепкую им дали, — сказал он хозяйке.

— Бутылку очищенной выпили.

— Ого-го!..

— Ну, вставай, пропойца! — прикрикнула она на мужа.

— Не встану! — рассердился Слимак. — А ты, баба, убирайся, пока цела! Покомандовала — и хватит... Я тут теперь хозяин. Я корову купил, я у пана луг арендую...

— Поднимайся, Юзек, — говорила хозяйка, — не то, смотри, водой окачу.

— Я тебя окачу, вот только возьму кнут!.. — ответил Слимак.

Гроховский бросился ему на грудь и стал его целовать.

— Вставай, брат, — молил он, — не озорничай, не то нам обоим будет худо.

Батрак только диву давался, видя, как водка меняет людей. Староста, слывший на всю волость суровым человеком, плакал, как дитя, а Слимак ни за что не хотел подняться с навоза, орал, как эконоом, да еще стращал жену, что теперь он тут хозяин!..

— Пойдемте-ка, староста, в ригу, — сказала Слимакова, беря Гроховского за руку.

Великан поднялся; кроткий, как овечка, позволил Мацеку и Слимаковой взять себя под руки и покорно пошел с ними. Хозяйка выбрала самую большую кучу сена и устроила ему отличную постель; тем временем старосту совсем разморило, он повалился на ток, и не было никакой возможности сдвинуть его с места; так он там и остался.

— Ты, Мацек, ступай к себе, — приказала батраку Слимакова. — А этот пьяница, — показала она на мужа, — пусть валяется в навозе, в другой раз не будет бунтовать.

Мацек, как и следовало смиренному батраку, тотчас исчез в глубине конюшни. Но когда во дворе все затихло, он развлечения ради стал воображать, будто он сам напился пьяным.

— Здесь буду спать, — бормотал он, подражая Слимаку. — Теперь я тут хозяин...

Потом он вообразил себя старостой, опустил на колени возле своей убогой постели и заговорил с ней растроганным голосом, совсем как староста со Слимаком:

— Вставай, брат, не озорничай, а то нам обоим будет худо...

Чтобы больше походить на Гроховского, он силился заплакать. Вначале ничего не получалось, но как пришло ему на ум, что нога-то у него перешиблена и что несчастней его и не сыщешь на свете, что хозяйка даже рюмки водки ему не дала, Мацек залился самыми настоящими слезами. Так и уснул он, заплаканный, на своей подстилке, как дитя у матери на коленях.

Около полуночи Слимак очнулся. Болела голова, вокруг все намокло. Он открыл глаза — темно; прислушался, вытянул руку и понял, что идет дождь; попробовал было сесть, но убедился, что лежит головой вниз.

Постепенно к нему стала возвращаться память. Он вспомнил старосту, корову в черных пятнах, пшениную похлебку и большую бутылку водки. Что случилось с водкой, он в точности не представлял себе, но ощущал какое-то недомогание и не сомневался, что повредила ему чересчур горячая похлебка.

— Сколько раз я говорил, чтоб пшена не варили на ночь; известное дело, что пшено дольше всего держит в себе жар! — проворчал мужик и с трудом поднялся.

Теперь он уже твердо знал, что находится у себя во дворе, возле навозной кучи.

— Эк куда меня занесло! — крикнул он. — И не мудрено. Хуже нет: водку мешать с горячим. Пшено-то ведь — чистый огонь...

Ночь была темная, так что он едва разглядел свою хату. Он побрел к ней, но очень медленно, словно колеблясь, и даже с минуту посидел на пороге, опустив на руки отяжелевшую голову. Но дождь становился все назойливее, и Сликамак отважился войти.

В сенях он снова постоял, послушал, как храпит Магда. Потом осторожно отворил дверь в горницу, но дверь не просто заскрипела, а, казалось ему, заревела, как корова. Сразу его обдало жаркой духотой, от которой еще больше захотелось спать, и он решил — будь что будет — добраться до постели.

В первой горнице на лавке у окна дышал Стасек, но в боковушке было тихо. Сликамак понял, что жена не спит, и ощупью стал пробираться к кровати.

— Подвинься-ка, Ягна, — сказал он, силясь говорить сурово, хотя сам замирал от страха.

Молчание.

— Да ну... подвинься малость...

— Пошел вон, пьяница, пока я добром говорю!..

— А куда я пойду?

— В хлев иди или на навозную кучу, там тебе место! — сердито ответила жена. — Хозяином тебе захотелось быть, вот и хозяйствуй, а от меня уходи прочь, пропойца!.. Кнутом вздумал мне угрожать; погоди, я тебе это попомню...

— Эх, да что зря болтать, раз ничего с тобой не сделалось, — прервал ее муж.

— Ничего не сделалось? А кто уперся и надумал платить за корову тридцать пять рублей да еще рубль за повод, когда сам Гроховский вот-вот отдал бы за тридцать?.. Я насилу вымолила у него, чтобы взял тридцать три... Видать, три рубля для тебя ничего не стоят?

Но Сликамак ее не слушал. В отчаянии он схватился за голову, хоть в боковушке было темно, и попятился назад, в горницу, где спал Стасек. Там он бросился на лавку и нечаянно придавил мальчику ноги.

— Это вы, тятя? — проснувшись, спросил Стасек. — Да, я.

— А что вы тут делаете?

— Так, просто присел; что-то меня мутит.

Мальчик поднялся и обнял его за шею.

— Хорошо, что вы тут, — сказал он, — а то по мне все ходили эти немцы.

— Какие немцы?

— Да те двое, что были в поле: старик и бородатый. Ничего не говорят, чего им надо, а сами все топчут меня, топчут.

— Спи, сынок, нет тут никаких немцев.

Стасек еще крепче прижался к отцу, но Сликама совсем разморило, до того ему хотелось спать, и они оба повалились на лавку; однако вскоре мальчик снова заговорил:

— Тятя, а правда, — спросил он вполголоса, — правда, что вода видит?

— Что ей видеть?

— Все, все... Небо, наши холмы и вас тоже она видела, когда вы шли за бороной.

— Спи, сынок, а то ты невесть какую несурязицу понес, — успокаивал его Сликама.

— Видит, видит, тятя, я знаю, — прошептал мальчик и уснул.

В хате было очень жарко; Сликама, вконец разомлев, поплелся во двор и, с трудом передвигая неповиновавшиеся ноги, добрался до риги. У входа он едва не наступил на Гроховского, затем после нескольких неудачных попыток наткнулся на скирду соломы и весь зарылся в ней, так что не видно было даже сапог.

— А корову-то я купил, все-таки купил, — буркнул он, засыпая.

IV

На другой день Сликама разбудил окрик жены:

— Долго ты еще будешь валяться?

— А что? — спросил он из-под соломы.

— Пора в имение идти.

— Звали меня?

— Чего тебя звать? Сам должен идти насчет аренды.

Мужик заохал, но поднялся и вышел на гумно. Вид у него был сконфуженный, лицо отекло, в волосах торчала солома.

— Ого! На что стал похож, — брюзжала жена. — Зипун мокрый, весь замызгался, сапожищи небось всю ночь не снимал, а теперь смотрит на людей, как разбойник какой. Пугалом в конопле тебе стоять, а не с паном толковать. Обрядись хоть, — куда ты такой пойдешь?

Не сказав больше ни слова, она опять пошла к коровам в закут, а у Сликама от сердца отлегло, что на том все и кончилось. Он-то думал, что она полдня будет его теперь пилить.

Он вышел во двор. Солнце уже высоко поднялось, и земля успела обсохнуть после ночного дождя. Подул ветерок и принес из оврагов птичий щебет и какой-то запах, влажный и веселый. За ночь зазеленели поля, на деревьях распустились

листочки, небо синело, словно вымытое, и мужику показалось, что даже хата его побелела.

— Ох, и хорош денек! — пробормотал он, ощущая прилив бодрости, и пошел в горницу одеваться.

Вытряхнув из волос солому, он надел чистую рубашку и новые сапоги. Но, на его вкус, они недостаточно лоснились; он взял кусок сала и смазал им сперва волосы, а затем сапоги — от голенищ до каблуков. Наконец, подошел к зеркалу и, взглянув сначала на ноги, а потом на свое отражение, ухмыльнулся от удовольствия, такое яркое сияние исходило от его головы и сапог. К тому же что-то нашептывало ему, что при виде столь великолепно напомуженного мужика пан не устоит и отдаст ему луг в аренду.

В эту минуту вошла жена и, окинув его презрительным взглядом, сказала:

— Ты чего вымазался? Салом от тебя разит — не продохнешь. Что бы тебе умыться да волосы причесать?

Признав справедливость ее замечания, Слимак достал из-за зеркальца частый гребень и до тех пор расчесывал и приглаживал волосы, пока они не заблестели, как стеклышко. Потом взял мыло и умылся с таким усердием, что от жирных пальцев на шее остались темные полосы.

— А где Гроховский? — уже смелее спросил он жену, повеселев от холодной воды.

— Ушел.

— А деньги как же?

— Я заплатила. Только он не захотел брать тридцать три рубля, а взял тридцать два: раз, говорит, Иисус Христос прожил тридцать три года на свете, не годится брать столько же за корову.

— Это правильно, — подтвердил Слимак, надеясь теологической эрудицией снискать расположение жены.

Но она повернулась к печке, вытащила горшок ячневой похлебки на молоке и, небрежно сунув его мужу, проговорила:

— Ну, ну... Ты не болтай, перекуси да ступай в имение. И поторгуйся с паном, вроде как вчера со старостой, я тебе скажу спасибо!.. — прибавила она насмешливо.

Мужик, присмирив, молча принялся за еду, а жена тем временем достала из сундука деньги.

— На вот десять рублей, — сказала она. — Отдай их пану в задаток, а остальные снесешь завтра. Ты, главное, слушай: как только скажет пан, сколько за луг, сейчас же целуй ему руку, кланяйся в ноги и проси, чтобы он хоть рублика три уступил. Не скинет три рубля, выторгуй рубль, но до тех пор кланяйся и ему и пани, пока сколько-нибудь не уступят. Ну что, будешь помнить?

— Чего тут не помнить? — ответил мужик.

Он сразу перестал есть и ложкой легонько отстукивал такт, видимо, повторяя про себя наставления жены.

— Ты много не раздумывай, а надевай зипун, — снова заговорила жена, — да ребят прихвати с собой.

— Их-то для чего?

— Для того, чтобы просили с тобой вместе, и еще для того, чтобы Эндрек мне рассказал, как ты там торговался. Теперь понял, для чего?

— Холера с этими бабами! — буркнул Слимак, видя, что жена уже все заранее обдумала, а про себя добавил: «Вот чертова баба, как она все смекнет да распорядится! Сразу видно, что отец ее служил экономом».

С большим трудом влез он в новенький зипун, расшитый вдоль карманов и по воротнику разноцветными шнурками, и подпоясался великолепным кожаным ремнем, шириной без малого в две ладони. Потом завязал в тряпицу десять рублей и спрятал за пазуху. Мальчики давно уже были готовы, и все втроем они направилась в имение прямо по большаку.

Не успели они уйти, как Слимаковой стало не по себе; она выбежала за ворота — поглядеть им вслед.

Посредине дороги, засунув руки в карманы и задрав голову кверху, шел ее муж; чуть позади, слева от него — Стасек, а справа — Эндрек. Потом ей показалось, будто Эндрек стукнул по голове Стасека, вследствие чего очутился по левую руку отца, а Стасек по правую. А затем все как-то смешалось... Как будто Слимак дал подзатыльник Эндреку, после чего Стасек снова очутился слева от отца, да и Эндрек тоже шел слева, но уже по краю канавы и оттуда грозил кулаком младшему брату.

— Вишь, какую забаву нашли, — усмехнулась женщина и вернулась домой стряпать обед.

Пустив в ход кулаки, Слимак уладил возникшие между сыновьями недоразумения и сперва замурлыкал себе под нос, а потом запел вполголоса:

При дворе не сыщешь
Ни храбрей, ни краше,
На коне гарцует,
Сабелькою машет.

С минуту подумав, он снова запел, но уже протяжно:

Ой, ду-ду-ду, ду-ду-ду,
Завлекли меня в беду,
Да в какую же беду!..

Он приумолк и вздохнул, чувствуя, что, верно, нет такой песни, которая могла бы заглушить его тревогу: что-то будет с лугом: отдаст его пан в аренду или не отдаст?

Они шли как раз мимо этого луга. Слимак поглядел и даже испугался. Таким прекрасным и недоступным он показался ему сегодня. В памяти его всплыли все штрафы, которые он платил за потраву, когда помещиковым батракам удавалось захватить его скотину на лугу, вспомнились все предупреждения и угрозы пана. Какой-то тайный голос шептал — не то внутри, не то у него за спиной, — что, если б этот клочок земли был расположен подальше и вместо сена родил бы песок или сабельник, его, пожалуй, легче было бы получить в аренду. Но луг сулил слишком много выгод, чтобы не пробудить в нем самые мрачные предчувствия и сомнения.

— И-и-и... чего там! — пробормотал он, сплевывая с большой виртуозностью. — Сколько раз они сами меня уговаривали арендовать его. Говорили даже, что и для меня и для них так будет лучше.

Так-то оно так, но когда они навязывали ему аренду?.. Когда он сам не просил. А теперь, когда луг ему понадобился, они начнут торговаться или вовсе не отдадут.

Но почему?.. А кто их знает! Потому что мужик барину, как и барин мужику, всегда сделает наперекор. Уж так оно повелось на свете.

Припомнив, сколько раз он запрашивал с пана лишнее за работу или как вместе с другими мужиками спорил с помещиком насчет отмены лесной повинности, Слимак расстроился. Боже мой! А ведь как красиво разговаривал с ними пан: «Будем жить теперь в мире и, как подобает соседям, будем оказывать друг другу услуги...»

А они отвечали: «Э, какие же мы соседи! Пан — это пан, а мужики — это мужики... Пану нужно бы в соседи такого же шляхтича, а нам такого же мужика...»

Помещик им на это: «Смотрите, мужички, еще придете с поклоном...»

Тут Гжиб от всего народа и выпалил: «Да и то приходили, ваша милость, когда хотели вы лесом распорядиться без мужицкого надзора».

Смолчал шляхтич, только усами грозно задвигал, а, наверное, не забыл этих слов.

«Сколько раз я говорил Гжибу, — вздохнул Слимак, — чтоб он не лаялся. Теперь за его гордость мне придется страдать».

В эту минуту Ендрек швырнул камнем в какую-то птицу. Слимак оглянулся, и его грустные мысли вдруг изменили свое течение.

«Но и то сказать: отчего бы ему не сдать луг в аренду? — думал он. — Пану известно, что траву частенько топчет скотина и что за ней не углядеть, хотя бы у него было вдвое больше батраков. А он, шляхтич, — ух, какой умный... Да и добрый: лучше сам потеряет, а другого не обидит... Ничего себе пан!..»

Вдруг новая волна сомнений хлынула ему в сердце.

«Как-никак, — думал мужик, — а ведь он понимает, что с лугом мне будет лучше, чем без луга. А ни одному пану не нравится, когда мужик хорошо живет, ведь сам-то он от этого теряет работника».

Мысли снова переменялись; Слимак сообразил, что за аренду можно платить не наличными, а работой.

— В самом деле! — пробормотал он, повеселев. — Я могу ему сказать: «Разве я у вас не работаю или отказываюсь работать?» Другие мужики не ходят в имение, один я хожу, так неужели же для меня он пожалеет один лужок? Мало у него, что ли, лугов да и всякой другой земли?.. Я ведь как был мужик и батрак, так и буду, а он так и будет баринном, хоть бы он даже подарил мне эти два морга, а не то что отдал в аренду.

И он снова стал напевать:

Ой, кукушки куковали
На горе, на горке,
Ой, кумушки толковали,
Что я бражник горький!

Последнюю строчку он промурлыкал совсем невнятно, чтобы не уронить свой авторитет перед детьми.

Вдруг он обратился к Стасеку с вопросом:

— Что это ты все молчишь и тащишься, будто тебя ведут в участок?

— Я? — очнулся Стасек. — Я думаю, для чего мы идем в имение?

— Что ж, неохота тебе идти?

— Нет, только чего-то страшно.

— Чего там страшно! В имении-то хорошо, — внушительно сказал Слимак, но сам вздрогнул, точно его прохватил мороз.

Однако он поборол тревогу и стал объяснять:

— Видишь, сынок, какое дело. Вчера мы у старосты купили корову за тридцать два рубля (хотел-то он, старый хрыч, тридцать пять да рубль серебром за повод. Ну, да я его образумил, он и скинул). Так вот, сынок, для новой коровы нужно, стало быть, сено, а по этому случаю и приходится просить пана, чтоб он сдал нам луг в аренду. Теперь понятно?

Стасек кивнул головой.

— Понятно, — ответил он, — а еще я вот чего не знаю: что думает трава, когда скотина ухватит ее языком и мнет зубами?

— Чего ей думать?.. Ничего она не думает!

— Ну как же!.. — продолжал Стасек. — Быть того не может, чтобы она ничего не думала. Вот в праздник, когда народ соберется на погосте, издали посмотришь на

людей — будто это трава или кусты: тут и зеленые, и красные, и желтые, и всякие, как цветы в поле. Так кабы страшное какое чудище пришло на погост да слизнуло бы всех язычищем, разве они ничего бы не думали?..

— Люди — те кричали бы, а трава-то ничего не говорит, когда ее косишь, — возразил Слимак.

— Как — не говорит? Палку сухую станешь ломать, и то она трещит, а возьмешь свежую ветку, она гнется, да в руки не дается, а траву когда рвешь, она пищит и ногами держится за землю.

— Э, да тебе всё чудеса мерещатся, — сказал отец. — Если всякого спрашивать, охота или неохота ему идти под косу, так и сам не поешь, и скотину не покормишь, и все пойдет прахом.

— А ты, Ендрек, тоже не рад, что идешь в имение? — спросил он другого сына.

— Разве это я иду? Вы идете, — ответил Ендрек, пожимая плечами. — Я бы туда не пошел.

— А что бы ты сделал? Письмо бы написал? Так пан тебе не ровня, да и писать ты не умеешь.

— Скосил бы траву, да и свез бы к себе на двор. Пускай бы он шел ко мне, а не я к нему.

— И ты посмел бы косить господскую траву?

— Какая она господская! Сам он, что ли, ее сеял? Да и луг не возле его хаты!..

— Вот и видно, что дурак, потому что луг-то господский и вон те поля — все господские. — Он показал рукой на горизонт.

— Оно как будто и так, — ответил Ендрек, — покуда никто их не отнял. А я знаю, что и ваша земля и хата прежде тоже были господские, а нынче стали ваши. Так же и луг. Чем он нас лучше, ваш пан: работать он не работает, а земли на сто дворов заграбастал!

— Да вот заграбастал же.

— А у вас почему столько нету, да и у Гжиба и у других?

— На то он пан.

— Велика важность! Вы, тятя, наденьте сюртук, выпустите штаны поверх сапог — и тоже станете паном. Только земли у вас столько не будет, как у него.

— Сказал я тебе: дурак! — рассердился Слимак.

— Я и правда еще глуп, потому что не ученый. А Ясек Гжиб — умный, он даже в канцелярии писал. А он что говорит? Должно, говорит, быть равенство, и тогда, говорит, оно наступит, когда мужики отнимут землю у господ и у каждого будет свое.

— Дурень твой Ясек: если у каждого будет свое, никто на другого не станет работать. Так уж устроено на свете, и Ясек тут ничего не поделает. Лучше бы он у отца деньги из сундука не таскал да не бегал по городу из шинка в шинок. Больно горазд он чужим распоряжаться! Мое бы он отдал Овчажу, господское взял бы себе, а свое-то небось не выпустил бы из рук. Пусть уж лучше будет так, как господь бог по милости своей сотворил и как учит святая церковь, а не так, как хотят Гжибы — старый и молодой.

— А разве помещику землю послал господь бог? — брякнул Ендрек.

— Господь бог установил на свете такой порядок, чтобы не было никакого равенства. Оттого-то небо вверху, а земля внизу, сосна растет высоко, орешник низко, а трава еще того ниже. Оттого и среди людей: один старый, а другой молодой, один отец, а другой сын, один хозяин, а другой батрак, один барин, а другой мужик.

Слимак даже устал говорить, но, отдышавшись, продолжал:

— Ты погляди, к примеру, на умных собак, когда их много бегаёт во дворе. Вынесут из кухни ушат помоев, сейчас к нему первая идет одна, всех сильнее и всех злее, ну, и жрет, а другие стоят облизываются, хоть и видят, что она хватает все лакомые куски. Когда эта так натрескается, что, того и гляди, лопнет, подходят другие. Каждая сует морду со своего края и без всякой грызни жрет, сколько на ее долю придется. А где собаки глупые, там все они враз летят к ушату, сейчас передерутся и больше вырвут клочьев друг у дружки, чем урвут кусков. А то еще ушат опрокинут и весь корм разольют, но и тут всегда найдется одна какая-нибудь посильней других и всех разгонит. Ей и самой при таком хозяйствовании немного достанется, а другим и вовсе ничего.

Так и с людьми будет, если всякий станет заглядывать в рот другому да кричать: «Отдай, ты больше съел!» Самый сильный разгонит других, а кто послабей, те перемрут с голоду. Оттого бог так и устроил, чтобы каждый берег свою землю, а чужую не отнимал.

— А ведь раз мужикам уже землю раздавали.

— Раздавали, и не один раз, а два раза; может, и еще будут раздавать, но понемножку и с соображением, чтобы каждому досталось, сколько ему положено, а не так, чтобы всякий хватал без толку, что кому понравится. Так установил господь бог по своей милости, чтобы всему на свете было свое время и во всем был порядок.

— Да уж какой порядок, когда Гжиб сразу получил тридцать моргов, а вы насилиу семь! — сказал Ендрек.

Слимак остановился посреди дороги, решив передохнуть. Он поправил шапку, уперся левой рукой в бок, а правой показал на холмы:

— Видишь ты горы там, над именем? С них все время земля сыплется вниз. Может, неверно?

— Нет, верно.

— То-то, что верно. А та земля, что осыпается, она на чьи поля падает, а?

— Известно, на господские.

— То-то, что на господские. А та земля, что осыплется с господских полей, к кому упадет на пашню — ко мне или к Гжибу?

— Известно, к Гжибу, раз его поля на косогоре под господскими, а ваши по ту сторону долины.

— Вот видишь, — продолжал Слимак. — Если б мои поля были там, где Гжибовы, я бы с господской земли имел пользу; а как земля мне досталась за рекой, то я меньше и пользуюсь.

— Да еще с ваших же холмов земля падает на господские луга, — подтвердил Ендрек.

— На все воля божья! — сказал мужик и снял шапку. — Тем я хуже наших мужиков, что у меня земли меньше, но тем лучше самого барина, что земля с моего хутора сыплется на его луга и богатство его приумножает.

Ендрек, выслушав это рассуждение, покачал головой.

— Ты что башкой мотаешь? — спросил его отец.

— Не по мне все, что вы говорите.

— Не по тебе, потому что ты моложе меня и глупее.

— А вы, тятя, стало быть, глупее Гжиба, потому что он старше вас и говорит совсем другое.

Мужика так и кольнуло в сердце.

— Ах ты щенок этакий! — крикнул он. — Вот я дам тебе в морду, так ты мигом смекнешь, кто умнее!..

Довод был настолько веский, что Ендрек умолк, и дальше они шли, уже не разговаривая. Стасек о чем-то мечтал, а Слимак то беспокоился, сдадут ли ему луг в аренду, то удивлялся, что его старший сын проповедует столь превратные теории.

— Гм! — ворчал мужик. — Учится, паршивец, у других. Гордый, черт, никому не уступит; слава богу, что хоть не ворует. Ого! Нет, уже он-то не будет мужиком.

Начиная с места, где, плавно поднимаясь в гору, с большаком соединялась дорога, ведущая в имение, Слимак шел все медленнее, Стасек озирался все тревожнее, и только Ендрек становился все бойчее. Но вот из-за холма показались черные, но уже покрывшиеся почками ветви придорожных лип, а затем трубы и крыши помещичьей усадьбы.

Вдруг раздались два выстрела.

— Стреляют! — заорал Эндрек и бросился вперед, между тем как Стасек уцепился за карман отцовского зипуна.

— Ты куда? Сейчас же назад! — крикнул Слимак.

Эндрек насупился, но замедлил шаг.

Они поднялись на холм, где тянулись уже одни только господские поля. Позади, внизу, лежала деревня, еще ниже — луг и река; перед ними за забором стоял господский дом, еще какие-то строения, дальше — сад.

— Видишь, вот и господский дом, — сказал Слимак Стасеку.

— Это который?

— Вон тот, с крыльцом на столбах.

— А там что за хата?

— Налево? Это не хата, а флигель, а тот низкий домик — кухня. Погляди-ка, видишь, во флигеле одни горницы внизу, а другие вверху.

— Вроде как на чердаке.

— Это не чердак, а этаж. Чердак еще выше, под крышей, как у нас.

— А лазят туда по стремянке, — вмешался Эндрек.

— Не по стремянке, а по лестнице, — сурово ответил отец. — В самый раз, станет тебе пан кувыркатся по жердочкам! Пан любит, чтобы все было удобно. Оттого у него и сено воруют с сеновала над конюшней.

— Тятя, а направо это что — все в окнах? — спросил Стасек.

— Тут, видать, сами господа посиживают да на солнышке греются, — ответил Эндрек.

— Не болтай, чего не знаешь! — оборвал его Слимак. — Тут стены, все как есть, из стекла, зовется теплица. В ней всякие цветы, какие только виданы на свете, и цветут круглый год, даже среди зимы, когда в поле снегу по колено.

— Цветы-то, верно, бумажные, как в костеле, — снова вмешался Эндрек.

— То-то и есть, что настоящие. А цветут потому, что садовник всю зиму топит печку.

— А яблоки тут есть зимой? — спросил Эндрек.

— Яблок нет, одни апельсины.

— Верно, раз во сто лучше яблок? — спросил Эндрек, и глаза у него загорелись.

Мужик презрительно махнул рукой:

— Ни-ни... Попробовал я одно такое. Маленькое, как картошка, зеленое, а уж пакостное — собака и та бы выплюнула...

— И они такое едят?

— Чего ж им не есть!

— Вот дураки! — сказал Ендрек.

— Сам ты дурак, потому что толку в этом не знаешь, — ответил мужик. — Тебе небось нравится, когда похлебка круто посолена? А барину нравится, когда от другой еды у него во рту пакостно. У всякого свой вкус: вол любит траву, а свинья — крапиву.

— Гляньте-ка, тятя! — вдруг заорал Ендрек, показывая на двор.

Но не успел он крикнуть, как снова грянули два выстрела. Когда дым рассеялся, они увидели у ворот молодого человека в желтых гетрах до колен и в серой куртке с зелеными лацканами. Сбоку у него висела охотничья сумка, на животе патронташ, а в руках еще дымилась двустволка.

— Это тот самый, что вчера ехал верхом, еще картуз у него с башки свалился, — сказал Ендрек.

Мужик нагнул голову на одну сторону, потом на другую и пристально взгляделся.

— Он и есть, растяпа! — признал Слимак с неудовольствием. И прибавил шепотом: — Ох, не к добру! Теперь уж наверняка мне луг не отдадут, раз нам перешел дорогу этот фармазон.

— Ружьецо-то у него славное! — сказал Ендрек. — В кого это он стрелял? Тут только воробьи летают. А может, просто так? Эх, кабы мне такое ружье, я бы стрелял целый день, хоть по холмам, а пороху — будь он неладен — столько бы сыпал, что гул пошел бы на весь приход.

— А в нас он не выстрелит? — тихо спросил Стасек, не решаясь идти дальше.

— Чего ему в нас стрелять? — ответил отец. — В людей стрелять не позволено, за это в тюрьму сажают. Хотя... кто его знает, что ему вздумается, этому нехристию!

— Ого-го! — подхватил Ендрек. — Пусть-ка попробует!

— А что ты ему сделаешь?

— Вырву ружье и снесу к старшине. Да еще разика два сам выстрелю дорогой.

Между тем охотник, зарядив свой ланкастер, подошел к мужику. Из сумки его, притороченные, свисали окровавленные останки воробья.

— Слава Иисусу Христу! — поклонился Слимак, срывая с головы шапку.

— Добрый день, гражданин! — ответил стрелок, приподнимая бархатный картузик.

— Эх, красота-ружье! — вздохнул Ендрек.

Панич поправил пенсне и внимательно поглядел на мальчика.

— Понравилось, а? — спросил он. — Это не ты ли мне вчера поддал картуз?

— Я самый, а вы, пан, ехали верхом и без ружья.

— Значит, я твой должник! — воскликнул панич, доставая из кармана кошелек. — Возьми-ка, — сказал он и протянул мальчику серебряную монету. — А это твой отец?.. Тот, что вчера хотел отстегать тебя кнутом?..

Мужик поклонился до земли.

— Гражданин! — сказал панич обиженным тоном. — Если ты хочешь, чтобы у нас с тобой сохранились дружеские отношения, не кланяйся мне так низко и надень шапку. Пора забыть эти пережитки рабства, которые и нам и вам приносят одни неприятности. Надень шапку, гражданин, прошу тебя...

Слимак оторопел и вконец растерялся; он хотел было исполнить приказание, но рука отказалась ему повиноваться.

— Совестно мне при господах в шапке стоять, — пробормотал он.

— Брось ты дурить! — прикрикнул на него панич.

Он вырвал шапку из руки Слимака, насильно нахлобучил ему на голову, а затем то же самое проделал и с оробевшим Стасеком.

«Вот холера!» — подумал мужик, решительно не понимая демократических настроений панича.

— Вы что, в имение идете? — спросил охотник, закидывая ружье за плечо.

— В имение, панич.

— По какому-нибудь делу к моему зятю?

Мужик опять хотел поклониться в ноги, но панич удержал его.

— А какое у вас дело?

— Хотел просить милости у пана: сдать нам в аренду вон тот лужок, что лежит меж рекой и моим хуторком.

— Зачем он вам?

— Вчера мы с моей бабой сторговали корову, да боимся, что кормов для нее не хватит, вот и хотим просить милости...

— А много у вас скота?

— Всего-то пять голов божьих тварей: стало быть, две лошади да три коровы, — да еще свиньи.

— А земли у вас много?

— Какое там много, панич! Еле-еле десять моргов, и то из года в год все меньше родит, — вздохнул мужик.

— Потому что вы не умеете хозяйничать, — сказал панич. — Десять моргов земли, любезный, — это огромное состояние! За границей на таком участке живет с удобствами несколько семейств, а у нас и на одно не хватает. Что ж удивительного: ведь вы сеете одну рожь...

— А что сеять, панич, раз пшеница не родится?

— Овощи, приятель, вот настоящее дело! Под Варшавой огородники платят за аренду по несколько десятков рублей за морг и, несмотря на это, прекрасно живут.

Слимак грустно понурил голову, но сердце у него так и кипело: слушая доводы панича, он пришел к заключению, что или ему вовсе не сдадут луг в аренду, раз у него уже есть десять моргов, или заставят платить несколько десятков рублей за морг. А то зачем стал бы панич рассказывать про все эти чудеса, если бы не хотел ему внушить, что у него и так чересчур много земли, а потому он должен дороже платить за аренду?

Они подошли к воротам.

— Я вижу, сестра в саду, — сказал панич, — вероятно, там же и зять. Я пойду попрошу его уладить ваше дело. До свидания.

Мужик поклонился до земли, но одновременно подумал:

«Холера бы тебя взяла, и за что ты на меня взъелся! Вчера к моей бабе приставал, малого подстрекал, нынче мне как будто кланяться не велит, а сам этикие деньги хочет содрать за луг! Ох, чуюло мое сердце, что не к добру я его встретил».

Из дома донеслись звуки органа.

— Тятенька, играют!.. Где это играют? — закричал Стасек.

— Верно, пан играет.

И действительно, хозяин дома играл на американском органе. Крестьяне внимательно слушали непонятную им, но прекрасную музыку. У Стасека покраснелось лицо, он весь дрожал от волнения. Ендрек присмирел, а Слимак снял шапку и стал читать молитву, прося бога смилостивиться над ним и защитить от ненависти панича, которому он, ей-ей, не сделал ничего худого.

Орган умолк. Как раз в это время панич встретил в саду сестру и оживленно начал ей что-то рассказывать.

— На меня наговаривает, — пробормотал мужик.

— Гляньте-ка, тятенька, — начал Ендрек, — пани-то как на шершня смахивает! Вся желтая, в черную крапинку, в поясе тонкая, а в боках толстая. А так ничего — красивая пани.

— Похуже всякого шершня этот подлец на желтых ногах, хоть он и тонкий, как жердь, — ответил отец.

— А чем он плох? Он мне денежку дал. Вот что дурак он — это пожалуй, но, как видно, добрый пан.

— Ничего, отберут они еще свою денежку.

Между тем панич, изложив сестре дело Слимака, стал ее отчитывать.

— Меня поражают, — разглагольствовал он, — черты рабства, которые я вижу в народе. Этот несчастный неспособен разговаривать, не сняв шапку с головы, к тому же он до того растерян и запуган, что мне просто жалко смотреть на него. Он мне на весь день испортил настроение.

— Но чем же я виновата и что я должна делать? — спросила пани.

— Подойти к ним ближе, добиться, чтобы они тебя не боялись...

— Ты просто неподражаем, — ответила она, пожав плечами. — Прошлой осенью я устроила праздник для детей наших батраков именно затем, чтобы они меня не боялись, и на другой же день они переломали у меня все персики. Ближе к ним подойти?.. Я и это делала. Однажды я зашла в хату, где лежал больной ребенок, и за один час так пропиталась всякими запахами, что мне пришлось почти новое платье отдать горничной. Нет, благодарю за такое миссионерство...

Оживленно беседуя по-французски, они подошли к ограде, у которой стоял мужик.

— По крайней мере для него ты должна что-нибудь сделать, — сказал панич, — он мне очень нравится.

Пани поднесла к глазам лорнетку.

— Ах, это Слимак! — воскликнула она. — Limacon.[1] Подумай, какая смешная фамилия!

— Почтеннейший, — обратилась она к мужику, — брат хочет, чтобы я для тебя что-нибудь сделала; я, конечно, очень рада. У тебя есть дочь?

— Нету, пани, — ответил мужик, целуя сквозь решетчатую ограду край ее платья.

— Жаль. Я могла бы научить девочку плести кружева. Предварительно вымыв ее, — прибавила она по-французски.

«А насчет луга — ни словечка!» — подумал мужик.

— Это твои мальчики? — продолжала пани расспрашивать Слимака.

— Наши, дорогая пани.

— Так присылай их ко мне, я буду учить их грамоте.

— Разве есть у них время, пани? Старший всегда в хозяйстве нужен...

— Тогда пришли младшего.

— Так и он уже ходит за свиньями...

Пани подняла глаза к небу.

— Вот и сделай что-нибудь для них! — сказала она брату по-французски.

«Ох, и страсти ж они затевают против нас!» — подумал мужик, сильно обеспокоенный беседой на незнакомом языке.

Из дома вышел помещик; заметив жену и шурина, он прибавил шагу и через минуту был уже возле них. Слимак опять принялся кланяться, у Стасека от волнения навернулись слезы на глаза, и даже Ендрек в присутствии пана утратил свою обычную смелость. Между тем «вооруженный» ланкастером демократ передал зятю просьбу Слимака, горячо защищая его интересы.

— Да пускай его арендует этот луг! — воскликнул помещик. — По крайней мере я избавлюсь от скандалов за потраву, к тому же это один из самых честных мужиков во всей деревне.

Весь этот разговор велся по-французски, и у Слимака мурашки бегали по спине при мысли, что господа что-то замышляют против него. Он готов был вернуться ни с чем, лишь бы поскорее убраться с глаз долой.

Выслушав доводы шурина, помещик обратился к мужику:

— Значит, ты хочешь, чтобы я дал тебе в аренду два морга луга у реки?

— Ежели милость ваша будет, — ответил мужик.

— И чтобы пан скинул нам рублика три, — быстро прибавил Ендрек.

У Слимака захолонуло сердце, а господа переглянулись.

— Что это значит? — спросил пан. — С чего, собственно, скинуть три рубля?

Слимак машинально потянулся за ремнем, но, спохватившись, что в такую минуту нельзя выдрать Ендрека, впал в отчаяние и решился сказать всю правду.

— Да не слушайте вы, пан, этого прохвоста! — закричал он. — Дело было так: баба моя совсем меня заела, что я, дескать, не умею торговаться, и наказала мне выторговать рублика три за луг. А теперь этот щенок такое сделал, что мне впору провалиться со стыда!

— Да ведь маменька велели, чтобы я за вами смотрел и чтобы мы оба ноги у пана целовали. Тогда, говорит, он, может, сколько-нибудь уступит, — оправдывался Ендрек.

Тут Слимак совсем лишился языка, а пани и оба ее спутника так и покатались со смеху.

— Ну вот, — снова по-французски обратился помещик к шурина, — вот он, твой мужик. Тебе он не позволит разговаривать с его женой, боясь, что ты ее соблазнишь, а между тем без нее шагу ступить не смеет. Предложи ему самую выгодную сделку, он не решится на нее без санкции жены и, пожалуй, не поймет без ее пояснений.

— Очень хорошо! Так и следует! — поддакнула пани, закрывая лицо батистовым платочком. — Они восхитительны, наши мужики... Если бы ты меня так же слушался, мы давно бы уже продали эту скучную деревню и укатили в Варшаву.

— Но, дорогой мой, мужики вовсе не такие идиоты, какими ты их изображаешь, — не соглашался шурина.

— Мне незачем изображать их идиотами: они таковы в действительности. Наш мужик состоит из желудка и мускулов, а от воли и разума он отрекся в пользу жены. Слимак — один из самых смысленных мужиков во всей деревне, однако ты сию минуту мог убедиться в его глупости.

— Но...

— Никаких «но», дорогой мой мужикоман. Если угодно, я еще раз могу тебе доказать, какие это олухи.

— Но, друг мой...

— Прости, пожалуйста, — прервал помещик, — через секунду ты сам увидишь, где его ум.

И он обернулся к Слимаку, который в величайшей тревоге ждал, чем кончится этот веселый, но непонятный ему спор.

— Как же, Юзеф? Значит, жена велела тебе взять у меня луг в аренду?

— Так оно и есть.

— И велела хорошенько поторговаться?

— Так оно и есть. Что правда, то правда.

— Ты знаешь, сколько Лукасяк платит мне в год за морг луга?

— Говорил, будто десять рублей.

— Следовательно, ты должен будешь мне платить двадцать рублей за два морга.

Мужик на минуту задумался.

— Все ж таки, может, вы сделаете такую милость... — не договорил он.

— И хоть рубля три скину? — подхватил помещик.

Слимак смутился и умолк.

— Хорошо, — сказал помещик, — я тебе уступлю три рубля, так что ты будешь платить всего семнадцать рублей в год. Ну что, доволен?

Мужик поклонился до земли, но не мог дотянуться до ног пана и обхватил решетку; однако лицо его вместо удовольствия выражало растерянность.

«Неспроста он не торгуется! — подумал Слимак. — Видать, этот шуринок тут что-то подстроил!..»

И прибавил вслух:

— Так уж сделайте милость, примите от меня задаток. Моя-то дала мне аккурат десять рублей, а остальные велела занести завтра.

Он достал из-за пазухи платок, вынул из узелка десять рублей и протянул их помещику.

— Погоди, — прервал помещик, — деньги я возьму после, а пока хочу тебе кое-что предложить. Ты помнишь, за сколько в прошлом году купил у меня морг луга Гжиб?

— За восемьдесят рублей.

— И, кроме того, он оплатил нотариуса и землемера, не так ли?

— Святая истина.

— Ну, так слушай. Я продам тебе два морга луга, которые ты хочешь арендовать, по шестидесяти рублей, то есть на двадцать рублей дешевле, чем Гжибу. Мало того, ты не потратишь ни гроша на землемера и на нотариуса. Но знаешь, с каким условием?

Мужик смиренно пожал плечами.

— С тем условием, чтобы ты решил это дело сам, сейчас же, не спрашиваясь жены. Итак, слушай: ты заплатишь сто двадцать рублей за луг, которому цена больше ста шестидесяти, выгадаешь ты на этом чистых сорок рублей, но... решай немедленно. Завтра, даже сегодня вечером, после того как ты посоветуешься с женой, я уже не продам на этих условиях.

У Слимака заблестели глаза. Ему показалось, что наконец-то он проник в сущность заговора, направленного против него.

— Странный каприз бросать на ветер сорок рублей, — проговорила по-французски пани.

— Не беспокойся, — ответил муж. — Я ведь их знаю!..

— Ну как, — повернулся он к Слимаку, — купишь луг, не советуясь с женой?

— Да не годится оно как-то, — отвечал мужик с деланной усмешкой. — Вы — пан, а и то советуется с пани и с паничем, а я и подавно...

— Вот видишь? — обратился к шурина помещик. — Ну, не идиот ли?

Панич через решетку похлопал Слимака по плечу.

— Ну, приятель, соглашайся скорее, и ты оставишь пана с носом... Он уже решил, — обратился он к зятю.

— Что, покупаешь, Юзеф? Значит, по рукам? — спросил помещик.

«Дурак я, что ли?» — подумал мужик, но вслух сказал только:

— Да не годится как-то без жены покупать...

— Может, подумаешь?

— Да не годится оно этак, — повторил мужик, довольный тем, что пан сам подсказал ему удобную отговорку.

Он притворился, будто очень огорчен, но уперся на своем и не собирался покупать этот луг.

— В таком случае бери луг в аренду. Давай задаток, а завтра приходи за квитанцией.

— Вот тебе твой мужик, пан демократ! — обратился он к шурину, который с досады грыз ногти.

Слимак уплатил десять рублей, господа попрощались и ушли. Убедившись, что на него не смотрят, мужик окинул их горящим взглядом и в волнении зашептал:

— Эге! Хотели мужика надуть, не хуже немцев! Но и мне тоже ума не занимать стать! Правильно, значит, говорил Гроховский, что в нынешнем году наверняка будут землю раздавать; то-то им и не терпится продать!.. Сто двадцать рублей за этакий луг, да ему цена не меньше как двести... Нашли дурака... Они рады бы хоть и сто двадцать взять, коли придется отдавать землю задаром.

— А что-то здорово мудрят наши господа, будь им неладно... — заметил Ендрек.

— Цыц! — напустился на него отец, но про себя подумал: «На что сопляк, а и то смекнул, что мудрят...»

Вдруг его поразила другая мысль:

«А может, и не будут нынче землю раздавать, а просто господам взбрела такая блажь — продать мне луг по дешевке?»

Его бросило в жар. В эту минуту он готов был бежать за помещиком, броситься ему в ноги и умолять, чтобы тот отдал ему луг хотя бы и за сто тридцать. Но господа уже дошли чуть не до середины сада. Вдруг панич отделился от них и опять подбежал к мужику.

— Покупай луг, говорю тебе! — крикнул он, запыхавшись. — Зять еще согласится, только попроси его.

При виде ненавистного панича у Слимака снова вспыхнули прежние подозрения.

— Да не годится как-то покупать без жены, — ответил Слимак, усмехаясь.

— Болван! — буркнул панич и повернул к дому.

Луг был упущен.

— Чего ж вы не идете, тятя? — вдруг спросил Ендрек, заметив, что отец в раздумье оперся на решетку.

— Вот не знаю, хорошо ли, что не купил я луг за сто двадцать рублей, — пробормотал мужик.

— Чем же худо, раз этот самый луг останется у вас за семнадцать?

— Ну, так он не будет мой.

— Станут землю раздавать, он и будет ваш.

Эти слова несколько утешили Слимака. «Ну, — подумал он, — видно, так и есть насчет наделов, раз даже мальчишки про это болтают».

— Пошли, ребята, домой! — проговорил он вслух.

Обратно возвращались молча. Ендрек искоса поглядывал на отца и томился дурными предчувствиями, Слимака терзала тревога.

— Экая собачья порода! — шептал мужик, сжимая кулаки. — Никогда у шляхты не поймешь, врут они или правду говорят... Аккурат как евреи.

На половине пути проголодавшиеся мальчики убежали вперед. Не успел Слимак войти в хату, как жена спросила его:

— Что это Ендрек болтает, будто тебе хотели продать луг за сто двадцать рублей?

— Хотеть-то хотели; будут землю опять раздавать, вот они и боятся, — слегка оробев, ответил мужик.

— Я сейчас сказала Ендреку: либо, говорю, брешешь, либо тут что-то нечисто. Кто ж станет отдавать за сто двадцать рублей то, что стоит все двести?

Слимак разделся, сел за стол и за обедом стал рассказывать жене, что с ним произошло.

— Ух, и хитры же! Я и не пойму, как они прознали, что мы насчет луга идем, только напустили вперед на меня своего шурина.

— Это очкастого, что вчера приставал ко мне на реке? — догадалась Слимакова.

— Его самого. Вот он, холера, и перебежал нам дорогу: Ендреку сунул денег, мне шапку нахлобучил на голову — все это, чтобы глаза отвести, и сперва начал издали: «На что тебе, дескать, луг? Да у тебя и так невесть сколько земли. Да ты знаешь ли, что десять моргов — это несметное богатство?»

— Ну как же, богатство!.. — прервала Слимакова. — У его зятя поди добрая тысяча моргов, и то жалуется!

— Уж так-то, прохвост, меня морочил... А как увидел, что я сам не промах, повел меня к пани. Тут она стала мне зубы заговаривать, чтоб я к ней ребят присылал учиться, а пан все на органе поигрывал.

— Что ж, он в органисты пойдет, когда у него землю отнимут? — спросила хозяйка.

— Он у нас все время играет; делать-то ему нечего, вот он и наигрывает. А потом, — продолжал мужик, — вышел пан, и сейчас же они начали лопотать по-французски, что, дескать, мужик (стало быть, я) страсть какой твердый, что подступиться к нему (стало быть, ко мне) нет возможности и надо поскорей мне луг продать, покуда я не опомнился.

— А ты и понял, что они говорят?

— Чего тут не понять! Я и по-еврейски малость понимаю.

— И ты не стал луг покупать? Хорошо сделал: что-то тут нечисто, — заключила женщина.

Но мужика не радовала похвала жены: им снова овладели сомнения относительно намерений помещика.

«А вдруг они в самом деле хотели дешево уступить мне луг?» — думал он. Бросив обед, он бродил из угла в угол по хате. Все сильнее терзало его беспокойство, что, может, зря упустил он такой случай, и он старался приободрить себя, бормоча:

— Меня не проведешь!.. Уж я-то знаю толк в таких делах!..

Наконец, волнение Слимака достигло предела. Он сел на лавку, потом вскочил, схватился за голову и через мгновение снова не знал, куда деваться от мучившей его тревоги. Вдруг он взглянул на Ендрека, и у него блеснула счастливая мысль.

— Поди сюда, Ендрек, — сказал он, снимая с себя ремень.

— Ай, тятенька, не бейте! — завопил мальчишка, хотя давно уже предчувствовал, что порки ему не миновать.

— Все равно выдеру, — говорил Слимак, — за гордость твою, за то, что вчера насмеялся над паничем, а сегодня язык распустил перед паном... Ложись на лавку!..

— Ай! тятенька, не буду! — молил Ендрек.

Стасек обнял отца за ноги и, плача, целовал ему колени, а Магда выскочила во двор за хозяйкой.

— Живо ложись на лавку, пока добром тебе говорю!.. — орал Слимак. — Получишь, щенок, свое, не будешь водиться с этим прохвостом Ясеком... Сейчас ложись!..

Вдруг Слимакова громко забарабанила в окно.

— Поди скорей, Юзек! — кричала она. — Что-то приключилось с новой коровой. Так и катается по земле.

Слимак оставил сына и бегом бросился в закут. Однако, едва войдя, увидел, что все коровы спокойно стоят и жуют.

— Видать, уже отпустило, — сказала женщина, — а ведь как каталась, вроде как ты вчера.

Слимак внимательно осмотрел корову, пощупал ей хребет и покачал головой. Он догадался, что жена нарочно подстроила этот фокус, чтобы отвлечь его от Ендрека. Тем временем мальчишка удрал из хаты, да и у отца прошел гнев, так что дело кончилось ничем, как обычно бывает в таких случаях.

v

Настал июль. Помещик с женой уехали за границу, в деревне давно о них забыли, и даже новая шерсть успела уже отрасти у остриженных овец.

Солнце припекало так, что тучи с неба убежали куда-то в леса, а земля защищалась от зноя, чем могла: на дорогах — пылью, в лугах — отавой, а на полях — обильным урожаем.

У крестьян началась страдная пора. В имении уже скосили клевер и сурепицу; возле хат хозяйки с девками-работницами окучивали свеклу и картофель, а старухи собирали проскурняк, что гонит пот, липовый цвет от горячки и богородицыну травку от колик. Ксендз с викарием целыми днями выслеживали и ловили пчелиные рои, а шинкарь Йосель перегонял уксус. В лесу слышалось ауканье: то перекликались, собирая ягоды, ребяташки.

Между тем созрели хлеба, и на другой день после праздника пресвятой богородицы Слимак приступил к жатве. Работа была недолгая — всего дня два или три, — но мужик спешил: он боялся, как бы не вытекло переспевшее зерно, и не хотел пропустить жатву на помещичьих полях.

Обычно работали втроем: Слимак, Овчаж и Ендрек. Они попеременно жали и вязали снопы. Хозяйка и Магда помогали им с утра и после обеда.

В первый день, около полудня, когда они жали впятером и уже добрались до вершины холма, Магда заметила на опушке леса каких-то людей и сказала об этом хозяйке. Все стали глядеть в ту сторону, обмениваясь замечаниями.

— Видать, мужики, — сказал Овчаж, — видишь, все белые.

— А один-то с ними соломенный, — прибавила Сливакова, — мужики так не ходят.

— И сапоги до колен, — вмешался Слимак.

— Гляньте-ка! — крикнул Ендрек. — В руках у них вроде колышки, и веревку за собой волокут!

— Землемеры, что ли? К чему бы это? — призадумался Слимак.

— Опять, верно, землю будут делить!.. — ответила Сливакова. — Вот и хорошо, что луг не купили у помещика.

Они снова принялись жать, но работа не спорилась: то и дело кто-нибудь украдкой поглядывал на опушку, где все отчетливей виднелись люди. Нет, не походили они на мужиков и одеты были не в рубахи, подпоясанные кушаком, а в белые или желтоватые куртки и шляпы с черными лентами. Шли они с запада на восток и, видимо, измеряли поле.

Их появление до того заинтересовало Слимака, что он не только не шел впереди, как ему полагалось, а плелся где-то сзади, рядом с Магдой. Наконец он крикнул:

— Ендрек, брось-ка серп да слетай к ним; чего они там в поле прохлаждаются? Пронюхай, что за люди и для чего они землю меряют: раздавать будут или другое что?

Мальчишка помчался во всю прыть.

— Да поосторожней там! — крикнула вдогонку мать. — А то как бы тебя не поколотили...

Ендрек мигом (не успеешь три раза «Отче наш» прочесть) догнал землемеров, пошел рядом с ними, с минуту о чем-то поговорил, но и не думал возвращаться. Мало того, он взялся за колышки и мерную ленту.

— Видали! — дивилась Сливакова. — Да он совсем к ним пристал. Глянь-ка, Юзек, как он управляется с веревкой!.. Те, верно, учились не одну зиму, а с ним никто не может сравниться. Наш паршивец только и видел букварь, что у еврея за стеклом, а так и скачет между ними, словно заяц. Ай да малый!.. Эх, жалость, не велела я ему сапоги обуть; еще подумают, что он сирота безродный, а не хозяйский сын.

Она подбоченилась и с гордостью смотрела на Ендрека, который действительно ловко переносил колышки и тянул мерную ленту от одной точки до другой.

Вскоре, однако, группа инженеров спустилась в низину и скрылась из виду.

— Что только из этого выйдет, — в раздумье говорил Сликамак, — к добру это или к худу?

— Что ж худого, если земли прибавят? — сказала Сливакова. — А ты что думаешь, Мацек?

Батрак, видимо не ожидавший вопроса, оторопел, но, утерев со лба пот и подумав, ответил:

— Чего тут хорошего? Я помню, когда я служил у одного барина в Кжешове лет шесть тому назад, аккурат такие вот прошли с колышками по полю, а к осени у старшины и окажись нехватка в кассе, так пришлось всей волостью за него денежки отдавать. Всякое новое дело неверное, — заключил он.

Солнце уже клонилось к западу, когда прибежал Ендрек; запыхавшись, он крикнул матери, чтобы та скорей несла из погреба молоко, потому что следом за ним идут два пана, а паны важные, дали ему два злотых — за то, что он помогал им тянуть мерную ленту.

— Сейчас отдай матери! — крикнул Сликамак. — Они не за то, что ты веревку тянул, заплатили два злотых, а за молоко, которое у нас выпьют.

Ендрек чуть не расплакался.

— Чего я буду отдавать, раз деньги мои? — кричал он. — За то, что съедят, они еще заплатят, да и за все другое, что возьмут. Они спрашивали, есть ли у нас цыплята и масло...

— Стало быть, они торговцы, раз выпрашивают про масло да про цыплят, — решил Сликамак.

— Никакие не торговцы, а важные господа, ездят с палаткой и с поваром: он им в поле еду стряпает.

— Цыганы, что ли? — буркнул Слимак.

Не дожидаясь конца разговора, хозяйка побежала в хату, а вскоре подошли оба пана. Они вспотели, обожглись на солнце и покрылись пылью, но вид у них был настолько внушительный, что Слимак и Овчаж сразу, как по команде, сняли шапки.

Поздоровавшись с ними, старший из панов с длинной черной бородой, спросил:

— Кто у вас хозяин?

— Я, — сказал Слимак.

— Давно ты тут живешь?

— Сызмальства.

— Ты видал, как разливается эта река?

— Сколько раз!..

— А не помнишь, до какой высоты поднимается вода?

— Иной раз так разольется по лугам, что мужику впору утонуть.

— Это ты наверное знаешь?

— Все это знают, да и ямы эти в горе тоже водой размыло.

— Придется делать мост не ниже десяти сажень, — сказал младший пан.

— Очевидно, — ответил старший.

Он еще раз поглядел на луг и спросил Слимака:

— А молока мы у вас достанем?

— Моя уже полезла в подпол, милости просим.

Инженеры направились к хате, а следом за ними Слимак, Овчаж и даже Магда. Питье молока столь важными гостями было таким событием в доме Слимака, что ради этого стоило оторваться от работы.

Не меньший сюрприз ждал их во дворе. Слимакова с Ендреком вынесли из хаты стулья со спинками и вишневый стол, накрыли его скатертью, разложили жестяные ложки, поставили тарелки, кусок масла, каравай ситного хлеба и непочатый сыр с тмином. На пороге хаты стояла наготове кринка простокваши, а в стороне, в нескольких шагах от стола, три куры с целым выводком цыплят, кудахча и толкаясь, клевали крупу.

Гости в изумлении переглянулись.

— Ну-ну, — шепнул старший, — такого приема нам не оказал бы и шляхтич.

Они сели за стол, съели полкринки простокваши, похвалили масло и сыр; наконец старший спросил Слимакову, сколько с них следует.

— Кушайте на здоровье, — ответила хозяйка.

Они еще больше удивились.

— Не можем же мы бесплатно вас объедать, — сказал старший.

— Мы за угощение денег не берем. Да и малец мой у вас заработал, как за целый день жатвы.

— Ну что? — обернувшись к старшему, шепнул младший. — Вот они, польские крестьяне!..

Оба они казались очень довольными, а старший снова заговорил со Слимаком:

— За такой прием мы вам тут поблизости выстроим станцию.

Слимак поклонился.

— Да мне невдомек, ваша милость, к чему это все и что вы у нас хотите делать?

— Проведем вам железнодорожную линию.

— Железную дорогу, — пояснил младший.

Слимак покачал головой.

— Кто же у нас поедет по такой?.. Самая здоровая лошадь, пожалуй, обдерет на ней копыта.

— Но везти будут не лошади, а локомотив.

Мужик почесал затылок.

— О чем ты раздумываешь? — спросил его старший.

— Ох, не к добру такая дорога, — сказал мужик, — теперь, видно, с телегой-то ничего не заработаешь.

Гости засмеялись, а старший снова заговорил:

— Не беспокойся, голубчик, эта дорога — счастье для вас и особенно для тебя, поскольку ты живешь ближе других к станции. Будешь возить товары и приезжих, сможешь продавать масло, яйца, кур, капусту — словом, все, что у тебя уродится. А мы хорошо платим... Вот не продашь ли нам на пробу этих цыплят? Сколько их здесь?

— Двадцать два, — откликнулась Слимакова.

— Почему вы хотите?

— Сколько пану не жалко.

— Отдадите по два злотых?

Слимакова незаметно переглянулась с мужем. До сих пор им платили не больше злотого за цыпленка.

— Берите, — сказала она.

— А мошенник-еврей продает нам по полтиннику, — заметил младший.

— Ну, а свежего масла у вас много? — спросил Слимакову старший.

— Кварта-другая найдется.

— Почем?

— Сколько дадите.

— По пять золотых за кварту отдашь?

Хозяйка только поклонилась. Еврей платил ей по полтиннику.

Затем гости заказали несколько сыров, сотни полторы раков, полсотни огурцов, несколько караваев ситного хлеба и велели все это доставить на опушку леса, где стояли две палатки. Младший все удивлялся дешевизне, а старший хвалился, что всегда удачно покупает. Перед уходом, отдавая хозяйке шестнадцать рублей бумажками и полтинник серебром, он спросил:

— Что, не обидно вам будет?

— Какая там обида! — ответила Слимакова. — Каждый день бы так продавать...

— И будете продавать, как только построим дорогу.

— Помогите вам господь и пресвятая богородица! — благословила их женщина.

Овчаж молча кланялся до земли, а Слимак с шапкой в руке проводил их до самых оврагов.

Вернувшись домой, он с лихорадочной поспешностью стал отдавать приказания:

— Ягна, собирай-ка масло, а ты, Магда, нарви огурцов — полсотни и еще десяток, да выбирай какие получше; Мацек, возьми мешок и сбегай с Ендреком на реку за раками... Господи Иисусе Христе, сроду не приходилось враз столько наторговать... В воскресенье надо бы купить тебе фуляру да по такому случаю и Ендреку новую жилетку!

— Ну, пришло теперь счастье и в наш дом, — говорила не менее его взволнованная жена. — А фуляр непременно надо купить, а то в деревне никто не поверит, что мы заработали такую кучу денег.

— Вот только не нравится мне, что по новой дороге телеги будут ездить без лошадей, — прибавил Слимак. — Ну, да чего там!.. Не моя печаль.

К вечеру он отвез инженерам закупленную ими провизию и получил новые заказы от остальных панов, которые вместе с теми прокладывали путь и прозвали Слимака главным поставщиком. Он скупал в окрестных деревнях домашнюю птицу, молочные продукты, хлеб и овощи, а затем продавал инженерам по цене, которую они сами назначили, и зарабатывал грош на грош. Мужик не мог надивиться щедрости новых знакомых, а они — дешевизне продуктов.

Через неделю отряд инженеров перебрался дальше, а Слимак, подсчитав с женой барыши, увидел, что рублей двадцать пять ему точно с неба свалилось, — и это не считая заработка от перевозок и возмещения за потерянные дни.

«Уж не просчитались ли они?.. Или я им чего не отвез?» — думал мужик, и ему делалось совестно за свои барыши.

— А что, Ягна, — спросил он как-то жену, — может, съездить мне к панам и отдать эти деньги?

— Экий дурень! — крикнула баба. — Да так все торговцы зарабатывают. Ты же им одолжение делал, когда цыплят отдавал по два злотых, еврею они платили бы по полтиннику...

— Сам-то я покупал у людей по злотому.

— А еврей почему покупает?

— У еврея земли нету, да и нехристь он.

— Зато он и зарабатывает по два злотых с лишком на каждом куренке, а ты всего по злотому. Да и этот злотый не заработок вовсе, а просто подарили тебе паны за беспокойство.

Эти слова «за беспокойство» сразу утешили мужика. Ясное дело, он беспокоился, а там уж господская воля: дарят, сколько им вздумается. Варшавские господа, видать, все так платят за беспокойство; вот и этот, помещиков шурин, за то, что Ендрек подал ему картуз, отвалил сорок грошей серебром.

Когда хозяева занялись поставками для инженеров, вся жатва свалилась на Мацека Овчажа. То, что прежде делали втроем или впятером, теперь приходилось выполнять ему одному. Он поднимался на холмы еще до рассвета, спускался с них поздней ночью, жал, вязал снопы, складывал их в скирды, а сам все раздумывал: «Какая же она, эта железная дорога, по которой ездят без коней?»

Но как ни старался батрак, работа затянулась дольше обычного, и Слимак нанял в помощь ему старуху Собесскую. Бабка пришла к шести часам с пузырьком лекарства для раны на ноге и до полудня жала за двоих, горланя осипшим голосом песни, от которых даже Мацеку становилось не по себе. Зато после обеда, когда бабка приняла свое лекарство, сильно отдававшее водкой, ее так разобрало, что серп вывалился у нее из рук.

— Эй, хозяин, — орала она, — раз ты хозяин, так ты и выколачивай деньгу, а ты, батрак, знай себе жни. Ты, хозяин, жене фуляры покупай, а ты, батрак, ползай по полю на четвереньках да своим же носом подпирайся...

Пан деньги загребают.

Слуга пот отирает.

Жни, Мацек!.. Жни, старуха Собесская!.. А я — руки в боки и пошел прохладиться с инженерами, баламутить всю деревню да денежки прятать в сундук!.. Вот

увидите, он еще заделается у нас паном Слимачинским... Везет прохвосту; видно, черт уродил его от паршивой суки... Живым и усопшим... аминь...

Едва пролепетав последние слова, Собесская повалилась в борозду и очнулась, когда уже садилось солнце. Однако заплатили ей за целый день жатвы, опасаясь острого языка болящей; Слимак хотел было вычесть у нее за то время, что она проспала, но старуха сказала, целуя ему руку:

— Чего уж там спорить, пан хозяин?.. Продадите одним цыпленочком больше, и сами не останетесь в накладе, и меня не обидите...

«Таким-то всегда легче живется, кто за словом в карман не лезет», — подумал Овчаж.

А в воскресенье, когда семейство Слимака всем домом собиралось в костел, он уселся на завалинку, горестно вздыхая.

— Ты что, Мацек, не пойдешь в костел? — спросил Слимак, заметив, что батрак пригорюнился.

— Куда уж мне в костел! — вздохнул Овчаж. — Только вас срамить...

— Чего ж тебе не хватает?

— Хватать-то хватает, да вот обувка у меня такая, что чуть шаг шагнешь, нога вперед уходит, а сапог, будь ему неладно, на дороге остается.

— Сам виноват, — сказал Слимак. — Чего молчишь, раз тебе следует жалованье? Сейчас тебе отдам шесть рублей.

Через минуту он вынес из хаты деньги, и Овчаж поклонился ему в ноги.

— Купи себе сапоги, — сказал Слимак, — да смотри в корчму не заходи: сердце у тебя мягкое, пожалуй, все и пропешь.

Наконец все отправились в костел: впереди Слимак с женой, затем Магда с мальчиками, а поодаль, позади всех — Овчаж. Он шел и мечтал, как выстроят дорогу из железа и как Слимак станет шляхтичем, а он, Овчаж, будет у него служить на своих харчах и женится...

Тут он стал торопливо креститься, чтобы отогнать нечистого, который, видно, перебежал ему дорогу и, искушая его, нашептывал бог весть какие глупости. Ну, куда такому убогому, как он, думать о жене! Зоська и та за него не пойдет, хоть у нее двухлетний ребенок, да и в голове неладно.

Это воскресенье осталось памятным для обоих Слимаков. Жена купила себе фуляру в ларьке, раздала нищим по четыре гроша милостыни, а в костеле расселась на скамье перед самым алтарем, и Гжибина с Лукасяковой сразу уступили ей место. С Слимаком то и дело кто-нибудь заговаривал. Арендатор пожурил его за то, что он чересчур дешево продает и сбивает цену евреям, органист напомнил, что не худо бы заказать панихиду по усопшим, сам стражник поздоровался с ним, и даже викарий вступил с ним в разговор, убеждая разводить пчел.

— Теперь, сын мой, — говорил викарий, — когда у тебя имеются свободные деньги и время, ты мог бы навеститься ко мне в приходский дом и посмотреть, как выхаживают пчел. Потом купишь несколько ульев, и будет у тебя мед для себя или на продажу и воск для костела. Ибо и при большом достатке, сын мой, не мешает помнить о боге и разводить пчел.

Не успел от Слимака отойти викарий, как подошел к нему Гжиб. У старика горели глаза, и заговорил он с недоброй усмешкой:

— Что, Слимак, придется вам нынче угощать всю деревню при такой-то удаче в делах?

— Вы меня не угощали, когда свои дела делали, так и мне ни к чему вас угощать, — резко ответил Слимак.

— Где уж мне, ведь я и на коровах столько не зарабатывал, сколько вы на курах.

— Зато вы на людях куда больше зарабатываете.

— Правильно сказано, — поддержал Слимака Вишневецкий и принял его обхаживать, прося одолжить сто злотых до нового года.

Получив отказ, он втерся в толпу мужиков, собравшихся у костела, и стал бранить Слимака, обвиняя его в гордости:

— Гляди, до чего заважничал; этак он скоро и говорить не захочет с мужиками...

— В имение звали его жать, не пошел, — вставил словечко приказчик.

— А баба его так и развалилась на первой скамье перед алтарем, — прибавил Войтасюк.

— Богатство всегда голову кружит, — заключил Ожеховский, и мужики вошли в костел.

Деньги, выданные Овчажу на сапоги, не принесли ему счастья. Когда смиренно, как всегда, он стал на паперти, чтобы не мозолить глаза господа богу своим потертым зипуном, на него гурьбой набросились нищие, упрекая его в том, что он никогда не подает милостыни. Он пошел в корчму разменять три рубля; тут к нему привязался шинкарь:

— Как, пан Мацей, насчет моих денежек?

— Каких денежек?

— Уже позабыли?.. А вы с самого рождества задолжали мне семь злотых.

— Слыхали! — возмущился Овчаж. — Спросите по всей деревне, всякий скажет, что вы мне сроду не отпускали в долг, а если я выпью когда, то за наличные.

— Это правда, — ответил шинкарь. — Но когда вы на рождество напились пьяным, вы меня так обнимали, так целовали, что мне пришлось дать вам в кредит водки, пива, араку да еще баранок.

— А свидетели у вас есть? — с раздражением спросил Овчаж. — Право слово, смошенничать хотите.

Шинкарь с минуту подумал.

— Свидетелей у меня нет, — сказал он. — Поэтому до сих пор я к вам не пристававал насчет этих денег. Но я с вас и не спрошу мои семь золотых, если вы здесь, при народе, поклянетесь, что тогда не целовали меня и не просили дать вам в долг. Тьфу, — сплюнул шинкарь, — стыд и срам, что батрак такого порядочного хозяина обманывает бедного еврея... Я вам прощаю, Овчаж, этот долг, но чтобы больше ноги вашей не было у меня в корчме, потому что мне за вас стыдно.

Батрак стал колебаться. А может, и в самом деле он должен ему семь золотых?

— Ну, раз вы так говорите, я отдам. Но помните, бог вас накажет за мою обиду.

В душе, однако, он сомневался, что господь бог из-за такого, как он, бедняка станет наказывать столь важную особу, как шинкарь.

Овчаж расстроился и совсем было собрался уходить, когда в корчму вошло несколько косарей-галичан. Усевшись за стол, они стали толковать о больших заработках, которые ожидались на постройке железной дороги.

Увидев таких же, как он, оборванцев, Мацек подошел ближе и спросил:

— А есть ли, правда, где-нибудь на свете железные дороги? Да ведь на такое дело изо всех лавок не хватит железа. У самой казны и то, пожалуй, столько не наберется.

Косари высмеяли его. Но один из них, рослый парень с огромным кадыком, щеголявший в новенькой фуражке, вступился за Мацека:

— Чего же тут смеяться, если простой мужик не знает, что такое железная дорога? Садись, брат, сюда, я тебе все расскажу по порядку, а ты поставь нам бутылку горелки.

Не успел еще Мацек решиться, как водка уже стояла на столе. Подал ее шинкарь со словами:

— Почему бы ему не поставить водки? Вот он и поставил... Он хороший парень...

Что произошло потом, Овчаж не помнил... Кто-то рассказывал, как быстро ездит люфт-машина, кто-то кричал, что Мацек должен купить себе сапоги, а не пропивать деньги. А потом еще кто-то схватил его за руки и за ноги и вынес из корчмы в конюшню. Но кто — Овчаж не знал. Одно было несомненно, что домой он вернулся поздно и без гроша в кармане.

Хозяйка смотреть на него не захотела, а Слимак проговорил, качая головой:

— Эх, ты! Нет, никогда тебе, видно, не разбогатеть, потому что в тебе черт сидит и подзуживает якшаться с кем попало.

Таким образом, Овчаж не купил себе новых сапог, зато через несколько недель ему привалила прибыль, о которой он никогда и не помышлял.

Был ненастный сентябрьский вечер. С наступлением сумерек небо гуще заволокло слоями разодранных в клочья туч, которые нависали все ниже и становились все мрачней. Леса, холмы, деревню, даже плетни вокруг хат постепенно окутала серая завеса, сквозь которую сеялся частый, мелкий, пронизывающий дождь. Насыщенные влагой поля размякли, как сырое тесто, по дороге побежали грязно-желтые ручейки, во дворе растеклись большие темные лужи. Сыростью пропитались крыши и стены хат, шерсть животных, одежда и даже души людей.

В хате Слимака подумывали об ужине, но все были как-то не в духе. Хозяин зевал, хозяйка сердилась, мальчишкам хотелось спать, и даже Магда двигалась сегодня ленивее, чем обычно. Все поглядывали то на печку, где потихоньку доваривалась картошка, то на дверь, откуда должен был войти Овчаж, то на окно, за которым шелестели дождевые капли, падавшие и с верхних и с нижних туч и с тех туч, что стлались почти над землей, со всех строений, со всех увядающих листьев, с крыши, со стен и со стекол. Время от времени дробный стук капель сливался в один звук, и тогда казалось, будто кто-то идет.

Вдруг скрипнула дверь в сенях.

— Мацек, — пробормотал хозяин.

Но никто не вошел. Зато послышался шорох, как будто кто-то шарил рукой по стене, не находя двери в хату.

— Ослеп он, что ли? — проворчала хозяйка и нетерпеливым движением отворила дверь.

У входа кто-то стоял, но не Мацек: небольшого роста, широкий, закутанный в промокшее рядно. Хозяйка попятилась назад, в сени упал отблеск огня, и из-под рядна показалось лицо медного оттенка, точно прокопченное, с коротким толстым носом и косыми глазами, которые едва виднелись из-под опухших век.

— Слава Иисусу Христу, — проговорил хриплый голос.

— Это ты, Зоська? — с удивлением спросила хозяйка.

— Да, я.

— Ну, входи скорей, а то холоду напустишь в хату.

Странная гостья вошла и молча остановилась на пороге. Теперь можно было разглядеть на руках у нее ребенка, белого, как кость, с посиневшими губами; из-под рядна высунулась его ручка, тоненькая, как прутик.

— Куда ты собралась в такую пору? — спросил Слимак.

— Работу иду искать, — ответила женщина.

Она посмотрела по сторонам, словно искала, где присесть, но, не найдя, отошла к дверям и села на корточки у порога, прислонившись к стене.

— В деревне болтают, — говорила она глухим, хриплым голосом, — что у вас теперь деньги завелись. Я подумала, может, вам потребуется работница, вот и пришла...

— Не надо нам работницы, — сказала хозяйка. — Живет у нас Магда, и той делать нечего.

— Ты как же умудрилась без места остаться? — спросил Слимак.

— Летом я ходила жать, а теперь никто не хочет меня брать с ребенком. Одну скорей бы взяли.

В эту минуту вошел Мацек и вздрогнул от изумления, увидев Зоську.

— Ты как сюда попала?.. — спросил он.

— Работу ищу. Говорят, Слимак стал богач. Я и зашла; думала, может, возьмут меня в работницы. Да с ребенком и Слимак не берет.

— О, господи, господи... — прошептал батрак при виде нищеты, еще горшей, чем его собственная.

— Что-то ты уж очень причитаешь над ней, как будто совесть тебя грызет? — язвительно проговорила хозяйка.

— Всякому жалко смотреть на такую нужду, — пробормотал Слимак.

— А уж особенно тому, кто в этом виноват, — снова съязвила Слимакова.

— Я не виноват, — ответил Мацек, пожимая плечами. — А все-таки жаль мне и ее и ребенка.

— Так и бери ее, раз тебе жалко, — сердито сказала хозяйка. — А что, Зоська, отдала бы ты ребенка Овчажу?.. Кто там у тебя: мальчик или девочка?

— Девочка, — прошептала Зоська, глядя на Овчажа. — Ей уже два года. — И прибавила: — Хочешь, возьми ее себе...

— Куда мне ее? — ответил батрак. — Оно, конечно, жалко...

— Хочешь, бери... Бери, бери ее, если хочешь... Слимак теперь богач, и ты богач...

— Он-то у нас богач. По шесть рублей в одно воскресенье пропивает, — издевалась Слимакова.

— Если вправду ты такой богатый, что по шесть рублей в одно воскресенье пропиваешь, так бери ее, — говорила Зоська все настойчивее.

Она развернула рядно, взяла ребенка и положила его на мокрый земляной пол. Ребенок, казалось, стал еще бледнее, но не издавал ни звука.

— Глупые это шутки, Ягна, — буркнул Слимак, оборачиваясь к жене.

Зоська потянулась и вскочила на ноги.

— Вот мне и легко, хоть один разок в жизни... — возбужденно проговорила она. Глаза ее дико горели. — Сколько раз я думала: «Ох, не вытерплю, брошу ее где-нибудь на дороге, а то и в воду...» Ты, если хочешь, бери ее... Возьми, возьми, только смотри береги, а то я, как вернусь да не найду ее, все зенки тебе выцарапаю...

— Что ты болтаешь, взбесилась ты, что ли?.. — вразумлял ее Слимак. — Перекрестись!..

— Пускай тот крестится, кто идет на смерть, а я пойду работать... Болтали, будто вы теперь богач... Я думала, может, потребуется вам работница, вот и зашла... А нет, так и не надо, пойду дальше...

— Чего с душой толковать! Садитесь ужинать, — прикрикнула хозяйка и в сердцах схватила горшок с огня.

От резкого движения головешки рассыпались по всему полу, а одна упала наземь, прямо к босым ногам Зоськи.

— Горит!.. Горит!.. Горит!.. — закричала Зоська, отскакивая к двери. — Все сгорит, хата сгорит и рига сгорит... Только Зоська убежит, в одной рубахе убежит и... в одной рубахе так и будет ходить до самой смерти...

Как пьяная, она толкнулась в дверь, шатаясь, выбежала в сени, из сеней во двор, все повторяя: «Горит!.. Горит!..» Крик ее послышался за окном, потом в палисаднике, потом на дороге. Наконец, он затих, заглушенный шумом дождя. В хате на полу остался ребенок, худой и странно тихий.

— Держите ее! — в бешенстве крикнула Слимакова. — Беги, Мацек!..

Но Мацек не двинулся с места, зато поднял голос Слимак:

— Что ты болтаешь? Кто побежит за помешанной среди ночи? Разве затем, чтобы черт башку ему оторвал?

— Прикидывается помешанной, а сама дитенка нам подбросила, — ворчала хозяйка.

— Чего тут прикидываться? Помнишь небось, когда она еще у нас жила, всякий раз к новому месяцу она словно порченая делалась. А теперь и вовсе рехнулась, как погорели они у Скшипа.

— Она и подожгла.

Слимак махнул рукой.

— Кто это видел? На убогих-то все валят, а лихие люди пользуются.

— А что ты будешь делать с этой приبلудой? — вспыхнула хозяйка. — Может, думаешь, я буду кормить всякую найденку?

— Ну вот, не за ворота ж ее выбросить? Да ты не бойся, придет за ней Зоська — не нынче, так завтра.

— А не придет, ты эту найденку в волость свезешь. Не хочу я ни одной ночи держать у себя в доме такого ребенка, — выходила из себя хозяйка.

— Куда ж ты ее денешь? — вскипел Слимак.

— Я ее к себе возьму, в конюшню, — тихо проговорил Овчаж.

Он подошел к порогу, неловко поднял ребенка с пола и, усевшись в углу на лавке, принялся его кутать и укачивать. В хате вдруг все затихло; потом из неосвещенной половины вынырнула Магда, за ней Ендрек и Стасек; они окружили Овчажа, разглядывая маленькую.

— А уж высохла она, как щепка, — прошептала Магда.

— И не шевелится, только все смотрит, — прибавил Ендрек.

— Придется вам, Мацек, кормить ее из тряпочки, — снова сказала Магда. — Я найду вам чистенькую.

— Садитесь ужинать, — позвала хозяйка уже не так сердито.

Она посмотрела на ребенка — сперва издали, потом склонилась над ним и, наконец, коснулась пальцами его желтого, сморщенного личика.

— Сука, а не мать! — пробормотала она. — Магда, — прибавила она громче, — налей-ка молока в чашку да покорми найденку, а ты, Мацек, садись ужинать.

— Пускай Магда вперед поест, я сам накормлю сиротку, — сказал батрак.

— Ну как же, он накормит!.. Да он и держать ее толком не умеет! — огрызнулась девушка и хотела отобрать у него ребенка.

— Не тронь! — проворчал Овчаж.

— Отдайте ее!.. — кричала Магда.

— Ну, оставь, не тормози ее, Магда, — сказала хозяйка. — Налей молока да сверни чистую тряпицу, и пускай Мацек ее кормит, раз ему охота.

Через минуту Мацек уже держал в руках тряпочку, свернутую рожком, и кормил ребенка, к неудовольствию Магды, которая, забыв про ужин, поминутно делала замечания:

— Нет, гляньте-ка, все лицо ей вымазал!.. А на пол-то как проливает... Чего вы ей в нос-то суете тряпку?.. Еще задохнется девочка!..

Батрак чувствовал, что он плохая нянька, но ребенка из рук не выпускал. Он наспех проглотил немного затирухи, не доев, отставил миску, укутал сиротку зипуном и поскорей улизнул к себе в конюшню.

Едва он вошел туда, одна лошадь заржала, а другая впотьмах повернула голову и стала обнюхивать ребенка.

— Так, так, поздоровайся! — сказал Овчаж. — Видишь, новый конюх к нам нанялся, только кнута еще в руке не удержит. Ха-ха!

На дворе все еще лил дождь. Двери конюшни затворились, и все затихло. Когда через некоторое время из хаты вышел Слимак посмотреть, не прояснилось ли, ему слышалось, что Мацек уже храпит в конюшне.

— Спят, видно, — пробормотал хозяин.

Он поглядел на небо и вернулся в сени.

— Как, тепло там найденке? — спросила мужа хозяйка.

— Спят уже, — ответил мужик.

Загремел засов, в печке догорал чуть тлевший огонек и, наконец, погас. Было поздно. Петухи пропели полночь, в ответ им пролаяла собака и запряталась от дождя под телегу; в хате все уснули.

Тогда чуть слышно скрипнула дверь из конюшни и показалась какая-то тень; она скользнула вдоль стены и осторожно прокралась в закут. Это был Мацек. Он вытащил из-за пазухи всхлипывающего ребенка и приложил к коровьему вымени.

— Пососи скотинку, — шепнул он, — раз родная мать тебя бросила. Пососи...

В закуте слышалось тихое почмокивание. Дождь лил по-прежнему.

VI

Весной должны были приступить к постройке дороги, и весть об этом вызвала волнение в деревне. В зимние вечера за пряжей вместо сказок рассказывали то о каких-то неизвестных людях, скупавших у крестьян землю, то о бедном мужике, который продал песчаный холмик, а купил за него десять моргов самой лучшей земли, то о незнакомых евреях, понаехавших в местечко и к ним в деревню — в корчму и к арендатору.

В декабре, после летней поездки, вернулся помещик с женой, и тотчас распространился слух, что имение будут продавать. Правда, сам пан по-прежнему играл на органе и только улыбался, когда кто-нибудь из служащих робко его спрашивал, верно ли, что он расстается с родовым поместьем. Но пани каждый вечер рассказывала горничной, как им весело будет в Варшаве, куда они переезжают. Час спустя горничная шепотом пересказывала эти новости писарю, который собирался на ней жениться; писарь на другое утро передавал их по секрету управляющему и приказчику, а в полдень их повторяли уже везде — на кухне, в клетях, в хлевах, в конюшнях и овчарнях — разумеется, под строжайшим секретом.

К вечеру весть проникала в корчму, из корчмы разносилась по хатам, и, наконец, докатывалась до местечка.

Слимак, часто работавший в имении, тоже слышал эти разговоры и видел их последствия. Видел и удивлялся могуществу такого слова, как «продажа».

Поистине, оно творило чудеса. Из-за него батраки теперь работали спустя рукава, из-за него с нового года уволился управляющий. Из-за него отошала безропотная

рабочая скотина, из-за него из овинов исчезали снопы, а из амбаров зерно. Слово это пожирало запасные колеса и сбрую, вырывало замки и скобы у дверей, выламывало доски из заборов и кольца из плетней. Оно же каждый вечер уводило прислугу в корчму, а чуть ночь потемней — неведомо куда угоняло то гуся, то индейку, то поросенка или овцу!

Всемогущее слово! Оно прозвучало по всему имению, по деревне и по местечку, откуда каждый день торговцы приносили счета. Его можно было прочесть на лицах обитателей имения, в печальных глазах отощавшей скотины, на всех дверях, во всех выбитых окнах, заклеенных бумагой. Не слышали его только двое: пан, все время игравший на органе, и пани, мечтавшая об отъезде в Варшаву. Если же кто-нибудь из соседей спрашивал, правда ли, что имение продается, он только улыбался и пожимал плечами, а она отвечала со вздохом:

— Мы хотели бы продать, в деревне такая скука. Но что же делать, если муж не находит покупателя!..

Слимак, которому иногда случалось встречаться с помещиком, зорко к нему присматривался и не верил в продажу.

«Какой он там ни есть, — думал о нем мужик, — а ведь загоревал бы он от такой-то беды. Ведь они тут живут испокон веков: и родились тут и выросли, все их деды-прадеды похоронены на здешнем погосте. Камень, не то что человек, и тот бы извелся, если б кто столкнул его со старого места. Да и с чего бы ему продавать, банкрот он, что ли? Деньги у него есть, это все знают».

Так думал мужик, потому что мерил пана на свой аршин, и уж вовсе не способен был понять, что такое молодая жена, скучающая в деревне.

А в то время, как он, обманутый спокойным лицом помещика, делал свои выводы, в корчме, под руководством шинкаря Йоселя, между мужиками побогаче происходили важные совещания.

Однажды утром, в середине января, в хату к Слимакам влетела старуха Собесская. Зимнее солнце еще не успело осмотреться по сторонам, а у нее уже огнем горели щеки и налились кровью глаза. Бабка прибежала в старом, как она сама, тулупе и в рубахе, разорванной на иссохшей груди.

— Ну, ставьте-ка водку, — закричала она, споткнувшись о порог, — а уж я вам кой-чего расскажу.

Слимак собирался молотить, но после такого вступления сел у печки и велел подать старухе водки, зная, что бабка не бросает слов на ветер.

Она выпила большую чарку, топнула ногой и крикнула: «Ух-ха!..» Потом утерла рот и начала рассказывать:

— Слыхали, что пан продает имение: леса, поля — все? Может, только оставит себе дом да сад...

Слимаку на ум пришел его луг, и он весь похолодел. Но коротко ответил:

— Басни!

— Басни?.. — повторила старуха, стараясь подавить икоту. — А я вам скажу, что не басни это, а истинная правда. И еще вам скажу, что нынче мужики, главные наши богатей, сговариваются с Иоселем и с Гжибом купить имение у помещика... Как есть, все имение, провались я на этом месте!..

— Как же это они сговариваются без нас? — сердито спросила Слимакова.

— А вас они не хотят принимать. Говорят, что и так вы будете у самой дороги и что вы уже успели на ней подработать и обидеть других...

Старуха выпила еще чарку и хотела продолжать, но водка ударила ей в голову. Она только крикнула: «Ух-ха!» — и потащила Слимака плясать, однако силы сразу ее покинули. Как подкошенный стебель, она повисла на руке мужика; тот вынес ее в сени и едва уложил в углу на подстилке, как бабка захрапела, до того ее разморило.

Следующие полдня Слимак потихоньку советовался с женой, что делать в такой оказии. К вечеру он надел новый овчинный полушубок и отправился в корчму на разведки.

Пока он шел, на дворе стемнело, и в корчме зажгли огонь. Отворив дверь, Слимак увидел за столом Гжиба и Лукасяка. При свете сальной свечи мужики в тяжелой зимней одежде походили на огромные камни, какие дремлют кое-где в полях, охраняя межи. За стойкой сидел Иосель в грязной полосатой фуфайке. У него был острый нос, острая бородка, острые кончики пейсов, острые локти, даже во взгляде было что-то колючее.

— Слава Иисусу Христу! — поздоровался Слимак.

— Вовек! — небрежно ответил Иосель.

Гжиб и Лукасяк, сидевшие, развалясь, за столом, только кивнули ему головой.

— Что нынче пьют хозяева? — спросил Слимак.

— Чай, — ответил шинкарь.

— Дай-ка и мне. Да черного, как смола, и побольше араку.

— Вы пришли сюда чай пить? — насмешливо спросил Иосель.

— Не за чаем я пришел, а разузнать...

— О том, что вам наговорила Собесская, — проворчал шинкарь.

Слимак уселся подле Гжиба и повернулся к нему.

— Вы что, имение надумали покупать у пана?

Мужики взглянули на Иоселя, он усмехнулся. Наконец ответил Лукасяк:

— Э-э... Так, толкуем от нечего делать!.. Да и у кого в деревне найдутся деньги на такое дело?

— Вы двое могли бы купить, — заметил Слимак, — вы да Гжиб.

— Может, и могли бы, — подхватил Гжиб, — да для себя и для своих деревенских.

— Ну, а я что же? — спросил Слимак.

— Вы нас не пускали в свои дела, так не суйтесь в наши.

— Не ваше это дело, а общее.

— Именно мое! — горячился Гжиб.

— Такое же, как и мое.

— Именно не такое... — настаивал на своем старик, стуча кулаком. — Не понравится мне кто, не приму его в долю — и баста!..

Шинкарь усмехнулся.

Лукасяк, заметив, что Слимак бледнеет от бешенства, взял Гжиба за руку.

— Пошли, кум, домой, — сказал он. — Чего ругаться, когда и дело-то еще неверное? Пошли, кум.

Гжиб взглянул на Иоселя и поднялся с лавки.

— Стало быть, без меня хотите покупать? — снова спросил Слимак.

— Цыплят-то вы летом скупали без нас, — ответил Гжиб.

Оба пожали руку Иоселю и вышли из корчмы, не простясь со Слимаком.

Шинкарь посмотрел им вслед, продолжая усмехаться.

Когда скрип шагов по снегу затих, он повернулся к Слимаку.

— Ну, хозяин, видите, как нехорошо у евреев хлеб отбивать? Из-за вас я потерял рублей пятьдесят, а вы и всего-то заработали двадцать пять, зато вражды себе нажили в деревне на целую сотню.

— И они без меня купят землю у пана? — спросил Слимак.

— А почему бы им не купить без вас? Какое им дело, что вы на этом потеряете, если им будет хорошо?

Мужик покачал головой.

— Ну-ну! — прошептал он.

— Я, верно, мог бы помирить вас с деревней, — продолжал Иосель, — но зачем мне это? Один раз вы уже меня обидели, а сердце у вас никогда ко мне не лежало.

— И не помиришь? — спросил Слимак.

— Помирить я могу, но у меня есть свои условия.

— Ну?..

— Во первых, вы отдадите мне те пятьдесят рублей, которые я летом из-за вас потерял, а потом... постройте на своей земле хату и сдадите ее моему шурину.

— А что он там будет делать?

— Он будет держать лошадей и будет ездить на железную дорогу.

— А мне что делать с моими лошадьми?

— А у вас останется ваша земля.

Мужик поднялся с лавки.

— Нет уж, не надо мне чаю, — сказал он.

— А я и в доме его не держу, — пренебрежительно ответил шинкарь.

— Не дам я вам эти пятьдесят рублей и хату для шурина вашего не стану строить.

— Ну-ну, как хотите, — ответил Иосель.

Слимак вышел из корчмы, хлопнув дверью. Иосель повернул ему вслед свой острый нос и острую бородку, меланхолически усмехнувшись. В ночной темноте Слимак сперва наткнулся на господского батрака с тяжелым мешком ржи на спине, потом заметил девку-работницу, которая кралась между плетней, пряча под тулупом гуся, а Иосель все продолжал усмехаться. Он усмехался, отдавая батраку два золотых за рожь вместе с мешком; усмехался, покупая у девки гуся за бутылку прокисшего пива; усмехался, слушая мужиков, совещающихся насчет покупки имения; усмехался, когда платил старому Гжибу два рубля в месяц со ста, и усмехался, когда брал у молодого Гжиба два рубля в месяц с десяти.

Усмешка казалась неотделимой от его острого лица, как грязная полосатая фуфайка от его тела.

В хате Слимака уже погас огонь в печке и давно спали дети, когда он, вернувшись из корчмы, стал впотьмах раздеваться.

— Ну что? — спросила его жена.

— Это все Иоселевы проделки, — ответил мужик. — Он ими вертит, как хочет.

— И не примут тебя в долю?

— Они-то нет, да я пойду к самому помещику.

— Завтра пойдешь?

— Завтра. Не то пропадет у меня луг. А без него — что мне, горемычному, делать?.. — вздохнул мужик.

Пришло завтра, пришло и послезавтра, пролетела целая неделя, а Слимак все еще не собрался в имение. Один день он говорил, что ему надо молотить рожь на продажу; другой — что в такой мороз носа не высунешь на улицу; потом — что он надорвался и нутро у него ноет. На самом же деле он и не молотил и не надорвался, но что-то удерживало его дома. То, что мужики называют робостью, шляхта — ленью, а ученые люди — отсутствием воли.

В эти дни он мало ел, ничего не делал, на всех сердился и, вздыхая, бродил по всему хутору. Чаще всего он останавливался у покрытой снегом лужайки и думал; в нем происходила борьба. Рассудок говорил ему, что надо идти в имение и так или иначе покончить с этим делом, а какая-то другая сила наполняла его душу тревогой и сковывала ноги или нашептывала на ухо: «Не спеши, погоди еще денек, все само собой образуется...»

— Юзек, ты чего не идешь к пану? — кричала жена. — Все равно ведь придется пойти и потолковать.

— А ну, как он не продаст мне луг; что тогда?.. — отвечал мужик.

Так он и не мог ни на что решиться, пока однажды вечером Собесская не дала ему знать, что депутаты от деревни были днем у помещика с просьбой продать им имение.

Собесскую совсем одолела ломота в костях, и она попросила у Слимаковой наперсточек водки. Чарка сразу развязала ей язык...

— Дело, видите, вот как было. Пошел Гжиб, да Лукасяк пошел, да Ожеховский, разоделись, словно к святой евхаристии. Пан зазвал их в контору, а Гжиб только откашлялся и давай чесать прямо с порога: «Слыхали мы, говорит, ваша милость, что хотите вы продать свое поместье. Конечно, продать свое добро каждый имеет полное право, равно как и всякий может купить, только бы заплатил как следует. Но, как там ни говори, не годится, чтобы земля, которой испокон веков владели ваши деды-прадеды и которую мы своим мужицким трудом пахали да засевали, не годится, чтобы этакое дело перешло в чужие руки. Стало быть, продайте, ваша милость, имение нам, своим мужикам и соседям, и не смотрите вы на чужих людей, которые землю вашу святую не уважат». Уж так-то хорошо говорил, да чуть ли не целый час, — продолжала Собесская, — ну, точно ксендз с амвона. У Лукасяка так даже поясницу свело, и все, как есть, ревмя ревели. А потом мужики — давай в ноги кланяться пану, а пан — давай обнимать их за шею...

— И что же, покупают?.. — потеряв терпение, перебил ее Слимак.

— Чего ж не покупать?.. Покупают... — протянула бабка. — Только малость в цене не сошлись: пан хочет сто рублей за морг, а мужики-то дают пятьдесят. Но, скажу я вам, так они плакали да целовались, так говорили, чтоб стоять заодно мужику и пану, что богатей наши, наверное, прибавят рубликов по десять, а остальное пан им уступит. Иосель говорит, чтобы по десятке накинули, не больше, да не спеша, тогда, конечно, сторгуют... А умный, холера его возьми, этот Иосель... За эти две недели, что мужики сговариваются в корчме, у него такие барыши, будто сама богородица у нас в деревне объявилась... Ох, царица небесная, чудотворная...

— А против меня он бунтует мужиков? — спросил Слимак.

— Бунтовать не бунтует, — отвечала старуха, — только иной раз ввернет словечко, что, дескать, вы уже не крестьянин, а вроде как купец. Мужики на вас взъелись похуже, чем он. Все забыть не могут, как вы курят у них покупали по золотому, а землемерам продавали по два...

После этих известий Слимак на другое утро отправился в имение и в полдень с кислым видом вернулся домой.

— Ну что? — спросила жена.

— Ну сходил; потом расскажу, дай-ка поешь.

Он разделся и, усевшись за миску щей, начал рассказывать.

— Вошел это я в ворота, смотрю: по одну сторону дома все окна настежь. В такую-то стужу!.. Слышь, Ягна?.. Ну, думаю, может, помер кто, не приведи бог? Заглянул, а тут, в самой большой горнице (в той, где белые столбы, громадная такая, как костел), ездит по полу лакей, — Матеуш его звать. Без сюртука, в фартуке, щеткой подпирается да так и катит, как ребятишки на льду. «Слава Иисусу Христу, — говорю я ему. — Что это вы делаете, Матеуш?» — «Во веки веков, отвечает. Видите, пол натираю. Нынче гостей ожидаем, танцы будут». — «А пан, говорю, не вставал еще?» — «Эх, говорит, встать-то встал, да сейчас он с портным плащ примеряет. Пан-то для танцев рядится краковянином, а пани — цыганкой». — «А я, говорю, хотел пана просить, чтобы он мне луг продал». А Матеуш, стало быть лакей этот, говорит: «Глупые ваши слова, Слимак! Станет с вами пан толковать про луг, когда у него голова забита краковянином». И опять как пошел ездить, так у меня в глазах и зарябило! отошел я от окна и малость постоял возле кухни. Слышу шум, гам, огонь пылает, как в кузне, масло так и трещит. Вдруг, смотрю, вылетает из кухни Игнаций Кэмпяж, — поваренком он в доме, — но до того беднягу раскровянило, словно кто топором его тяпнул. «Игнаций, кричу, бог с тобой, кто это из тебя краску пустил?» — «Это, говорит, не из меня. Просто повар съездил мне по морде битой уткой, вот меня и вымазало». — «Слава всевышнему, говорю, что сок не из тебя вышел, а ты вот что скажи: как бы мне поймать пана?» Он и говорит: «Подождите здесь. Только что, говорит, привезли козулю, так пан, верно, выйдет посмотреть на нее». Игнаций побежал к колодцу, а я жду, жду, все кости у меня разломило, а я все жду.

— Ну, а пана ты видел? — в нетерпении прервала его жена.

— Еще бы не видел!

— И говорил с ним?

— А то как же?

— О чем же вы говорили?

— Гм... ну, я говорю: «Прошу вашей милости насчет лужка». А он мне тихо: «Ах... оставь ты меня в покое с делами, не до того мне сейчас».

— Только и всего? — спросила баба.

Слимак развел руками.

— Схожу туда завтра или послезавтра, как отоспятся после танцев.

В это время Мацек Овчаж ехал на санях в лес за дровами. Он вез топор, лукошко с убогой снедью и дочку дурочки Зоськи. Мать, покинув ребенка осенью, по

нынешний день не справлялась о нем, и Овчаж выхаживал сиротку. Он кормил девочку, укладывал в конюшне спать и держал при себе, где бы ни работал, боясь хоть на минуту оставить ее без присмотра.

Девочка была хилая, почти не двигалась и даже не кричала. Слимаки и особенно Собесская предсказывали, что она скоро умрет.

— Недели не проживет.

— Завтра помрет.

— Ого! Найденка-то кончилась.

Так говорили о ней в хате. Но девочка прожила неделю, не померла и назавтра и даже, когда ее раз уже все сочли покойницей, снова открыла блеклые глазки.

Мацек, слушая эти предсказания, только отмахивался и приговаривал: «Выживет, ничего с ней не сделается...»

Каждую ночь он тайком давал ей сосать коровье вымя, а днем никогда с ней не разлучался.

— Охота тебе, Мацек, возиться с такой дохлятиной! — не раз повторяла Сликакова. — Ты ей что хочешь говори, хоть молитвы читай, ничего она не смыслит, уж больно глупа. Сроду я такой дурехи не видывала...

— Ну нет!.. — отвечал батрак. — Про себя она все понимает, только не умеет сказать. А вот станет говорить, самых умных за пояс заткнет!

И возил ли он на поле навоз, молотил ли, веял или чинил свои лохмотья, девочка всегда была с ним. Он рассказывал ей о своей работе, поил из бутылочки молоком и убаюкивал, фальшиво напевая песенку о сиротке:

Шла она лесами,
Затравили псами...

Сегодня Мацек повез ее в лес. Он закутал девочку в остатки старого тулупа, поверх обмотал рядом, привязал к передку саней и поехал — то с горы, то в гору, а то и оврагом; такая уж горбатая была тут местность. Вдруг они выехали на равнину прямо против солнца, и косые лучи его, отражаясь в безбрежной глади снегов, ударили им в глаза ярким блеском.

Девочка заплакала. Овчаж повернул ее на бочок и принялся читать наставления:

— Вот видишь, я тебе говорил: закрывай глаза. Ни один человек на свете, будь он хоть сам епископ, не может смотреть на солнце, ибо это фонарь господень. Каждый день до свету Иисус Христос берет его в руки и обходит все свое хозяйство на земле. Зимой, когда донимает мороз, он выбирает путь покороче и дольше спит по ночам. Зато уж летом встает в четыре и целый день до восьми вечера смотрит, где что делается на свете. Так и человек должен трудиться — от зари до зари. Ну, тебе-то можно еще поспать и днем; все равно от тебя немного проку, хоть бы ты и не спала. Нно-о!.. Нно-о!..

Они въехали в лес.

— Ну вот, видишь, — толковал Овчаж ребенку, — это лес, да только не наш, а господский. Купил тут Слимак четыре сажени дров; мы перевезем их сейчас, пока дорога хорошая и лошади в поле не нужны. Вот вырастешь, будешь летом бегать сюда с детишками по ягоды. Только смотри далеко не ходи и поглядывай по сторонам, а то как раз волк на тебя выскочит. Тпру... стой!..

Они остановились подле груды дров. Овчаж отвязал девочку от передка саней и, отыскав укрытое от ветра местечко, положил ее на кучу можжевельника. Потом достал из лукошка бутылку с молоком и поднес ее к роту ребенку.

— На, попей, наберись сил, придется нам малость поработать. Поленья, сама видишь, какие: тут здорово наломаешь спину, покуда нагрузишь сани. Что, не хочешь больше?.. А-пчи!.. Будь здорова. Понадобится тебе что, ты крикни.

«А как ни говори, с такой маленькой и то веселей, чем одному, — прибавил он уже про себя. — Прежде, бывало, словом не с кем перекинуться, а нынче хоть наговоришься всласть».

Он принялся накладывать дрова.

— Ты присмотришь, как делается такое дело. Ендрек — тот бы сразу схватил полено, всю бы сажень развалил, замучился бы зря и сейчас бы бросил. А ты бери бревнышко сверху, — так, хорошо; теперь тащи его полегоньку, клади на плечо — и в сани. Вот одно и готово. Теперь второе. Бери полегоньку с самого верха, на плечо — и в сани. Вот у тебя и два. Да помаленьку, не рывком, а то устанешь...

— Само-то полено, будь оно неладно, не хочет идти в сани, тоже ведь оно имеет понятие, знает, что его ждет. Всякий держится своего угла, какого ни на есть, а своего. Только тому все равно, — прибавил он со вздохом, — у кого своего угла вовсе нет. Здесь ли, там ли пропадать — все одно...

Так рассуждал Овчаж и не спеша укладывал дрова. Время от времени он останавливался передохнуть, согрелся, хлопая себя по плечам окоченевшими руками, и укрывал рядом сиротку. Между тем небо заалело, поднялся резкий западный ветер, насыщенный влагой.

Охваченный зимним сном, лес затрепетал, заговорил, ожил. Задрожали зеленые иглы сосен, вслед за ними ветки, потом заколыхались широко раскинувшиеся сучья, подавая какие-то знаки; наконец, зашевелились верхушки и стволы деревьев. Они раскачивались взад и вперед, будто сговариваясь о чем-то или готовясь к походу. Казалось, им наскучила вековая неподвижность и вот-вот они с шумом и шелестом двинутся всей толпой куда придется, хоть на край света.

Время от времени в той стороне, где стояли сани Мацека, все затихало, словно лес не хотел раскрывать перед человеком свои тайны. И вдруг откуда-то издали слышались шаги бесчисленных ног, как будто маршировала целая колонна. Вот из глубины выходят первые шеренги правого фланга; они подходят все ближе, ближе, вот они уже поравнялись с Овчажем, прошли дальше... А вот дрогнул

левый фланг; скрипит снег, хрустят обламываемые ветки, воеет, отступая, ветер; они идут все ближе, ближе, уже на одной линии с мужиком — и снова проходят мимо. А вот передовая колонна бодро и отважно потрясает ветвями и подает сигналы, переключаясь громким шепотом. Уже склоняются верхушки, гиганты уже подались вперед, двинулись... Встали... Они видят два человеческих существа, которым лес не выдаст своих тайн. С гневным шумом они останавливаются, бросают в них шишками и сухими ветками, словно говоря: «Прочь отсюда, Овчаж, прочь отсюда, не мешай нам...»

Но ведь Овчаж — всего только батрак, подневольный человек. Он и боится лесного шума, и с радостью уступил бы дорогу гигантам, но не смеет уйти, пока не погрузит дрова. Теперь он уже не отдыхает, не трет озябших рук, а торопливо накладывает дрова, чтобы скорей бежать из лесу, от бурной зимней ночи.

Между тем небо совсем заволокло тучами, лес окутывает мгла, начинает накрапывать дождик; мелкие, как маковое зернышко, капли сразу же замерзают. В несколько минут зипун Мацека, рядом, в которое он завернул сиротку, и конские гривы покрываются тонкой, потрескивающей коркой льда. Поленья тоже обледеневают и выскальзывают из рук; снег на земле становится гладким, как стекло, так что нельзя устоять на ногах. Мацек бросает в сани последние дрова и со страхом поглядывает на заходящее солнце. Опасное дело — ночью возвращаться с таким грузом в гололедицу.

Он поспешно укладывает сиротку в нагруженные сани и, перекрестившись, стегает лошадей. Многое на свете страшит Мацека, но больше всего он боится, чтоб на обледенелой дороге не опрокинулись сани и не придавили его, как прошлый год, когда на него наехала телега.

— Нно-о!.. Нно-о! — понукает Мацек лошадей.

Наконец они выехали из лесу, но дорога становится все хуже. Сани поминутно скатываются в канавку и, наверное, не раз бы уже опрокинулись, если б не подпирали их, дрожа от страха и холода, Мацек. Стоит подвернуться его перешибленной ногой, и тогда конец и ему и ребенку: их придавят дрова, а остальное довершит мороз.

Неподалеку от большака дорога стала до того скользкой, что лошади не могли идти дальше. Умолк скрип саней, Овчаж устал покрикивать «нно-о», кругом залегла тишина. Такая тишина, что слышался гневный шум леса вдалеке, свист ветра в щелях между бревнами и приглушенные всхлипывания ребенка. Вокруг становилось все темней и темней...

— Нно-о!.. — крикнул Мацек.

Лошади тронулись и поскользнулись на месте.

— Нно-о!.. — надрывался батрак, подталкивая сани.

Через несколько шагов лошади опять стали.

— Под твою защиту прибегаем, святая богородица... — шептал Мацек.

Он достал из саней топор и принялся бороздить перед лошадьми гладкую, словно полированную, дорогу.

После получасовой работы, вконец измучившись, Овчаж добрался до большака. С этого места дорога шла круто вверх, на высокий холм, почти неприступный в темноте, тем более в гололедицу.

Мацек взял на руки всхлипывающую сиротку, уселся на передок саней и, закутывая ребенка, стал думать: явится ли Слимак к ним на выручку или заляжет спать в теплой хате, бросив их на произвол судьбы?..

— Может, и придет, лошадей пожалеет. Ты не бойся, не плачь, — шептал он сиротке. — Господь бог милостив, он все видит и не даст нам погибнуть. Не плачь, слезами горю не поможешь.

Вдруг сквозь вой бури ему послышался перезвон колокольчиков. Динь-динь!.. День-делень... — заливались они на все голоса, как во время крестного хода. В первую минуту Овчаж подумал, что ему померещилось, но колокольчики, ни на минуту не смолкая, звенели все громче, все ближе, как летом рой комаров над топью.

— Что же это? — прошептал мужик и вскочил на ноги.

Вдали, между холмов, поросших можжевельником, на снегу показался красный огонек — сначала один, потом второй, третий, четвертый... Огни то скрывались в оврагах, то снова загорались где-то в вышине, словно в небе, то опять исчезали под неумолчный, все более и более громкий звон бесчисленных бубенцов. И всякий раз, появляясь вновь, огоньки становились ярче, так что, наконец, при их свете можно было различить великое множество огромных черных предметов, бегущих к Овчажу.

Одновременно до ушей батрака донесся гомон человеческих голосов, конский топот и хлопанье бичей.

— Э-эх!..

— Осторожно, тут холм!..

— Гони ко всем чертям!..

— Эй, вы! Не сходите с ума!..

— Остановите сани... Я высаживаюсь!..

— Вали вперед!..

— Господи Иисусе!

— Музыку не растеряли?

— Успеем еще растерять!..

— Ха-ха-ха!

Теперь Овчаж разглядел, что на него мчится вереница саней, больших и маленьких, запряженных парой или четверкой лошадей, в сопровождении верховых с факелами. Среди ночи в морозной мгле их пламя производило необычайное впечатление, как и вся процессия. Озаренная багровым светом, она, казалось, въезжает под огненную арку, на мгновение вынырнув из бездны, для того чтобы опять в ней исчезнуть.

А сани с криками, с пением, со свистом и хлопанием бичей всё неслись во весь дух по извилистой, круто поворачивающей дороге. Вдруг весь кортеж остановился, едва не налетев на Овчажа.

— Эй! Что там?

— Стой!.. Какие-то сани загородили дорогу.

— Кто это?

— Мужик с дровами.

— Сворачивай, собачий сын!..

— Не свернет: лошади не вытянут...

— Столкнуть его в ров!

— Пойдите!.. Лучше перенесем его!

— Bravo! Перенесем мужика!.. Высаживайтесь, господа!

И не успел Овчаж опомниться, как его окружила блестящая толпа в масках, перьях, богатых нарядах, с саблями, метлами и гитарами в руках. Одни подхватили сани с дровами, другие его самого, втащили на вершину неприступного холма, свезли вниз и поставили в таком месте, откуда он мог добраться домой без большого труда.

— Господи помилуй! — шептал пораженный Мацек, вглядываясь в этих чудаков, среди которых узнал нескольких помещиков из окрестных имений.

— Видать, едут на гулянье к нашему пану, — прибавил он, подумав. — Вот уж удальцы так удальцы, добрые господа!.. Не взбрело бы им в голову, так бы я тут и простоял до утра.

Между тем с холма кричали:

— Дамы боятся ехать под гору...

— Пусть высаживаются, мы доведем их пешком.

И ряженые гурьбой снова побежали в гору.

— Не проедут тут сани...

— Почему не проедут? — закричал чей-то юношеский голос. — Антоний, трогай!..

— Не слажу с лошадьми, ваша милость...

— Так пошел с козел, дурак! Я сам буду править, если ты боишься...

Через минуту громко зазвенели колокольчики, и с вершины холма, как вихрь, пронеслись мимо Овчажа сани, запряженные парой лошадей. Батрак только перекрестился.

С вершины холма снова закричали:

— Анджей! Трогай!..

— Стойте, граф!..

— Не рискуйте, пан...

— Пошел!..

Вторые сани пролетели, как буря.

— Bravo!..

— Молодцы!..

— Трогай, Яцентий!..

На этот раз с горы понеслось, едва не сцепившись полозьями, сразу двое саней. В каждом сидели кучер и барин.

Бешеная гонка так избородила скользкую дорогу, что остальные сани, уже без седоков, могли, не подвергаясь опасности, подняться и съехать, что и было сделано с надлежащей осторожностью.

— Да ну же, скорей! — кричали сверху.

— Пусть каждый подаст руку даме...

— Полонез!.. Дайте полонез!

— Музыка, вперед!..

Люди с факелами встали вдоль дороги, музыканты настроили инструменты, пары приготовились. Полилась скорбная мелодия полонеза Огинского, и из толпы, стоявшей вверху, пара за парой двинулись танцоры, словно разноцветная нить, тянувшаяся из невидимого в темноте клубка.

Овчаж снял шапку, стал за дровнями и высвободил из-под тулупа голову ребенка.

— Смотри, — сказал он, — взглядишь хорошенько: такой красоты в другой раз за всю жизнь не увидишь. Вот так процессия — только держись!.. Одни паны да пани, а сколько ж их высыпало, будто овцы на лугу...

В нескольких шагах от Мацека стоял лакей с факелом, так что он отлично мог разглядеть каждую пару нескончаемого шествия и потихоньку объяснял сиротке:

— Видишь этого, с медным котелком на голове, вон на груди у него бляхи — латы зовутся. Это важный рыцарь!.. В былые времена такие полмира завоевали, да нынче уж нету их...

Первая пара проскользнула мимо Овчажа и скрылась за холмом.

— А теперь присмотрись к этому, с седой бородой и с султаном на шапке. Это важный пан и сенатор... В былые времена такие полмиром владели, да нынче уж нету их...

Вторая пара растаяла во мраке.

— Этот, с воротником, — толковал ребенку мужик, — духовное лицо. В былые времена такие знали все, что есть на небе и на земле, а после смерти делались святыми. Да нынче-то уж нету их...

Третья пара исчезла за холмом.

— А этот, пестрый, как дятел, тоже большой пан. Ну, он-то ничего не делал, только пил да плясал. За один раз мог выпить целый кувшин вина, но и денег ему требовалось столько, что под конец нужда заставила его поместье продать. А когда все распродал, тогда и его, бедняги, не стало.

Промелькнула четвертая пара.

— Глянь-ка, видишь, какой улан идет?.. Ух, эти здорово повоевали!.. Весь свет с Наполеоном прошли, все народы победили. Да нынче и этих нет.

— Смотри, смотри-ка туда. Видишь — трубочист, а там кузнец; один играет на гитаре, другой вроде мужика, только на самом деле это паны вырядились — просто так, для потехи...

Вот и последняя пара проплыла мимо Мацека; полонез Огинского звучал все тише и, наконец, умолк. Самая трудная часть пути была пройдена, с шумом и смехом все стали снова усаживаться в сани. Опять зазвенели колокольчики, сперва один, потом второй, третий... десятый — целый рой; опять захлопали бичи, зацокали копыта, и ряженные понеслись дальше.

Мацек надел шапку, уложил ребенка в сани, подобрал вожжи и осторожно, по наезженной дороге, двинулся домой. Далеко впереди звенели бубенцы и мелькали красные огоньки; временами ветер еще доносил чей-то громкий возглас... Наконец, все затихло и погасло.

— А хорошо ли это, хоть и панам, изо всего забаву себе делать? — пробормотал Овчаж. Ему вспомнились и истлевший под хорами в костеле портрет седого сенатора, — он не раз молился перед ним, — и изодранная картина, изображающая шляхтича с обритой головой, — его крестьяне прозвали окаянным, — и черная гробница закованного в латы рыцаря с мечом в руке и железной рукавицей в изголовье, — этот покоился подле алтаря святой великомученицы Аполлонии. А шляхтичи для потехи сенаторами да рыцарями рядились!

Потом на память ему пришли висевший в ризнице епископ, который умел воскрешать мертвых в случае надобности в свидетелях; монах, по собственному плащу перешедший Вислу, и королева, переправившая под землей из Венгрии в Польшу соль для бедняков. Наконец, перед глазами Мацека встал родной его дедушка, Рох Овчаж. Умный был дедушка! С Наполеоном весь свет обошел, а на

старости лет стал причетником в костеле и до того толково все объяснял мужикам, что зарабатывал чуть ли не больше органиста.

— Царство ему небесное! — прошептал Овчаж. Но ему покоя не давала мысль, что нехорошо все-таки поступает шляхта, забавляясь церковной утварью. «С них станется, что они и в ризы вздумают рядиться...» — подумал Мацек.

До хаты еще оставалось, может, с версту, когда позади слышались голоса едущих вдалеке людей, а впереди он увидел Слимака.

— А мы уж думали, что ты застрял под горой, — заговорил Слимак, — но ты, слава богу, едешь. Видал ряженных?

— Ого-го!.. — ответил Овчаж.

— И не разнесла тебя шляхта?

— Как бы не так! Они еще через гору меня переволокли вместе с дровнями.

— Да ну!.. И ничего худого тебе не сделали?

— Ничего. Один только созорничал, шапку мне на глаза нахлобучил, а больше ничего.

— Вот-вот! У них все так. То они тебя разобидят насмерть, то чуть не на руках носят. Как на них найдет, — заключил Слимак.

— Как на них найдет, — повторил Овчаж. — Но уж и мудрят они... Можно сказать, по-барски. Так они, окаянные, разогнали сани да с самой высокой горы, что у меня по спине мурашки побежали. Верно, здорово выпили, оттого-то никто из них шею себе не свернул. А мужику, да еще трезвому, тут бы не остаться в живых.

Через минуту их нагнало двое саней. В первых сидел один человек, во вторых — двое.

— Вы не из этой деревни? — крикнул первый.

— Из этой, — ответил Слимак.

— Тут ряженные проезжали, они не к вам ехали?

— Не к нам, а к пану.

— Так, так... А арендатор Йосель дома?

— Если не мошенничает где-нибудь на стороне, должен быть дома, — сказал Слимак.

— А вы не слыхали, не продал еще ваш помещик имение? — слышался грубый голос из вторых саней.

— Зачем ты болтаешь, Фриц!.. — прикрикнул на Фрица его спутник.

— Затем, что ни черта не стоит все это дело, — сердито ответил грубый голос.

— Эге, да это они! — пробормотал Слимак, всматриваясь в проезжих.

Сани пронеслись мимо.

— Видать, евреи, — сказал Овчаж. — Бородатые и говорят как-то чудно.

— Первый — тот еврей, а эти двое — немцы из Вульки, — ответил Слимак. — Помню я их, они еще летом ко мне приставали.

— У шляхты и гулянье не обходится без евреев, — заметил Овчаж. — Не успели проехать, а уж этот следом за ними тянется.

— Как дым за огнем, — прибавил Слимак.

Продолжая разговаривать, они доехали до ворот, где их поджидал Ендрек с фонарем. Мороз все крепчал, и они совсем заиндевели, пока не попали наконец в хату.

Между тем сани с евреем и с двумя немцами из Вульки осторожно спустились в долину, проехали мост, с большим трудом поднялись на первый ярус холмов и остановились у корчмы. Тут до ушей приезжих донеслись обрывки музыки, а в глаза им ударило розовое пламя смоляных бочек, пылавших перед господским домом. Немцы вылезли из саней и вошли в корчму, оттуда выскочил шинкарь Иосель и вполголоса заговорил с одиноким седоком. Наконец, низко ему поклонившись, он велел вознице ехать в имение.

Едва сани тронулись, из корчмы выбежал один из немцев с криком:

— Эй! Эй!

Сани остановились. Немец оперся на козлы и заговорил:

— Ничего из этого дела сегодня не выйдет.

— Почему? — медленно спросил еврей.

— Они сейчас танцуют...

— Ну и что же?

— Шляхтич не оставит танцев для деловых расчетов.

— Так продаст без расчета.

— Или велит ждать несколько дней.

— Мне некогда ждать, — ответил еврей. — Трогай! — приказал он вознице.

В имении громче заиграла музыка, и в ответ ей в деревне завыли проснувшиеся собаки, застонал и засвистел ветер в старых деревьях вдоль дороги. Все медленней в гору поднимались сани, все чаще спотыкались лошади, все сильней стегал их кнутом возница, а седок его, подняв высокий бобровый воротник, думал.

Во дворе пылали смоляные бочки, в открытой настезь кухне, казалось, вспыхивали бенгальские огни, стены дома излучали звуки вальса. У навесов и возле конюшен еще звякали бубенцы, кучера пререкались из-за мест для своих лошадей, забор со всех сторон облепили батраки, деревенские бабы и мужики,

глазевшие на освещенные окна зала, где непрестанно мелькали силуэты танцующих. И над всем этим шумом, музыкой, блеском, над весельем и любопытством человеческим раскинулась зимняя ночь, а из темной ее глубины к дому подкатили сани; в них сидел, уткнувшись в бобровый воротник, неизвестный еврей и — думал.

Скромный его экипаж остановился в тени, у ворот; седок вышел и усталой походкой двинулся к открытым дверям кухни. Он что-то сказал повару — тот не обратил на него внимания; тогда он подозвал судомойку — она повернулась к нему спиной; наконец, в кухню вбежал буфетный мальчик, приезжий схватил его за руку.

— Вот тебе золотый, — сказал он, — а если приведешь сюда лакея Матеуша, получишь еще золотый.

Мальчик остановился и с любопытством взглянул на еврея.

— А вы разве знаете Матеуша?

— Узнаю, ты только его приведи.

Вскоре появился Матеуш.

— Вот тебе рубль, — сказал приезжий, — а если вызовешь ко мне пана, получишь еще рубль.

Лакей покачал головой.

— Пан сейчас очень занят, — сказал он, — наверное, не выйдет.

— Скажи ему, что его хочет видеть пан Гиршгольд по очень спешному делу. И еще скажи, что пан Гиршгольд привез ему письмо от отца пани. Вот тебе еще рубль, чтобы ты не забыл фамилию: пан Гиршгольд.

Матеуш тотчас побежал в дом, но вернулся нескоро. Музыка в зале умолкла — он не возвращался; заиграли польку — его все еще не было; наконец он пришел.

— Пан просит вас во флигель, — сказал он господину в бобрах.

Пройдя вперед, лакей отворил дверь в комнату, где стояло несколько кроватей; некоторые из них были уже постланы на ночь и, видимо, предназначались для гостей.

Приезжий снял дорогую шубу и, не выпуская из рук бобровой шапки, опустился на стул. Это был красивый румяный мужчина с каштановой бородой, в длинном сюртуке. Вытянув ноги, обутые в лакированные ботинки, и облокотившись на спинку стула, он глядел на пламя свечи, ждал и — думал.

Полька окончилась; после короткой паузы из зала донеслись задорные звуки мазурки. В доме усилился шум и топот, время от времени долетали выкрики распорядителя танцев, а затем разнесся такой грохот, от которого, казалось, обрушится вся усадьба. Еврей равнодушно слушал, терпеливо ждал и — думал.

Вдруг в сенях что-то стукнуло, загремело, дверь распахнулась, словно ее вышибли, — и перед посетителем предстал помещик. На нем был расшитый блестками и колечками плащ с красным воротником, красная шапка с павлиньим пером, широкие штаны в розовую и белую полоску и сапоги с подковками.

— Как поживаете, пан Гиршгольд? — весело поздоровался хозяин. — Что это за спешное письмо от тестя?..

Гость медленно поднялся со стула, важно поклонился и, достав письмо из внутреннего кармана, сказал:

— Пожалуйста, прочтите.

— Как?.. Сейчас?.. Но я танцую мазурку, пав Гиршгольд...

— А я строю участок дороги, — возразил гость.

Помещик прикусил ус, распечатал письмо и быстро пробежал его глазами.

Шум в зале все усиливался, возгласы распорядителя танцев раздавались все чаще и становились все громче.

— Вы хотите купить у меня имение? — спросил помещик.

— Да, и сейчас же.

— Но послушайте, у меня бал!..

— А меня ждут колонисты. Если я до полуночи не договорюсь с вами, завтра мне придется договариваться с вашим соседом. Он на этом выигрывает, а вы проиграете.

— Ну хорошо... — проговорил, едва сдерживая нетерпение, помещик. — Тесть в письме очень лестно отзывается о вас... Но сейчас...

— Вам нужно только написать несколько слов.

Помещик бросил на стол свою шапку.

— Право, пан Гиршгольд, вы несносны!..

— Не я, а дела. Мне очень приятно быть полезным вашему семейству, но в моем распоряжении крайне мало времени.

В сенях снова что-то загремело, в комнату ворвался улан.

— Владек, побойся бога, — закричал он, — что ты делаешь?

— Срочные дела... — оправдывался хозяин.

— Но твоя дама ждет...

— Пусть кто-нибудь меня заменит; повторяю, у меня важные, срочные дела.

— Но дама!.. — горестно воскликнул улан, выбегая из комнаты.

Из зала донесся охрипший голос главного распорядителя, вскоре совсем замолкший. Однако тотчас его сменил чей-то могучий бас:

— Дамы, gond; кавалеры, corbeille!..[2]

— Сколько вы даете? — в отчаянии повернулся хозяин к покупателю. — Что за нелепое положение!.. — прибавил он, постукивая подковками.

— Крайняя цена — две тысячи двести пятьдесят рублей за влуку[3], — решительно ответил приезжий. — Завтра я дам уже только две тысячи.

— En avant![4] — рокотал бас в зале.

— Ни за что! — ответил помещик. — Лучше я продам мужикам.

— Мужики дают полторы тысячи, дадут самое большее тысячу восемьсот.

— В таком случае, я сам буду хозяйничать.

— Вы и сейчас сами хозяйничаете, а что толку?..

— Tournez!..[5] — объявили в зале.

— То есть как это — что толку?.. — возмутился помещик. — Земля великолепная, леса, луга...

Еврей махнул рукой.

— Я ведь знаю, что тут у вас есть, — сказал он. — Знаю от вашего управляющего, который уволился с нового года.

Помещик рассердился.

— Тогда я сам распродам колонистам!.. — крикнул он.

— И получите по две тысячи за влуку, а тем временем молодая пани умрет с тоски, — улыбаясь, возразил приезжий.

— Chaîne![6] Налево! — раздалось в зале.

— О, господи! Что же делать?.. — вздохнул помещик.

— Подписать купчую, — ответил Гиршгольд. — Пишет же вам тесть, что я плачу больше, чем кто-либо, и заслуживаю доверия.

— Partagez![7]

В сенях в третий раз что-то загрохотало, споткнулось, стукнулось о дверь, чертыхнулось, и в комнату снова влетел улан.

— Владек! — завопил он. — Граф смертельно обижен твоим невниманием к его невесте и хочет уезжать...

— Боже! Что за несчастье! — простонал помещик. — Пишите, пан Гиршгольд, купчую, я сейчас вернусь...

Он убежал. Приезжий достал из дорожной сумки чернильницу и перо, из кармана — вчетверо сложенный листок бумаги и при свете стеариновой свечи, под звуки музыки, шарканье ног и выкрики распорядителя танцев написал несколько строк. Потом снова погрузился в свою обычную задумчивость.

Через четверть часа мазурка затихла, а вслед за тем в комнату вернулся усталый, но сияющий шляхтич.

— Готово? — спросил он весело.

— Готово.

Помещик прочел и подписал, прибавив с улыбкой:

— Чего стоит такая купчая?

— Для суда — ничего не стоит, а для вашего тестя она имеет значение. Ну, а у него есть деньги, — ответил Гиршгольд.

Он подул на подпись, неторопливо сложил бумагу и в заключение спросил с оттенком легкой иронии:

— Что же, граф уже не сердится?

— Мне удалось его успокоить, — с довольным видом ответил помещик.

— В этом году его ждут большие неприятности от кредиторов, — пробормотал приезжий. — Ну, я прощаюсь, желаю хорошо повеселиться.

Он подал помещику руку, и тот поспешно вернулся в бальный зал.

Гиршгольд не спеша стал надевать шубу. В ту же минуту, точно из-под земли, вырос Матеуш.

— Изволили купить у нас имение? — угодливо спросил он, помогая приезжему одеться.

— А что тут такого?.. Не первое и не последнее, — ответил приезжий. Затем достал бумажник и протянул лакею три рубля.

— Прикажете подавать? — спросил тот, сгибаясь в три погибели.

— Не нужно, — ответил Гиршгольд. — Моя карета осталась в Варшаве, а сюда я приехал в такой дрянной колымаге, что неловко ее показывать.

С этими словами он вышел за ворота пешком в сопровождении почтительно семенящего за ним лакея.

В зале затевали в тридцать пар кадрили, затянувшуюся до ужина. После ужина снова танцевали польку, потом вальс, мазурку — и так без конца. На востоке забрезжил бледный рассвет, в хатах затопили печи, во дворах закрипели журавли колодцев, на гумнах застучали цепи, а в господском доме все еще продолжался бал.

С восходом зимнего солнца Слимак встал, накинул на плечи зипун и, шепча молитву, потащился во двор. Выйдя за ворота, он то поглядывал на небо, точно вопрошая его взглядом, какая будет погода, то, насторожив ухо, оборачивался в сторону имения, откуда доносились собачий лай и обрывки мелодий. Затем, продолжая прислушиваться, вышел на дорогу и машинально направился к

затянутой льдом реке; губы его шептали молитвы, но голова была занята другим: Слимак размышлял о том, как это господа могут так долго веселиться.

Он глядел на небесную лазурь, на снег, порозовевший под лучами солнца, на облака, словно искупавшиеся в пурпуре, вдыхал утренний морозный воздух и чувствовал, что ни это небо, ни снег, ни мороз не отдал бы за самую прекрасную музыку и танцы.

— Нет, не сменяю я свою беду на ваши забавы!.. — шептал он. — Измаются, не поспят как следует быть, — вот и вся радость...

Он вспомнил, что не кончил молиться, отогнал прочь мирские заботы и забормотал:

— А теперь вторая молитва... «Отче наш, сущий на небесах...»

Вдруг из-за холма слышались какие-то голоса. Слимак повернул туда и, едва пройдя несколько шагов, увидел двух человек в длинных синих кафтанах. Один был старик с бритым лицом, другой — широкоплечий бородач.

Они тоже его заметили, и старший спросил:

— Это ваша земля, хозяин, там, на горе?

Слимак с изумлением поглядел на них.

— Да что вы все спрашиваете про мое добро?.. Я уже летом вам говорил, что земля эта моя и гора моя.

— А раз твоя, так продай нам, — сказал бородач.

— Подожди, Фриц, — перебил его старик.

— Вы всегда любите лишнее болтать! — прикрикнул на него бородач.

— Подожди, Фриц, — продолжал старик. — Видите ли, хозяин, — обратился он к мужику, — сегодня мы купили у вашего пана имение.

— Ну, зачем это?.. — прервал его бородач.

— Подожди, Фриц. Но, видите ли, хозяин, нам нужна ваша гора, потому что мы хотим здесь построить ветряную мельницу...

— Herr Jesus!^[8] — воскликнул бородач. — Вы с недосыпу, кажется, совсем одурели!.. Послушай, — сердито сказал он мужику, — мы хотим купить твою землю...

— Землю? — с удивлением переспросил мужик, оглядываясь назад. — Землю?..

Он с минуту колебался, не зная, что отвечать; наконец сказал:

— А какое вы право имеете покупать мою землю?

— То право, что у нас есть деньги, — бросил бородач.

— Деньги?.. А я не продам за деньги. Это моя земля. Тут мои деды-прадеды жили еще при крепостном праве: тогда уже эту землю называли нашей. А после отцу

моему, по уложению, отдали эту землю совсем, так что она стала его собственная, и все это записано в комиссии. Потом я получил три морга за лес, тоже насовсем, и это тоже все записано в комиссии. Землю мерил землемер от казны, и все бумаги имеются как следует быть, с подписями и печатями, стало быть... По какому же такому праву хотите вы купить мою землю, раз она моя? Собственная моя, ну?..

В продолжение этой речи, произнесенной с большой горячностью, бородач, повернувшись боком к мужику, насвистывал сквозь зубы, а старик, потеряв терпение, размахивал перед лицом Сликама обеими руками. Улучив наконец удобную минутку, он закричал:

— Но мы ведь тебе заплатим!.. Чистоганом... По шестидесяти рублей за морг...

— Я и за сто не продам, — отрезал Сликама, — потому что нет у вас никакого такого права.

— Но мы можем договориться по доброй воле.

Мужик подумал и вдруг рассмеялся.

— Вы старый человек, — сказал он, — а того не понимаете, что по доброй-то воле я никогда свою землю не продам.

— Но почему?.. За те деньги, которые мы вам даем, вы могли бы за Бугом купить целую влуку.

— А раз там земля такая дешевая, вы бы ее и купили. Чего же вы лезете в нашу деревню?

— Ха-ха-ха! — захохотал бородач. — А мужик, я вижу, не дурак; он говорит то же самое, что я вам твержу каждый день с утра до вечера.

— Подожди, Фриц, — сказал старик. — Хозяин, — обратился он к Сликаму, схватив его за руку, — будем говорить как христиане, а не как язычники. Мы молимся одному богу, зачем нам ссориться?.. Видишь ли, хозяин, у меня есть сын, который знает мукомольное дело; мне бы хотелось построить для него ветрянную мельницу на этой горе. Когда у него будет мельница, он возьмется за дело, женится, остепенится, и я на старости лет буду счастливый человек. А тебе эта гора ни к чему.

— Да ведь это моя гора, моя земля! — возразил мужик. — Сходите в комиссию, они вам покажут, что это моя, собственная моя земля, и на нее никто не имеет никакого права.

— Права никто не имеет, — подтвердил старик, — но я хочу ее купить.

— Ну, а я не продам.

Старик поморщился, точно собираясь заплакать, отвел мужика в сторону и заговорил, понизив голос, дрожавший от волнения:

— Чего вы сердитесь, хозяин? Видите ли, мои сыновья не ладят между собой. Один любит сельское хозяйство, другой — мукомольное дело. Ну, а я хочу пристроить младшего, дать ему мельницу, женить и поселить его возле себя. Мне уже недолго осталось жить на свете, мне восемьдесят лет, так что... Вы уж согласитесь...

— А разве вы не можете купить себе землю где-нибудь еще? — спросил мужик.

— Не можем. Мы покупаем в компании, человек пятнадцать. Это долго рассказывать. Но мой младший сын — Вильгельм — он не земледелец... Если у него не будет мельницы, он опустится или уйдет из дому. А я старый человек, я хочу, чтобы он был возле меня... Продай нам свою землю, — говорил он, все крепче сжимая руку Слимака. — Впрочем, послушай, — прибавил он тише, — я тебе дам семьдесят пять рублей за морг... Это очень большие деньги!.. Бог свидетель, что я даю тебе больше, чем стоит земля... Ну, продашь? Да? Ты ведь честный человек, христианин...

Мужик с удивлением и жалостью поглядел на старика, у которого глаза покраснели от слез.

— Ну, пан, — сказал Слимак, — видать, вы в уме повредились, что так на меня наседаете. Сами сообразите, мыслимое ли это дело — просить человека, чтобы он дал себе руку отрубить или глотку перерезать? Да что же я-то, мужик, буду делать без земли?..

— купишь себе участок в другом месте... У тебя будет вдвое больше земли... Я сам найду тебе такую деревню...

Слимак, покачав головой, сказал:

— Уговариваете вы меня, как мужик уговаривает дерево, когда выкопает его в лесу и хочет посадить возле дома. «Пойдем, говорит, будешь ты теперь возле хаты, между людей будешь». Дерево-то глупое и идет из лесу — что ж ему делать, раз заставляют, а куда его посадят на новом месте, оно и засохнет. Вот и вы хотите, чтобы я так пропал вместе с женой, с ребятишками и скотиной. Ну, куда я денусь, если продам свою землю?

Разговор прервал бородач, раздраженно и решительно сказав что-то отцу по-немецки.

— Так не продашь? — спросил старик.

— Не, — ответил Слимак.

— По семьдесят пять рублей за морг?

— Не.

— А я тебе говорю, что продашь! — крикнул бородач, грубо схватив отца за руку.

— Не.

— Продашь, хозяин? — повторил старик.

— Не.

Отец и сын взошли на мост, крича по-немецки друг на друга. Мужик, подперев щеку рукой, смотрел им вслед.

Вдруг он перевел взгляд на потемневшие окна господского дома, где уже смолкла музыка, и в голове у него мелькнула новая мысль. Он бросился домой.

— Ягна! — закричал он, отворяя дверь в сени. — Ягна!.. Знаешь, наш пан продал имение немцам!..

Хозяйка, возившаяся у печи, перекрестилась ложкой.

— Во имя отца и сына!.. Да ты с ума спятил, Юзек?.. Кто это тебе сказал?..

— Сейчас пристали ко мне на дороге два немца, сказали насчет продажи имения, и еще... Слышишь, Ягна? Хотели купить у нас землю... Нашу кровную землю!

— Да ты вовсе спятил! — крикнула Сливакова. — Ендрек, сбегай-ка посмотри, есть ли там на дороге немцы, а то отец что-то заговаривается.

Ендрек убежал и через несколько минут вернулся, сообщив, что за мостом по дороге в самом деле идут двое в долгополых синих кафтанах. Между тем Слимак молча уселся на лавку, опустив голову и упершись руками в колени. В хату вливался серый утренний свет и, смешиваясь с красными отблесками огня, падавшими из печки, придавал людям и предметам какой-то мертвенный зловещий вид.

Хозяйка вдруг взглянула на мужа.

— А ты чего побелел? — спросила она. — Ты чего осовел? Говори, что с тобой?

— Что со мной? — повторил мужик. — Еще спрашивает, тоже голова!.. Ты, что же, не понимаешь? Если пан продал имение, немцы отнимут у нас луг...

— Чего ради им отнимать? — неуверенно ответила хозяйка. — Ведь мы будем им платить за аренду так же, как и помещику.

— Вот уж язык болтает, а голова не знает. Известное дело, немцы жадны до лугов. Да еще как! Они держат помногу скота... И хоть ради того они отнимут у меня луг, — прибавил он, подумав, — чтобы мне досадить и выжить меня отсюда.

— Ну, это мы еще посмотрим, кто кого выживет! — сердито сказала Сливакова.

— Да уж не я их, — вздохнул Слимак.

Женщина уперлась руками в бока и начала, постепенно повышая голос:

— Ну, видали вы такого мужика!.. Только взглянул на немецкое отродье, у него и душа в пятки ушла. Да хоть и заберут у тебя луг, так что же? Будем к ним скотину гонять до тех пор, покуда они луг не продадут.

— И перестреляют у меня всю скотину.

— Перестреляют?.. — вскинулась хозяйка. — А суд? А острог?.. Господам нельзя бить мужицкий скот, а немцам можно?..

— Ну, не перестреляют, так захватят скотину, да и вытянут по суду больше, чем она съест. Немец, он — ох, какой хитрый! Одной охраной да тяжбами со свету сживет.

Хозяйка на минуту умолкла.

— Что ж, — сказала она, подумав, — будем покупать сено.

— У кого? Наши мужики и сейчас не продают, а у немца, когда он переберется в имение, былинки не выклянчишь.

В печке закипел горшок, но хозяйка даже не взглянула на него: гнев и беспокойство охватили ее. Сжимая кулаки, она подступила к мужу:

— Ты что это несешь, Юзек?.. Опомнись!.. И так, мол, худо и этак нехорошо, — как же быть?.. Какой ты мужик, какой ты хозяин в доме, что и сам ничего не надумал и у меня, у бабы, всю душу вымотал? И не совестно тебе перед детьми, не совестно перед Магдой? Что ты расселся на лавке да глаза закатил, точно покойник? Лучше бы поразмыслил, как быть!.. Что же, по-твоему, я из-за твоих немцев дам ребятишкам подохнуть с голоду или без коров останусь? Ты, может, думаешь, я тебе позволю землю продать? Не дождетесь вы этого!.. — крикнула она, поднимая кулаки. — Ни ты, ни твои немцы!.. Хоть вы убейте меня на месте, в могилу заройте, я из-под земли вылезу, а не дам своих детей в обиду... Ну, чего сидишь? Чего ты уставился на меня, как баран?.. — кричала она, пылая от гнева. — Скорей ешь да ступай в имение. Узнай там, вправду ли пан продал свою землю. А в случае если не продал, вались ему в ноги и до тех пор лежи, до тех пор проси и скули, покуда он не уступит тебе луг, хотя бы за две тысячи злотых...

— А ну, как продал?

— Продал? — задумалась она. — Если продал, господь бог его за это накажет...

— А луга-то все-таки не будет.

— Ну и дурак!.. — сказала она, поворачиваясь к печке. — До сих пор мы сами, дети и скотина наша жили милостью божьей, а не господской, так же и дальше будем жить.

Мужик поднялся с лавки.

— Ну, коли так, — сказал он, подумав, — давай завтракать. Ты чего ревешь? — прибавил он.

После бурной вспышки Слимакова действительно залилась слезами.

— Заревешь тут, — всхлипывала она, — когда господь бог наказал меня таким рохлей-муженьком, что и сам ничего сделать не может, и меня только в грех вводит!..

— Глупая ты баба!.. — ответил Сливак, нахмурясь. — Пойду сейчас к пану и куплю луг, хоть бы мне две тысячи злотых пришлось отдать. Такой у меня нрав!

— А ну, как помещик уже продал имение? — спросила жена.

— Начхать мне на него! Жили мы до сих пор милостью божьей, а не господской, так и теперь не пропадем.

— А где ж ты возьмешь сено для скота?

— Моего ума это дело, я тут хозяин. А ты смотри за своими горшками и в мои дела не суйся, коли ты баба!

— Выкурят тебя отсюда немцы вместе с твоим умом!

Мужик стукнул кулаком по столу, да так, что в хате пыль поднялась столбом.

— Черта лысого они выкурят, а не меня! — крикнул он. — Не двинусь я отсюда, хоть убей, хоть на части меня изруби! Давай завтрак. Такое зло у меня на этих прохвостов, что и тебя стукну, если будешь мне перечить! А ты, Ендрек, слетай за Овчажем да живо поворачивайся, а не то, как сниму ремень...

В этот же самый час в господском доме сквозь щели в ставнях в зал заглянуло солнце. Полосы белого света упали на пол, исшарканный каблуками, ударились о противоположную стену, ярким блеском зажглись на полированной мебели и золоченых карнизах и, отразившись в зеркалах, рассеялись по огромному залу. Пламя свечей и ламп сразу потускнело и пожелтело. Лица дам побледнели, под глазами у них выступила синева, на измятых потрепанных платьях оказались дыры, со сбившихся причесок осыпалась пудра. У вельмож с шитых золотом поясов слезла мишура, роскошный бархат обратился в потертый плис, бобровые меха — в заячьи шкурки, серебряное оружие — в белую жесьть. У музыкантов опустились руки, у танцоров одеревенели ноги. Остыло возбуждение, сон смыкал глаза, уста дышали жаром. Посреди зала уже скользило только три пары, потом две, потом — ни одной. Мужчины угрюмо искали вдоль стен свободные стулья; дамы прикрывали веерами усталые лица и искривленные зевотой рты.

Наконец, музыка умолкла, никто не разговаривал, в зале наступила гробовая тишина. Гасли свечи, чадили лампы.

— Не угодно ли чаю? — охрипшим голосом предложил хозяин.

— Спать... спать... — раздалось в ответ.

— Комнаты для гостей готовы, — прибавил хозяин, стараясь быть любезным, несмотря на усталость и насморк.

При этих словах с диванов и с кресел поднялись сначала пожилые, потом молодые дамы; шелестя шелками, они выходили из зала, кутаясь в атласные накидки и отворачивая лица от окон. Через минуту зал опустел, зато в дальних комнатах стало шумно; потом во дворе слышались мужские голоса, а наверху — шаги, наконец все затихло. Музыканты спустились с хор; остались там лишь несколько пюпитров да старый еврей, который заснул, обняв свой контрабас.

В зал, постукивая подковками, вошел помещик. Окинув мутным взглядом стены, он, зевая, сказал:

— Погаси свет, Матеуш... Открой окна... Ааа... Не знаешь, где пани?..

— Пани у себя, — ответил стоявший у порога лакей.

Помещик повернулся и вышел. Пройдя переднюю и столовую, он остановился наконец у двери в самом конце коридора и спросил:

— Можно?..

— Пожалуйста, — ответил из комнаты женский голос.

Помещик вошел. В атласном оранжевом кресле сидела его жена, одетая цыганкой. Облокотясь на ручки кресла, она откинула назад убранный золотыми цехинами голову и, казалось, дремала.

Помещик бросился в другое кресло.

— Бал удался... Ааа! — зевнул он.

— Да, очень, — подтвердила пани, прикрывая ротик рукой.

— Гости, должно быть, довольны.

— Да, я думаю.

Пан с минуту подремал и заговорил снова:

— Знаешь, я продал имение.

— Кому? — спросила пани.

— Гиршгольду. Дал по две тысячи двести пятьдесят рублей за влуку. Ааа!..

— Слава богу, наконец-то мы уедем отсюда, — ответила пани. — Там все уже разошлись?

— Наверное, уже спят. Ааа!.. Ну, поцелуй меня, я пойду спать.

— Что ж, я должна подойти? Нет. Ты меня поцелуй. Я устала.

— Ну, поцелуй же меня за то, что я так удачно продал имение. Ааа!..

— Так подойди сюда.

— Но мне не хочется вставать... Ааа...

— Гиршгольд?.. Гиршгольд?.. — прошептала пани. — Ах, знаю! Это какой-то знакомый папы!.. Как чудесно прошла первая мазурка...

Помещик храпел.

VII

Через неделю после костюмированного бала помещик с женой навсегда покинули деревню и переехали в Варшаву. Вместо них появился представитель Гиршгольда — веснушчатый еврей, занявший маленькую комнатку во флигеле. На ночь он запирает дверь железным засовом и спал с двумя револьверами под подушкой, а целыми днями просматривал или писал какие-то счета.

Часть мебели из имения увез пан, остальную Гиршгольд велел продать. Один из окрестных помещиков приобрел обстановку гостиной, другой — столовую, третий — спальню. Библиотеку раскупили на вес евреи; американский орган попал к ксендзу, садовые диванчики и стулья перешли в собственность к Гжибу, а Ожеховскому за три рубля досталась большая гравюра «Леда и лебедь», и он молился перед ней вместе с семьей. Паркет очутился в губернском городе и украсил собой помещение окружного суда; штофные обои раскупили портные, пустившие их на корсажи для деревенских щеголих.

Заглянув в усадьбу через несколько недель после отъезда пана, Слимак обомлел при виде полного запустения. В окнах были выбиты стекла; у раскрытых настежь дверей не осталось ни одной ручки; половицы были выломаны, стены ободраны. Зал напоминал свалку, в будуаре пани жена арендатора Йоселя поставила клетки, в которых кудахтали куры, а в кабинете пана, где поселилось несколько евреев, были свалены в огромную грудку пила, топоры и лопаты. Вся прислуга, которая, по условию, могла оставаться до дня святого Яна, бездельничала и шаталась из угла в угол. Выездной кучер пил мертвую, ключница лежала в лихорадке, один из конюхов и буфетный мальчик сидели в волости под арестом за кражу дверных ручек и печных заслонок.

— Кара господня! — прошептал мужик. Его обуял ужас при мысли о неведомой силе, которая в мгновение ока разорила дом, незыблемо стоявший два или три столетия.

Ему казалось, что над этим тихим уголком, над деревней и долиной, где он родился и вырос и где почил навек простые люди — его предки, нависла незримая туча, из которой низверглась первая молния, разрушив родовое поместье пана.

Через несколько дней жизнь в округе закипела: в имение нахлынули новые люди. Это были дровосеки и плотники, большей частью немцы, нанятые на спешную работу. По дороге, мимо хаты Слимака, они ехали и шли — то гурьбой, то строем, как солдаты. Они разместились в доме, выгнали из клеток прислугу, вывели последний скот из загонов и заняли все уголки. По ночам они жгли на дворе большие костры, а утром всей оравой маршировали в лес.

Вначале их работа была незаметна. Но уже вскоре, поднявшись на холм и прислушавшись, можно было уловить неясный гул, долетавший из лесу. Гул этот день ото дня становился все отчетливее, как будто кто-то пальцами барабанил по столу, и, наконец, совсем ясно стали слышны удары множества топоров и треск валившихся деревьев. Лес, казалось, стал ниже; его волнистые очертания менялись, исчезали высокие верхушки, и в темно-зеленой стене начинали просвечивать — сперва как будто щели, потом окна и, наконец, бреши, через которые проглянуло небо, удивленное тем, что впервые с тех пор, как стоит мир, оно смотрит в долину с этой стороны.

Лес пал. Остались только небо да земля, а на земле лишь купа можжевельника, или орешник, иль несколько молодых сосенок и ряды бесчисленных пней, да еще

целые горы поваленных деревьев, с которых поспешно обрубали сучья. Ничего во всем этом зеленом царстве не пощадил хищный топор.

Ничего, даже дуб, который не могли спалить молнии, словно ленты соскальзывавшие по его столетней коре. Гордый своими победами над бурями, он смотрел в небо, почти не замечая жалких червяков, копошившихся у его подножия, а удары топоров беспокоили его не более, чем стук дятлов. Он пал внезапно, с твердым убеждением, что в этот миг рушился мир и что не стоит жить в столь ненадежном мире.

Был тут и другой дуб; некогда на его засохшем суку повесился несчастный Шимон Голомб. С тех пор люди обходили его в страхе. Увидев толпу дровосеков с топорами, он грозно прошумел: «Бегите, бегите отсюда, ибо имя мое — смерть. Лишь один человек коснулся рукой моих ветвей — и он умер». Но дровосеки не послушались доброго совета и принялись рубить, все глубже вонзая в его тело остро отточенное железо; тогда, впад в неистовую ярость, дуб взревел: «Всех раздавлю!..» — и рухнул наземь.

Сосна, в дупле которой спряталась чета белок, видела, что вокруг нее гибнет все, но надеялась избежать жестокой участи благодаря своим маленьким обитателям. «Жалость к этим бедным, ни в чем не повинным созданиям тронет их сердца», — шептала она и свалилась, придавив своей тяжестью испуганных зверюшек.

Так одно за другим погибали могучие деревья, и оплакивали их лишь ночной туман да стонавшие птицы, согнанные с родных гнезд.

Старше леса и крепче дубов были огромные камни, во множестве разбросанные по окрестным полям. Мужики их не трогали, потому что нельзя было сдвинуть их с места, да и не были они им нужны. К тому же в народе ходило поверье, что еще в первые дни творения восставшие демоны швыряли этими камнями в ангелов, а потому их лучше не трогать, иначе на весь край может обрушиться бедствие. Так они и лежали, поросшие мохом, каждый на своем месте, среди густой травы. Разве только пастух, ночуя в поле, разведет иной раз у камня костер, или в полдень усталый пахарь ляжет отдохнуть в его тени, или какой-нибудь жадный до денег человек вздумает искать под камнем зарытый клад.

Теперь же и для них настал последний час. В то самое время, когда рубили лес, какие-то люди стали бродить вокруг этих древних камней. Сначала в деревне думали, что немцы ищут клад, но вскоре Ендрек подсмотрел, как они сверлят камни.

— Ну, и дурачье эти швабы: охота им вертеть дыры в камнях, — перемывая посуду, сказала как-то Сливакова, обращаясь к Собесской. — Холера их знает, для чего им это понадобилось?..

— Эх, кума, я-то знаю, для чего они это делают, — ответила бабка, мигая красными глазами.

— Для чего же? Разве что по глупости!

— Нет! — стала объяснять Собесская. — Они, вишь, для того вертят, что слышали, будто в камне сидит жаба...

— Ну, и что? — спросила Сливакова.

— Вот они и хотят посмотреть, правда ли это.

— Да им-то на что?

— А холера их знает! — ответила Собесская, да так убедительно, что Сливакова вынуждена была признать вопрос исчерпанным.

Однако немцы не искали жаб; просверлив дыру, они закладывали туда патроны, присыпали сверху песком и взрывали камень. Целый день продолжалась канонада; гул ее отдавался в самых отдаленных уголках долины, возвещая всем и каждому, что даже скалам не устоять против немцев.

— Крепкий народ — эти швабы! — буркнул Слимак, глядя на раздробленную глыбу.

И он подумал о колонистах, которые купили господское имение и хотели купить и его землю.

— Что-то их не видать, — заметил он. — Может, и вовсе не приедут?

Но колонисты приехали.

Однажды — это было в начале апреля — Слимак, по обыкновению, едва рассвело, вышел из хаты помолиться и взглянуть, какая будет погода. Восток уже светлел, побледнели звезды, и зорька, словно драгоценный камень, сверкала на небе, а на земле ее встречали щебетом проснувшиеся птицы.

Всматриваясь в туман, который, словно снег, выбелил луга и поля, мужик шептал молитву: «От сна восстав, прибегаю к тебе, владыка...» Вдруг откуда-то сверху, с полей, послышался шум. Скрипели медленно едущие возы, громко разговаривали люди.

Охваченный любопытством, Слимак взбежал на холм, увенчанный сосной, и увидел необычайное зрелище. Тянулась длинная вереница возов, крытых холстом, из-под которого тут высывалась чья-то голова, там домашняя утварь или земледельческое орудие. Люди в длинных синих кафтанах и в картузах шли рядом с фургонами или сидели на козлах, упираясь ногами в вальки. За фургонами брели привязанные коровы или кучкой бежали свиньи. В самом конце вереницы катилась тележка чуть побольше детской; в ней, касаясь ногами земли, лежал мужчина, а тележку тащили по одну сторону дышла — пес, по другую — женщина.

«Швабы едут, — мелькнула у Сливака мысль, но он тотчас ее отогнал. — А может, цыганы? — подумал он. — Нет... цыганы — те ходят в красном, а эти в синем да в желтом. А может, дровосеки? Но дровосеки не тащат за собой скотину; да и к чему им сюда идти, раз уже лес свели?..»

Так он размышлял, теряясь в догадках, а вернее — отгоняя одну: что это колонисты, купившие помещичью землю.

«Они или не они?» — гадал он, не сводя глаз с дороги.

Между тем немцы спустились вниз и на минуту скрылись из виду. Мужик протер глаза. Может, они растаяли в дневном свете, а может, провалились сквозь землю? Нет, куда там!.. Повеял ветер и снова донес медленный стук колес, гомон голосов и скрип возов. Снова из-за холма показались морды лошадей, синие картузы возниц, серый холст фургонов и головы немок в пестрых, повязанных по-бабьи платках. Земля шаг за шагом поддавалась под копытами их тощих лошадей. С шумом и с криками въехали немцы на последний холм; яркое солнце залило их золотыми потоками света, песней встретили жаворонки, которых осенью они ловят и едят.

Далеко позади, там, где в тумане чернел лес, послышался звон колокола. Сзывали он, как всегда, народ на молитву или возвещал о нашествии чужаков?..

Слимак оглянулся. В хатах, по другую сторону долины, двери еще не отпирались, во дворах никого не было видно, и, наверное, никто бы не выбежал за ворота, если бы крикнуть: «Гляньте, мужики, сколько немцев сюда валит!» Деревня еще спала.

Теперь вереница фургонов, набитых крикливыми немцами, потянулась мимо хаты Слимака. Усталые лошади медленно плелись, коровы едва волочили ноги, свиньи, повизгивая, поминутно спотыкались. Только люди были довольны, они смеялись, громко переговаривались и рукою или кнутом указывали на долину. Наконец фугоны спустились вниз, проехали мост и свернули налево, в открытое поле.

Через несколько минут показалась тележка, которую тащили собака и девушка; подъехав к хутору Слимака, она остановилась у ворот. Тяжело дыша, огромный пес повалился на землю, мужчина с трудом приподнялся в тележке и сел, а девушка, сняв шляю и утирая со лба пот, устала на хату.

У мужика сердце защемило от жалости. Он спустился с холма и подошел к путникам.

— Вы кто такие будете, люди добрые, из каких мест? — спросил он.

— Мы колонисты, идем из-за Вислы, — ответила девушка. — Наши купили тут землю, вот мы и идем с ними.

— А вы-то не купили земли?

Девушка пожала плечами.

— Видно, это у вас обычай такой, что бабы мужиков возят? — продолжал спрашивать Слимак.

— Что же делать, раз лошади у нас нет, а пешком отцу не дойти.

— Это ваш отец?

Девушка кивнула головой.

— И такой хворый?

— Да.

Мужик призадумался.

— Это он, стало быть, побирается, потому и ездит?

— О нет! — решительно возразила девушка. — Отец учит детишек, а я, когда есть время, шью на людей, а когда нечего шить, нанимаюсь работать в поле.

Слимак с удивлением поглядел на нее и сказал:

— Сами-то вы, видать, не немцы, что так чисто говорите по-нашему?

— Мы из немцев, — ответила девушка.

— Мы немцы, — в первый раз откликнулся человек в тележке.

Во время этого разговора из хаты выглянула и вместе с Ендрекком подошла к воротам Слимакова.

— Экий здоровый пес! — воскликнул Ендрек.

— Ты лучше погляди, — обратился к нему Слимак, — как эта пани всю дорогу больного отца тащит в тележке. А ты, паршивец, небось не повез бы?

— Зачем мне везти? Лошадей у вас нет, что ли? — огрызнулся мальчишка.

— И у нас была лошадь, а сейчас нет, — пробормотал мужчина в тележке.

Это был худой, бледный человек с рыжими волосами и рыжей бородкой.

— Вам бы отдохнуть да поесть с дороги, — обратился Слимак к его дочери.

— Мне не хочется есть, — сказала девушка, — а вот отец, пожалуй, выпил бы молока.

— Сбегай за молоком, Ендрек, — распорядился Слимак.

— Вы не обижайтесь, — вмешалась в разговор Слимакова, — но, верно, у вас, немцев, нету родной земли, коли вы сюда приходите, к нам?

— Это и есть наша родина, — ответила девушка. — Я тут и родилась, за Вислой.

Человек, сидевший в тележке, с досадой махнул рукой и заговорил срывающимся голосом:

— У нас, немцев, есть родная страна, и даже больше вашей, но там плохо. Много народу, а земли мало, и трудно заработать копейку. Да еще приходится платить большие подати, да тяжелая военная служба, да еще донимают всякими поборами...

Он закашлялся и, немного передохнув, продолжал:

— Всякий ищет, где лучше, и всякому хочется жить так, как ему по душе, а не так, как его заставляют другие... У нас на родине плохо, потому мы и приходим сюда...

Ендрек принес молоко и подал девушке, которая напоила отца.

— Спаси вас бог! — вздохнул больной. — Добрые вы люди.

— Только бы от вас не было нам худа, — вполголоса проговорила Сливакова.

— А что мы можем вам сделать? — спросил больной. — Землю у вас отнимем? Или скотину будем гонять на ваш луг? Или воровать пойдём да разбойничать? У нас люди спокойные, никому поперек дороги не станут, только бы к ним не лезли...

— Купили же вы нашу деревню, — попрекнул его Слика.

— А зачем ее продал ваш пан? — возразил больной. — Если бы этой землей, вместо одного пана, который ничего не делал, а только деньги мотал, если бы, говорю, этой землей владело человек тридцать мужиков, наши бы сюда не пришли. И почему вы сами не купили у него поместье всем обществом? Деньги у вас такие же, как у нас, и такие же права, как у нас. Живете вы тут испокон веков, но о том, что можно купить эту землю, вы не подумали, покуда не пришли сюда колонисты из-за Вислы. А теперь, когда наши купили имение, это вам мозолит глаза. А пан вам не мозолит глаза?

Задохнувшись, он опустил голову на грудь и разглядывал свои исхудалые руки. С минуту помолчав, он снова заговорил:

— Наконец, кому колонисты продают прежнюю свою колонию? Крестьянам. За Вислой все у нас раскупили крестьяне, да и везде покупают только крестьяне.

— А вот один из ваших хочет у меня выманить землю, — сказал Слика.

— То-то и есть, — подтвердила Сливакова.

— Кто же это? — спросил больной.

— Я почем знаю кто? — ответил Слика. — Были они у меня уже два раза — старик какой-то да бородатый. Польстились на мою гору. Говорят, ветряную мельницу хотят на ней ставить.

— Это Хаммер, — вполголоса промолвила девушка, глядя на отца.

— Опять Хаммер, — тихо повторил больной. — Он и нам наделал немало хлопот, — прибавил он громче. — Наши хотели идти за Буг. Там отдают землю по тридцати рублей за морг, а он потащил сюда, потому что у вас строят железную дорогу. Ну, наши и купили здесь землю по семьдесят рублей за морг и по уши задолжали еврею, а кто знает, чем все это кончится?..

Тем временем девушка достала краюху черного хлеба, поела сама и покормила собаку, глядя в ту сторону, где среди поля расположились лагерем колонисты.

— Поедем, отец, — сказала она.

— Поедем, — согласился больной. — Сколько с нас следует за молоко? — спросил он Сликака.

Мужик пожал плечами.

— Ежели бы мы хотели с вас деньги брать, — сказал он, — так не стали бы потчевать.

— Ну, спаси вас господь за вашу доброту, — проговорил больной.

— Счастливый путь! — ответили супруги.

Больной со стоном улегся в тележку, девушка накинула шлею на правое плечо и через грудь под левую руку, собака поднялась с земли и встряхнулась, словно показывая, что она готова двинуться в путь.

— Спаси вас бог, будьте здоровы!.. — простился больной.

— Поезжайте с богом!

Тележка медленно покатила к лагерю.

— А чудной народ — эти немцы, — сказал Сликак, обращаясь к жене. — Он-то какая голова, а едет в тележке, будто нищий.

— И она то же самое, — подтвердила Сликакова. — Ну, где это слыхано? Ведь сколько верст везла на себе старого... будто лошадь!

— Ничего, не плохие люди.

— Да не хуже и не глупей других.

Обменявшись мнениями, супруги вернулись домой. Разговор с больным их успокоил. Немцы уже не казались им теперь такими страшными, как прежде.

После завтрака Овчаж отправился на гору пахать землю под картошку; вслед за ним Сликак тоже выскользнул из хаты.

— Ты куда? Тебе же плетень надо ставить! — крикнула вдогонку ему Сликакова.

— Авось не убежит! — ответил мужик и поскорее захлопнул за собой дверь, боясь, как бы его жена не воротила.

Втянув голову в плечи, он пробежал двор, стараясь казаться как можно меньше, и крадучись взобрался на холм, где уже потел над плугом хромой Мацек.

— Ну, как там швабы? — спросил он батрака.

Сликак уселся на краю косогора, так, чтобы со двора его не было видно, и осторожно закурил трубку.

— Сели бы вы сюда, — показал Мацек кнутом на выступ возле себя, — и на меня бы маленько пахнуло дымом.

— Да что там — дым! — ответил, сплевывая хозяин. — Вот кончу, дам тебе трубку, накуришься всласть. Незачем мне торчать на виду, на глазах у бабы.

Мацек пошел бороздой, понукая лошадей, а Слимак сидел на косогоре и смотрел. Он сидел, облокотившись на колено, подперев голову рукой так, что шляпа у него съехала на затылок, и, потихоньку попыхивая трубкой — пф-пф, — смотрел...

Шагов за триста от него, среди поля, на противоположном берегу реки немцы разбили лагерь. Слимак все курил свою трубку, стараясь не упустить ни одного их движения.

Немцы уже выстроили квадратом фургоны, образовавшие как бы загон для лошадей и скотины; вокруг него суетились люди. Один тащил переносную кормушку на четырех ножках и ставил ее коровам, другой насыпал зерно из мешка, третий с ведрами шел за водой на реку. Женщины доставали из фургонов железные котелки и кулечки с бобами, дети гурьбой бежали в овраг собирать хворост.

— Ну, и наплодили они ребят! — заметил Слимак. — У нас во всей деревне столько на наберется.

— Словно вшей, — поддакнул Мацек.

Мужик все курил свою трубку и не мог надивиться. Колдовство это, что ли?.. Вчера еще в поле было пусто и тихо, а нынче — чисто ярмарка! Люди на реке, люди в оврагах, люди на нивах. Рубят кустарник, несут вязанки хвороста, разводят костры, кормят и поят скотину. Один немец уже открыл лавку на возу и, видно, бойко торгует: женщины толпой обступили его и тянутся — кто за солью, кто за уксусом, кто за сахаром. Уже молодухи-немки укрепили зыбки на кольях и одной рукой мешают в котле суп, а другой качают люльку. Нашелся тут и коновал, — вот он осматривает зашибленную ногу у лошаденки, а цирюльник уже бреет старого немца на подножке фургона. В поле шум, суета, кипит работа, а в небе все выше поднимается солнце.

Слимак повернулся к Овчажу.

— Смекаешь, Мацек, как они ловко работают? От нас, стало быть, от хаты, до оврагов поближе, чем от них, а мы за хворостом ходим полдня. А эти, шут их знает, раз-раз и уже обернулись...

— Ого-го!.. — ответил Мацек, чувствуя, что это камешек в его огород.

— Да ты погляди, — продолжал Слимак, — как они всей деревней работают. Бывает, и у нас выходят всем миром, но всякий ковыряется сам по себе да норовит почаще отдохнуть, а то и другим помешать. А эти так и вьются, как черти, точно один погоняет другого. Тут ты хоть с ног будешь валиться, а не станешь лодырничать, когда один сует тебе в руки работу, а другой уже стоит над душой и дожидается, чтобы ты скорее кончал. Ну, ты погляди да скажи сам.

Он передал Овчажу недокуренную трубку и в раздумье вернулся домой.

— Верткий народ — эти швабы, — бормотал он, — да и толковый...

Его зоркий глаз за полчаса открыл два секрета современного труда: быстроту и организованность.

Около полудня из лагеря пришли два колониста и стали просить Слимака продать им масла, картофеля и сена. Масло и картофель он продал им, не торгуясь, но сено дать отказался.

— Ну, хоть возок соломы, — просил один из колонистов на ломаном языке.

— Нет, ни соломинки не дам, у самого нету, — отвечал Сликамак.

Колонист в гневе швырнул шапку оземь.

— А, старый шорт этот Хаммер! — крикнул он. — Какой огоршение он нам устраивать!.. Говориль, старый шорт, што ми тут найдем много овин, и амбар, и сено, и все найдем, а ми ничего не нашоль... В имении сена нет, а во флигель усиживают еврейские шинкарники и повторяйт: «Ми отсюда не будем уходиль!»

Когда колонисты с мешками картошки на спине выходили из ворот в сопровождении всего семейства Слимака, на дороге показалась бричка и в ней двое давно знакомых немцев: старик и бородатый. Это были Хаммеры.

Колонисты, бросив мешки, с криком остановили бричку.

О чем они говорили, Сликамак не понимал. Но он видел, что колонисты очень рассержены и показывают руками то на его хату, то на усадебные постройки. Один раз они даже повернулись к нему, говоря по-польски:

— Самый глупый знает, што шеловек может спать очень плохо, но животный это не может и не выдержит в поле в холодний ночь!.. С такой порядок пройдет один год и все будут брать шерти...

Потом они снова кричали по-немецки поочередно — то один, то другой, как будто даже в вспышках гнева сохраняя организованность и порядок.

Зато оба Хаммера были совершенно спокойны. Терпеливо и внимательно слушали они брань колонистов, лишь изредка вставляя словечко в ответ. А когда колонисты устали кричать, слово взял младший Хаммер. Его краткая речь, видимо, успокоила их гнев: они пожали руку отцу и сыну, вскинули на спину картофель и с прояснившимися лицами отправились в лагерь.

— Как поживаете, хозяин? — крикнул из брички старый Хаммер. — Ну что, сторгуемся?

— Не.

— Зачем вы к нему пристааете? — с раздражением перебил его сын. — Он еще сам к нам придет.

— Не, — повторил Сликамак, прибавив вполголоса: — Ну, и взъелись на меня, прохвосты!..

Бричка покатила дальше, Сликамак поглядел ей вслед, подумал и наконец сказал, обращаясь к жене:

— Вот народ — эти швабы!.. Хаммеры — те, видать, господа, а эти, что картошку у нас брали, мужики, а ведь друг дружке руку подають, запанибрата. У нас, если кто

поссорится, не станет и слушать другого, а эти прохвосты хоть и сердятся, а друг дружку выслушают, столкнутся, все у них и уладится.

— Да что ты, право, все только похваливаешь немцев, — прервала его жена, — а о том не думаешь, что они хотят у тебя землю отнять. Побойся ты бога, Юзек...

— Что они мне сделают? Пусть болтают, а я что знаю, то знаю. Разбоем они брать не станут.

— Кто их знает! — ответила женщина. — Но я только то вижу, что их вон сколько, а ты один.

— На все воля божья! — вздохнул мужик. — Соображать-то они соображают, пожалуй, получше моего, а вот насчет упорства — куда им!.. Ты вот прикинь, — продолжал он, подумав, — экая сила дятлов налетит иной раз на дерево, и все его долбят. Ну и что? Дятел посидит-посидит, да и улетит, а дерево — оно деревом и останется. Так и мужик. Насядет на него пан и давай долбить, волость насядет — тоже долбит, еврей насядет — опять долбит, теперь немец наседает и будет долбить, а все равно против мужика им не устоять.

Под вечер к Слимакам забежала старуха Собесская.

— Ох, дайте-ка наперсточек водки, — закричала она еще с порога, — а то у меня дух заняло, так я к вам поспешала с новостями...

Ей налили «наперсток», который и великан не постеснялся бы надеть на палец; бабка выпила и начала:

— Ну, и дела у нас в деревне — чисто страшный суд!.. О, господи Иисусе! Старый-то Гжиб и Ожеховский уговорились, в случае колонисты не приедут, сообща — стало быть, Гжиб с Ожеховским — купить влуки четыре или пять земли у пана... Они, вишь, затеяли поженить Ясека Гжиба с Павлинкой с Ожеховской — смекаете? — ну, и хотят хозяйство отвести им особое, вроде как у шляхты. Полинка-то у пани училась вышивать да кружева плести, а он, стало быть, Ясек, в конторе служил, а теперь по праздникам в сюртуке расхаживает... Дайте-ка еще наперсточек, а то внутри так и сосет, говорить не вмоготу.

Она опрокинула в себя второй «наперсток» и продолжала:

— Тем временем, скажу я вам, колонисты внесли еврею половину денег за землю, а нынче, вишь, пришли сюда на постоянное жительство. Как увидел это мой Гжиб, как схватился за лохмы, да как бросился к шинкарю и — ну его костить: «Ах ты мразь, говорит, мало тебе, что Христа распял, так ты и меня надул?.. Иуда ты, говорит, Кайафа! Ты что говорил? Будто немцы в срок не заплатят, задаток их пропадет, а землю куплю я? А ну смотри, нехристь (а сам тащит его к окну), немцы-то всей оравой пришли!» А Йосель ему: «Ну, еще неизвестно, долго ли они здесь просидят, потому что они все время ссорятся с Хаммером и, наверное, с ним разойдутся». А тут как раз Ожеховский дал знать, что приехали Хаммеры и что немцы с ними уже помирились.

Гжиб, скажу я вам, до того тут остервенел, что даже морда у него посинела, он только кулаками стучит да орет: «Я этих крыс выкурю отсюда!.. Приехали, кричит, на возах, а бежать будут пешком!..» Иосель оттащил его за рукав и повел в чулан вместе с Ожеховским, и там они чего-то сговаривались потихоньку.

— Дурак он, — сказал Слимак. — Раз уж не успел он вовремя купить, нынче ему не одолеть немцев. Это народ оборотистый.

Разомлевшая от водки бабка качнулась, сидя на лавке.

— Не одолеть?.. — говорила она. — Налейте мне еще наперсточек... Ну, он не одолеет, так Иосель одолеет, а не Иосель, так его шурин... Налейте-ка наперсточек. Они найдут управу и на шваба. А я что знаю, то знаю... Налейте, а то что-то мутит. Ох, много я чего навидалась в корчме... Кабы этот антихрист не жил у нас в деревне, и все вы, хозяева, кое-что про это узнали б...

Тут она что-то забормотала, потом зашептала, наконец свалилась с лавки и уснула на полу сном младенца.

— Что это она болтает? — спросила мужа Сливакова.

— Известное дело — пьяная, — ответил мужик. — Подслуживается к шинкарю, вот и думает, будто он может сделать все, чего захочет.

Когда настала ночь, Слимак снова поднялся на холм поглядеть на лагерь колонистов. Люди уже забрались в свои фургоны, загнав скотину в огороженное пространство, и только табун лошадей пасся на лужайке возле оврага. Время от времени ярче вспыхивало пламя в догорающих кострах, ржала лошадь или раздавался окрик усталого караульного.

Слимак вернулся домой, бросился на постель, но спать не мог. В темноте он совсем упал духом и с тревогой думал, сможет ли он один, живя на отлете, противостоять целой ораве немцев?

«Еще, пожалуй, нападут на меня... или подожгут...» — размышлял он, ворочаясь с боку на бок.

Вдруг около полуночи вдали прогремел выстрел. Слимак вскочил. Выстрелили второй раз. Он бросился во двор и наткнулся на перепуганного Овчажа. За рекой раздавались крики, ругань, топот лошадей.

Понемногу суматоха улеглась, но в лагере не спали до утра. На другой день Слимак узнал от колонистов, что какие-то неизвестные прокрались ночью в их табун. Мужик удивился.

— О таких штуках, — сказал он, — у нас еще не слыхивали.

— Вы ведь своих лошадей запираете, — ответил один из колонистов. — А еще воры рассчитывали на то, что мы с дороги проспим. Но нет, мы-то не проспим, — прибавил он, смеясь.

Весть о нападении на лагерь колонистов мигом облетела округу, обрастая в каждой деревушке все новыми подробностями. Рассказывали, что появилась

шайка конокрадов, которые угоняют ворованных лошадей чуть ли не в Пруссию, что немцы всю ночь сражались с ними и даже несколько человек убили. Дней через пять слухи эти дошли наконец до полицейского урядника. Он тотчас распорядился запрячь в бричку раскормленную кобылку, достал из клетки бочонок, прихватил еще и два-три мешка, которые ему дала жена, и отправился производить следствие.

Немцы угостили его в лагере отличной водкой, настоенной на можжевельнике, и копченой грудинкой, а Фридрих Хаммер сообщил, что, по его соображениям, к их лошадям подкрадывались двое людей из имения, которые остались без работы: конюх Куба Сукенник и буфетный мальчик Ясек Рогач.

— Оба они сидели, — заметил урядник, — за кражу дверных ручек и печных заслонок. Но были выпущены за отсутствием улик... А кто тут из вас в них стрелял? — прибавил он строго. — Имеется ли у вас разрешение на оружие?

Увидев, что дело принимает щекотливый оборот, Хаммер отвел урядника в сторонку и представил ему столь убедительные объяснения, что тот, вполне удовлетворившись ими, сразу уехал. Он только посоветовал бдительнее охранять лошадей и еще раз повторил, чтобы колонисты, не имеющие разрешения, не держали оружия.

— А что, скоро вы дом построите? — спросил урядник, уезжая.

— Да, через месяц, думаю, ферма будет готова, — ответил Хаммер.

— Очень хорошо!.. Отлично!.. Тогда вспрыснем.

Из лагеря урядник отправился в имение; при виде его веснушчатый представитель Гиршгольда так обрадовался, что тут же выставил бутылку крымского вина. Однако на вопросы, касающиеся кражи, не смог ничего ответить.

— Ой, пан, — сказал еврей, — я, как услышал, что стреляют, сейчас же схватил в одну руку один револьвер, в другую — другой и всю ночь не смыкал глаз: все боялся, что на меня нападут.

— А разрешение на револьвер у вас имеется?

— А как же? Конечно, имеется...

— На оба?

— Второй испорчен. Я ношу его только так, для виду.

— Сколько рабочих у вас в настоящее время?

— Тех, что возятся у нас в лесу?.. Иной раз бывает до ста и больше, иной раз человек восемьдесят. Как придется.

— Паспорта у всех в порядке?

Уполномоченный немедленно дал ему исчерпывающие объяснения относительно паспортов, после чего урядник стал прощаться. Усаживаясь в бричку, он сказал:

— Смотрите, пан, теперь берегитесь: раз уж завелись воры в деревне, они никого не пропустят. Ну, а в случае чего — первым делом сообщите мне.

Последние его слова так испугали уполномоченного, что с этого времени он стал на ночь брать к себе во флигель двух служащих, которые до сих пор ночевали в доме.

На обратном пути из имения урядник повернул кобылку к хате Слимака. Хозяйка как раз насыпала крупу в горшок, когда в дверях показалась его тучная фигура.

— Слава Иисусу Христу, — сказал он. — Ну, что у вас слышно?

— Во веки веков, — ответила Слимакова, — да так, ничего.

Урядник посмотрел по сторонам.

— Хозяин ваш дома? — спросил он.

— А куда ему деваться? Ендрек, сбегай-ка за отцом.

— Отличная крупа. Сами драли?

— А как же.

— Насыпьте-ка с гарнец в мешочек; я, как буду в другой раз, заплачу.

— А мешочек, пан, есть у вас?

— Есть там, в бричке. Может, заодно и курочку продадите?

— Можно.

— Так выберите какую-нибудь помоложе и положите туда же под козлы. Что, хозяин, не слышали, кто это хотел у немцев лошадей украсть? — спросил урядник.

— А я почем знаю? — ответил Слимак, пожимая плечами. — Ночью я слышал, как два раза выстрелили, а на другой день рассказывали, будто кто-то подбирался к их лошадям. А уж кто — не знаю.

— В деревне говорят, что Куба Сукенник и Ясек Рогач.

— Чего не знаю, того не знаю. Слышал я, что они ищут работу, да найти не могут, потому что сидели за кражу.

— Водочки у вас не найдется? Пылища так и дерет глотку...

Слимак подал водку и хлеб с сыром. Урядник выпил, немного отдохнул и собрался уезжать.

— Вы тут, на выселках, остерегайтесь, — сказал он на прощание, — а не то либо вас обворуют, либо самих же посадят за воровство.

— До сих пор господь миловал, — ответил Слимак. — И у нас ничего не воровали, да и мы никого не трогали; так оно, верно, и дальше будет.

Урядник направился к Иоселю. Шинкарь принял его с восторгом, велел отвести кобылку в конюшню, а гостя пригласил в самую лучшую комнату, похваляясь тем, что все свидетельства у него в полном порядке.

— А вывески, как оно полагается, над воротами нет, — заметил гость.

— Сейчас будет, если пан урядник велит. Сейчас будет! — ответил шинкарь, стараясь усиленной вежливостью прикрыть внутреннее беспокойство.

За бутылкой портера урядник упомянул о нападении на лагерь.

— Тоже нападение! — насмешливо сказал Иосель. — Немцы постреляли для устрашения, а люди уже болтают, что на колонистов напала целая шайка. У нас ведь ничего такого никогда не случилось.

Вытерев платком усы и румяное лицо, урядник сказал:

— Шайка шайкой, а своим чередом то, что Куба Сукенник и Ясек Рогач вертелись возле лошадей.

Иосель поморщился и прищурил глаза.

— Как они могли вертеться, — ответил он, — когда в эту ночь они ночевали у меня.

— У вас ночевали? — переспросил урядник.

— У меня, — небрежно проронил Иосель. — Ожеховский и Гжиб сами видели, что уже с вечера оба они были пьяны, как скоты. И что им делать, — прибавил он, подумав, — как не пить? Если нет у мужика постоянной работы, все, что он заработает за день, к ночи он обязательно пропивает.

— Среди ночи они свободно могли удрать от вас, — заметил урядник.

— Может, и удрали. Хотя ночью конюшня у меня всегда бывает заперта, а ключ находится у мишуреса[9].

Разговор перешел на другие темы. Урядник просидел с часок у Иоселя, а когда кобылка его отдохнула, велел запрягать. Уже сидя в бричке, он сказал шинкарю:

— А ты, Иосель, присматривай за Сукенником и Рогачом.

— Что я им — отец или они у меня служат? — спросил еврей.

— Не то что служат, а как бы они тебя самого не обворовали; это такой народ...

— Буду остерегаться их.

Разместив мешки и бочонок так, чтобы они ему не мешали, урядник повернул домой. По дороге он задремал, но сквозь дремоту ему все время мерещились то Сукенник и Рогач, то шинкарь Иосель. Он видел Рогача с железными печными заслонками, видел Сукенника с медными дверными ручками, то их обоих вместе среди табуна лошадей, и всякий раз где-то возле них маячила бархатная ермолка

или сладко улыбающаяся физиономия Йоселя. Минутами, словно из тумана, всплывало лицо молодого Гжиба или седая голова его отца. Тогда урядник вдруг просыпался и в изумлении озирался вокруг. Но, кроме его кобылки, белой курицы под козлами да придорожных деревьев, ничего не было видно.

— Тьфу! — сплюнул он. — Экое наваждение...

В деревне день ото дня исчезала надежда на скорый уход немцев с помещичьей земли. Сначала рассчитывали, что они не внесут в срок деньги Гиршгольду, но они внесли. Потом поговаривали, будто они ссорятся с Хаммерами, но они помирились. Предполагали, что они испугаются воров, подбиравшихся к их лошадям, но они не только не испугались, а сами нагнали страху на конокрадов.

— А все-таки им тут не по себе: не видать, чтобы они строились. Землю и ту еще не размежевали.

Это замечание высказал однажды вечером в корчме Ожеховский и запил его огромной кружкой пива. Но не успел он рот утереть, как что-то затарахтело, и к дому в краковской бричке подкатил землемер. Трудно было предположить, что это кто-нибудь другой, — так набит был возок колышками, мерными лентами и прочими принадлежностями. Да и Гжиб, который уже не раз имел с ним дело, сразу его узнал; узнали его и другие мужики — по обвислым усам и красному, как барбарис, носу.

Когда расстроенный Гжиб провожал домой Ожеховского, тот сказал, стараясь его утешить:

— А что, кум, может, он, землемер то есть, не к нам в деревню приехал, а так, завернул по пути переночевать?

— Дай-то бог, — ответил Гжиб. — Ох, хотел бы я, чтобы поскорей поженились наши дети и остепенился этот щенок Ясек.

— Ну, купим им землю в другом месте, — предложил Ожеховский.

— Пустое дело. Если за этим разбойником не смотреть в оба, то и землю продаст, и сам пропадет ни за грош.

— Моя Павлинка его устережет.

Гжиб, понурясь, задумался.

— Вы, кум, еще не знаете, — сказал он, — какой это пес. И вы, и я, и Павлинка — все трое будем его стеречь и то не устережем. Хоть бы этот шалопай одну ночь дома переночевал. Иной раз случается, что я по неделе его не вижу!..

Мужики распрощались, и оба легли спать, все еще надеясь, что землемер попал в деревню только проездом. Однако на следующий день им пришлось убедиться в своей ошибке. Чуть свет землемер встал, забрал из корчмы связку кольев, жестяную трубку с планом, оплетенную флягу с самой крепкой горелкой и отправился осматривать помещичьи земли.

В течение нескольких дней он расхаживал взад и вперед по полям в сопровождении целой толпы немцев. Одни несли — впереди или позади него — длинные жерди, другие тянули мерную ленту, кто-то сооружал для него из колышков табурет, иные бесцеремонно заглядывали ему через плечо. Он гонял людей направо и налево, записывал у себя в тетрадке, чертил на доске, а когда припекало солнце, раскрывал над головой зонтик или, перебираясь на новый участок, по дороге жадно прикладывался к своей оплетенной фляге.

Мужики издали присматривались ко всем этим маневрам, но молчали. Наконец на четвертый день заговорил Вишнеvский:

— Кабы я, пес его дери, выдул столько водки, так, пожалуй, размежевал бы получше, чем сам землемер!

— Оттого он и землемер, — отозвался Войтасюк, — что башка у него крепкая.

Слимак тоже видел землемера, видел, как после его отъезда немцы сняли парусину с нескольких фургонов, запрягли в них лошадей и разъехались на все четыре стороны.

«Может, уезжают?» — подумал он.

Но через несколько часов они вернулись, медленно двигаясь с тяжелою кладью, и тотчас принялись ее разгружать: в одну кучу — бревна, в другую — доски, в третью — щебень. И так в течение двух дней они свозили лес, камень, кирпич и известь, сваливая их в отдельные кучи на холме близ лагеря, шагов за триста от хутора Слимака.

В то же самое время все три Хаммера расхаживали по холму, отмечая колышками квадратную площадку размером около двух моргов.

Через несколько дней, когда приготовления были окончены, весь лагерь вдруг пришел в движение. Из лесу показалось человек двадцать плотников в синих брюках и куртках, с пилами, сверлами и топорами. Одновременно навстречу им из лагеря вышла группа колонистов-каменщиков с мастерками и ведрами, а позади на некотором расстоянии, сбившись в кучу, шли женщины, дети и колонисты-мужчины, разодетые по-праздничному. Все три группы собрались у подножия холма, где на одном возу стояла бочка пива, а на другом была навалена груда хлеба и колбасы.

Старик Хаммер надел, как всегда, выцветшую плисовую куртку, старший его сын Фриц, вырядился в черный сюртук, а младший, Вильгельм, в пунцовую жилетку с красными цветочками. Все трое казались очень озабоченными. Отец встречал гостей, перебегая от плотников к каменщикам и от каменщиков к женщинам; Фриц складывал в кучу толстые колья, а Вильгельм откупоривал бочку с пивом.

На хуторе Слимака эти приготовления первым заметил Овчаж и тотчас же дал знать в хату. Вся семья бросилась на холм: впереди Ендрек, за ним Слимак с женой, позади Магда со Стасеком. Они стояли на косогоре и с любопытством ждали, что произойдет в лагере, на том берегу.

— Верно вам говорю, дом будут строить, — сказал Слимак, — а то для чего бы они столько рабочих нагнали?

В эту минуту старик Хаммер, поздоровавшись наконец со всеми гостями, взял кол и стал вбивать его в землю деревянным молотком.

— Хох!.. Ура!.. — закричали плотники и каменщики.

Хаммер поклонился, взял другой кол и понес его прямо на север.

За ним следовал Фриц с молотком, а за Фрицем толпа пожилых колонистов, женщин и детей; вел их учитель, которого привезла сюда на тележке дочь, впрягшись в нее вместе с собакой.

Вдруг учитель высоко поднял шапку, мужчины обнажили головы, и толпа на ходу запела торжественный гимн:

Наш бог — надежный наш оплот,
Оружье и твердыня,
В беде он помощь нам несет
От века и доныне
Древний мира враг
Ищет путь сквозь мрак,
Шлет в недобрый час
Силы зла на нас
Кто в мире ему равен?

При первых же звуках Слимак снял шапку, Слимакова перекрестилась, а Овчаж, отойдя в сторонку, смиренно опустил на колени. Стасек, дрожа от восторга, широко раскрыл рот и глаза, а Ендрек мигом сбежал с горы, перешел вброд реку и опрометью понесся в лагерь.

Старик Хаммер прошел еще несколько шагов к северу, вбил в землю второй колышек и повернул на запад. Следом за ним в том же порядке, что и раньше, двинулась толпа с пением:

Мы одолеть не можем грех,
Коль зло перед порогом;
Но бьется вождь один за всех,
Ниспосланный нам богом
Кто он? — спросишь ты.
Зовется Христом
Он бог Саваоф,
Поразит он врагов,
И нет иного бога.

Крестьяне с изумлением слушали незнакомую торжественную мелодию. После скорбных заунывных песнопений в костеле она показалась им гимном

торжествующей силы. Не думали они, что на этих нивах, где доселе раздавались лишь горестные стенания:

Тебе, господи боже мой, исповедую грехи мои... —
толпа чужаков будет громко звать:

Но бьется вождь один за всех,
Ниспосланный нам богом...

Глубокую задумчивость Слимака внезапно прервал крик Стасека.

— Поют, мама, поют! — повторял мальчик прерывающимся голосом, плача и дрожа всем телом.

Вдруг он побледнел, губы у него посинели, и он упал наземь.

Родители в испуге подняли его и осторожно понесли домой, брызгая в лицо ему водой и уговаривая успокоиться. Они знали, что мальчик необыкновенно чувствителен к музыке, что в костеле всякий раз во время богослужений он смеется и плачет, но в таком состоянии они еще не видели его никогда.

Только дома, когда пение в лагере смолкло, Стасек затих и уснул.

Ендрек, переходя реку, вымок до пояса, намочил шляпу и рукава рубашки и перепачкался в песке на берегу; в мокрой одежде ему было холодно, но он ни на что не обращал внимания, настолько поглотило его невиданное зрелище.

«Чего это они все ходят вокруг холма да поют? — думал он. — Видно, нечистого отгоняют, чтобы к ним в хату не лез. У швабов, известное дело, нет ни зелья, ни освященного мела, вот они и забивают по углам дубовые колья. А против черта дубовый кол и вправду лучше мела, тут ничего не скажешь... А может, они так заколдуют это место, что за ночь у них хата сама собой вырастет?..»

Но он тут же отбросил эту нелепую мысль. Ендреку уже исполнилось пятнадцать лет, и он отлично знал, что одним пением, без работы хаты не выстроишь.

Его поразило то, как по-разному ведут себя немцы. Расхаживали по полю, распевая гимн и спотыкаясь на неровной земле, только старики, женщины и дети. Молодежь — каменщики и плотники — стояла двумя кучками на холме, с громким хохотом подталкивая друг дружку и покуривая трубки. По их вине раз даже остановилась вся процессия. А когда Вильгельм Хаммер, орудовавший над бочкой пива, поднял наполненный до краев стакан, молодежь так гаркнула «хох!» и «ура!», что старик Хаммер оглянулся, а больной учитель погрозил им пальцем.

Шествие медленно приближалось к Ендреку; он уже различал пискливые детские голоса, скрипучее подвывание старух и глухой бас Хаммера. И вдруг среди этого нестройного хора послышался чудесный женский голос, чистый, звучный и невыразимо волнующий. Сердце у него так и дрогнуло. В его воображении звуки превращались в образы: ему казалось, что над мелкой порослью и засохшими стеблями вознеслось прекрасное дерево — плакучая ива.

Вглядевшись в толпу, он догадался, что пела дочь учителя, которую он увидел впервые, когда она везла в тележке отца. Но тогда огромный пес заинтересовал его больше, чем девушка. А сейчас голос ее перевернул ему душу, и он позабыл обо всем. Исчезли поля, немцы, груды бревен и камня, — остался лишь этот голос, заполнивший собой все вокруг. Что-то дрожало у мальчика в груди, ему тоже захотелось петь, и он вполголоса начал:

Радуйся, праздничный день, во веки веков почтенный,
Тот, когда бог победил силы ада, воскресши...

Эта мелодия больше всего походила на песню немцев. Долго ли они пели, Ендрек не помнил. Очнулся он от своего восторженного забытья, снова услышав возгласы «хох!» и «ура!»; кричали обступившие подводу с бочкой многочисленные гости, которым Вильгельм Хаммер поднес по кружке пива. Ендрек разглядел в толпе коричневое платье дочери учителя и машинально подвинулся ближе.

Но тут его сразу заставили опомниться. Какой-то молодой немец заметил Ендрека и показал остальным, другой сорвал у него с головы шляпу, третий втолкнул в середину толпы; громко хохоча, парни стали перебрасывать его из рук в руки. Промокший мальчишка, замызганный, босой, в посконной рубахе, был похож на пугало. В первую минуту, растерявшись, он перелетал от одного немца к другому, как измазанный грязью мяч. Но вдруг он встретил серые глаза дочери учителя, и в нем проснулась дикая энергия. Он пнул ногой какого-то плотника, рванул за куртку каменщика, как молодой бычок, боднул головой в живот старика Хаммера и, когда вокруг него стало просторнее, остановился, сжимая кулаки и высматривая, куда бы броситься, чтобы пробить себе дорогу.

Поднялся шум. Одни, потягивая пиво, смеялись над мальчишкой; другие — те, кого он толкнул, — хотели его поколотить. К счастью, старик Хаммер узнал его и спросил:

— Ну, ты что тут скандалишь, мальчик?

— А зачем они меня швыряют!.. — ответил Ендрек, чуть не плача.

Немцы о чем-то затараторили, но Хаммер взял мальчика за руку и отвел в сторону. Тут его увидел учитель и крикнул:

— Ты из той хаты, за рекой?

— Да.

— Что ты тут делаешь?

— Я пришел поглядеть, как ваши молятся, а эти стервецы давай меня тормошить...

Он вдруг замолк и покраснел, заметив устремленные на него серые глаза дочери учителя. Она держала в руке стакан пива и, подойдя к мальчику, протянула ему.

— Ты промок, — сказала она, — выпей.

— Не хочу! — ответил Эндрек и смутился.

Ему показалось, что резко отвечать такой прекрасной пани не совсем хорошо.

— Где ты промок? — спросила она с любопытством.

— В реке, — тихо ответил Эндрек. — Бежал к вам сюда вброд.

— Ты выпей, — настаивала девушка, протягивая ему стакан пива.

— Еще, чего доброго, опьянею, — ответил мальчик.

Наконец он выпил, заглянул в ее смуглое лицо и опять густо покраснел. По губам девушки скользнула печальная улыбка.

В эту минуту заиграли скрипки и контрабас. Тяжело подпрыгивая, к дочери учителя подбежал Вильгельм Хаммер и повел ее танцевать. Уходя, она еще раз окинула Эндрека грустным взглядом.

Эндрек сам не мог понять, что с ним делается. Ярость и боль сдавили ему горло и ударили в голову. То ему хотелось броситься на Вильгельма Хаммера и изорвать на нем его цветистую жилетку, то он готов был завывать в голос... Он круто повернулся, решив уйти.

— Уходишь? — спросил его учитель.

— Пойду.

— Поклонись от меня отцу.

— А от меня скажи, что в день святого Яна я отниму у него луг, — вмешался старик Хаммер.

— А разве этот луг ваш? — спросил Эндрек. — Отец не у вас, а у пана брал его в аренду.

— Ого, пан!.. — засмеялся Хаммер. — Мы теперь тут паны, и луг теперь мой.

Эндрек ушел. Подходя к дороге, он заметил какого-то мужика, притаившегося за кустом, который подглядывал, как веселятся немцы. Это был Гжиб.

— Слава... — начал было Эндрек.

— Кого это ты славишь? — перебил его в гневе старик. — Только уж не бога, а дьявола, раз вы братаетесь с немцами...

— Да кто с ними братается? — с удивлением спросил Эндрек.

У мужика горели глаза и вздрагивала на лице морщинистая кожа.

— А что же, не братаетесь? — закричал Гжиб, поднимая кулаки. — Не видел я, что ли, как ты, словно пес, неся к ним через реку ради кружки пива? Не видел я, что ли, как твой отец с матерью молились на горе заочно со швабами? Дьяволу молились! Господь бог вас уже наказал: вон как Стасека скрутило. Но погоди! Этим еще не кончится... Отступники! Псы поганые!..

Он повернулся и пошел в деревню, проклиная весь род Сливаков.

Ендрек медленно побрел домой; он был удивлен и расстроен. В хате он застал больного Стасека, и у него сердце сжалось от страха. Он сразу рассказал отцу о своей встрече с Гжибом.

— Ну и дурень он, даром что старик, — сказал Слимак. — Что ж, я в шапке, что ли, буду стоять, как скотина, когда люди молятся, будь они хоть швабы?

— А на Стасека это они навели порчу своей молитвой, — продолжал Ендрек.

Слимак нахмурился.

— Чего там навели? — ответил он, помолчав. — Стасек сроду такой квелый: баба в поле запоет песню, его уж и трясет.

На этом разговор окончился. Ендрек повертелся в хате, но ему показалось тут тесно, и он убежал в овраги. Долго он там бродил, без дороги, без цели. То взбирался на холм, откуда было видно, как немцы гурьбой копали котлован под фундамент, то опять спускался в овраг или продирался сквозь колючий кустарник.

Но где бы он ни был, рядом с ним всюду шла тень дочери учителя, он видел ее смуглое лицо, серые глаза и исполненные грации движения. Время от времени, словно откуда-то из глубины, до него доносился то ее нежный, манящий голос, то хриплый крик старика Гжиба, посылающего проклятия.

— Может, это она наколдовала? — шептал он в тревоге и снова думал о ней.

VIII

Никогда еще Слимак не был так доволен своей жизнью, как в эту весну. Он отоспался наконец, насмотрелся всякой всячины, да и денежки так и текли к нему в сундук.

Прежде, бывало, день у него тянулся страшно долго. Нароботается он, умается до смерти, а чуть только завалится в постель и уснет, словно убитый, как баба уже срывает с него одеяло и кричит:

— Вставай, Юзек, день на дворе...

— Какой там день?.. — удивлялся мужик. — Да я только что лег.

Все кости у него ныли, и казалось, каждая в отдельности цеплялась за постель; вставать не хотелось до смерти, он протирал глаза, зевал так, что в затылке хрустело, и поднимался.

Подчас бывало до того тяжело, что хотелось лечь скорее в могилу и упокоиться вечным сном. А тут еще жена пилит: «Ну вставай!.. да умойся... да оденься... смотри, не то опоздаешь, опять у тебя вычтут...»

Он одевался, выводил из конюшни своих лошадей, таких же усталых, как он сам, и тащился на работу — в имение или в местечко — возить евреев. Иной раз так его разморит, что дойдет он до порога и скажет: «А вот возьму, да и останусь»

дома!..» Но он побаивался жены, а кроме того, жаль было заработка: без него в хозяйстве концы с концами не сведешь.

А сейчас — другое дело, сейчас Слимак спит себе вволю, сколько вздумается. Случается, жена по привычке дернет его за ногу, приговаривая: «Вставай же, Юзек, вставай!» Тогда мужик, приоткрыв один глаз, чтобы не разогнать сон, буркнет в ответ: «Отвяжись ты!» — и спит хоть до семи часов, когда в костеле зазвонят к ранней обедне.

Да и на самом деле вставать ему было незачем. Весенние полевые работы давно уже кончил Мацек, евреи из местечка перебрались поближе к строящейся железной дороге, в имение тоже никто его не звал, потому что и имения-то не было.

Иногда он по несколько дней совсем ничего не делал. Покуривал трубку, шатался по двору или ходил осматривать дружные всходы на полях. Однако самым любимым его развлечением было подняться на холм и, улегшись под сосной, смотреть, как из земли вырастают, словно грибы, дома немецких колонистов.

К концу мая Хаммер уже совсем построился, у других соседей Слимака — Трескова, Геде и Пифке — тоже закончилась постройка ферм. Приятно было взглянуть на их хозяйство. Все фермы стояли посреди поля и были похожи одна на другую как две капли воды. У дороги большой сад, обнесенный дощатым забором; к забору с одной стороны примыкает крытый дранкой дом из четырех просторных комнат, а за домом тянется огороженный строениями огромный квадратный двор.

Постройки их были несравненно выше, длиннее и шире, чем у крестьян, но, несмотря на чистоту и аккуратность, казались неуютными, суровыми, должно быть, оттого, что на крестьянских хатах и сараях крыши делались четырехскатные, а у немцев — двухскатные.

Зато в немецких домах окна были большие, в шесть стекол, а двери — столярной работы. Ендрек, постоянно таскавшийся к немцам, рассказывал, что в горницах у них везде настланы полы, а кухни отдельные и печи с железными плитами.

Лежа под сосной, Слимак присматривался к их хозяйству и мечтал, что когда-нибудь и он построит себе такой же дом, только крышу поставит другую. Но порой среди этих мечтаний вдруг что-то заставляло его вскочить на ноги. Ему хотелось вдруг куда-то идти, взяться за любую работу, становилось скучно и стыдно, что он бездельничает; им овладевала внезапная тревога, как будто кто-то стучался в его грудь и спрашивал: «А что будет дальше?»

Иногда его охватывала тоска по имению, по тем полям, где еще недавно он ходил за плугом и где сейчас выросла колония. То вдруг одолевал его страх, что ему не устоять против немцев. Вырубили же они лес и раздробили камни, мало того — самого помещика выгнали...

Но он скоро собирался с духом и успокаивался. Живет же он рядом с этими немцами уже почти два месяца, а ничего дурного они ему не сделали. Работают у

себя по хозяйству, следят, чтобы скот не лез в чужое поле, и даже ребятишки у них не озорничают, а учатся в доме Хаммера, где поселился больной учитель.

«Ничего, степенный народ, — говорил себе Слимак, — с ними-то, пожалуй, лучше, чем было при помещике».

Лучше потому, что с первого же дня они много покупали у Слимака и хорошо ему платили.

За это время он продал им двух телят, тринадцать поросят, одиннадцать гусей и шестнадцать мер зерна, а уж кур, масла, картошки — этого и не счесть. Даже связка заплесневелых грибов — и та пригодилась, и за нее ему заплатили.

Меньше чем за месяц Слимак заработал у них рублей сто без всякого труда, а за эти деньги в имении целый год пришлось бы гнуть спину.

Правда, жена не раз говорила ему.

— Ты что же думаешь, Юзек, так они и будут всегда у тебя покупать? У них тоже свое хозяйство, да еще получше твоего. Не надолго эта радость, самое большее — до зимы, а тогда они и на ломаный грош у тебя не купят.

— Там видно будет, — отвечал мужик.

Но про себя он думал, что, если немцы и не станут у него покупать, все равно он немало заработает на тех, что строят дорогу, только бы они подошли поближе. Он даже делал кое-какие закупки. Приобрел двух боровков у Гроховского, несколько гусей у Вишневого, а когда немцы стали реже спрашивать масло, велел жене собирать его и солить.

— Ты не бойся, — говорил он, — все разберут дорожники. Забыла, что нам инженеры говорили?

За время своих поездок по торговым делам он неоднократно встречал Йоселя, и всякий раз тот насмешливо поглядывал на него и усмехался.

«Злобится на меня, — думал Слимак. — Боится, пес, как бы я дорогу ему не перебежал».

Однажды шинкарь остановил его.

— Ну, Слимак, — сказал он, — сделаем с вами дело.

— Чего еще?

— Постройте на своей земле хату для моего шурина.

— А что он будет делать?

— Он будет торговать с дорожниками. Не то, сами увидите, что немцы все у нас заберут из-под носа.

Слимак подумал и ответил:

— Нет, не хочу еврея на своей земле. Сколько уж вы народу заели, нехристи; вас только пусти к себе.

— С евреем не хотите жить, — сердито сказал Иосель, — а с немцами уже и молитесь вместе. Ну, посмотрим, что вы на этом выгадаете.

«Чует, старый пес, большие барыши!» — сказал себе Слимак, глядя на побледневшего от злости Иоселя.

И, не торопясь, продолжал делать закупки. Раз он купил четверть пшена, в другой раз полмеры ячневой крупы, еще как-то миску сала.

Шатаясь по окрестным деревням (свои мужики ничего не хотели ему продавать), он узнал, что продукты сильно вздорожали. А когда он допытывался у мужиков и хозяек, отчего они столько запрашивают, ему отвечали:

— Чего ради мы будем вам отдавать по дешевке, ежели не нынче-завтра нам дадут больше.

— Кто же вам даст?

— Да те же немцы из вашей деревни.

— Так они и у вас покупают? — заинтересовался Слимак.

— Давным-давно... Чуть чего побольше отложишь на продажу, сейчас приезжает немец, еще вперед евреев, и, не рядясь, все сразу забирает. А муки сколько мелют для них на мельнице!.. Все равно как на войну.

«Гм! — подумал Слимак. — Хлеба-то еще в поле, а народу у них много, вот они и скупают по деревням».

Торговые операции Слимака и братанье с немцами чрезвычайно не нравились мужикам его деревни. По воскресным дням у костела мало кто отвечал ему теперь: «Во веки веков». Стоило Слимаку подойти к собравшимся кучкой мужикам, как кто-нибудь громко заговаривал об отступниках от святой католической веры, которые могут навлечь на людей гнев божий.

Даже Собесская все реже забегала к ним в хату, да и то украдкой, а однажды, выпив водки, сказала:

— Чего-то болтают у нас, будто вы совсем перекрестились в немцы... Оно, конечно, — прибавила она, помолчав, — господь бог везде один, а все-таки, что там ни говори, поганый народ эти швабы!..

Чтобы прекратить сплетни, Слимак, по совету жены, заказал в воскресенье обедню и в тот же день вместе с ней и Ендреком исповедался у vicария. Но и это не помогло. Тотчас же Гжиб у костела, а вечером Иосель в корчме растолковали мужикам, что не стал бы Слимак молиться с таким усердием, кабы не было у него столько грехов.

— Видать, натворил он дел, раз уж с бабой ходил к исповеди!.. — гуторили мужики, потягивая пиво.

В конце мая Овчаж сообщил Слимаку, что уже несколько дней подряд, еще до зари, немцы посылают куда-то пустые подводы. Угоняют они подводы на целый

день, а возвращаются поздно вечером. Затем Овчаж подсмотрел, как Вильгельм Хаммер вывозит из дому мешки муки, крупы и свиные туши. Едет он вроде в ту деревню, где костел, но потом сворачивает в овраг, а уж куда дальше — не разглядеть.

Известия эти снова заставили Слимака раньше подниматься и следить с холма за происходящим в окрестностях. Он убедился, что действительно еще затемно из всех немецких колоний выезжают подводы, а куда — этого он не мог сообразить.

Зато однажды, глядя в поле, он заметил на горизонте немного правее костела какую-то желтую точку. К вечеру эта точка увеличилась и на другой день уже казалась черточкой; постепенно она росла и, наконец, превратилась в желтую полосу, подвигающуюся к Бялке. Одновременно он узнал от Ендрека, что подводы немцев возвращаются испачканными песком и глиной.

— А ты не спросил, куда они ездят? — поинтересовался Слимак.

— Спросить-то спросил, но меня живо прогнал Фриц Хаммер, тот бородатый, — ответил мальчик.

Слимак вдруг догадался.

— Эге! — вскрикнул он. — Теперь-то я знаю, где они пропадают! Верно, начали строить железную дорогу... Так оно и есть, тут думать нечего!..

— Чудно, отчего это к нам не пришел ни один дорожник чего-нибудь купить, — вмешалась Слимакова.

— Они еще далеко. Да я сам к ним съезжу, — ответил Слимак.

— Ох, и прохвосты эти швабы! — прибавил он, подумав. — Гляди, как таятся, чтобы другим не достались барыши...

— Да поезжай ты скорей! — закричала хозяйка. — Теперь только и можно заработать как следует...

Мужик обещал поехать завтра с утра. Но он проспал, потом как-то замешкался, а напоследок сказал, что ехать уже поздно. Только на другой день жена насилу прогнала его из дому.

По дороге мужик завернул в ту деревню, где был костел. Там все уже знали, что в миле или полутора от них с прошлой недели копают рвы и свозят песок для насыпи под железнодорожное полотно.

Было тут даже несколько человек, которые ходили наниматься на земляные работы, но приняли только одного, да и тот через три дня вернулся, надорвавшись.

— Собачья работа, нашим мужикам не под силу, — говорили Слимаку в деревне. — Хотя, если у кого есть лошади, стоит поехать: с подводой там зарабатывают рубля по четыре в день.

«Четыре рубля? — думал Слимак, подгоняя лошадей. — Об таких заработках в имении и не слыхивали!..»

С час он кружил окольными дорогами, пока не выехал наконец к месту работ. Уже издали он увидел огромные, как холмы, кучи глины, на которых копошилось не меньше сотни людей. Народ был все пришлый, рослые, бородатые мужики в цветных рубахах, силачи как на подбор. Одни копали глину, другие вывозили ее в огромных тачках, которые не всякая лошадь сдвинула бы с места.

Слимак покачал головой.

— Ого! — бормотал он. — Нет, нашему брату этого наверняка не одолеть.

Он с изумлением смотрел на горы и пропасти, в такой короткий срок вырытые руками людей.

Подъехав ближе, он обратился было к одному из тачечников, но тот ему даже не ответил, поглощенный своей тяжелой работой. К счастью, его заметил какой-то еврей в коротком сюртучке, стоявший в кучке людей, не принимавших участия в работе.

— Чего тебе, хозяин? — осведомился он.

— Да я приехал спросить... — оторопело забормотал мужик, теребя шапку в руках, — приехал спросить, не потребуется ли панам крупы или сала?..

— Дорогой мой, у нас есть свои поставщики. Хороши бы мы были, если бы нам пришлось покупать у мужиков каждую мерку крупы!

«Важные, видать, господа! — подумал оробевший Слимак. — У мужиков не хотят покупать: верно, всё берут у шляхты».

Еврей уже повернулся, собираясь уйти. Вдруг Слимак, поклонившись ему в ноги, снова спросил:

— Скажите, пан, будьте столь милостивы, не найду я у вас работенки с подводой?

Тому понравилось смирение мужика.

— Поезжай, голубчик, — сказал он, — в ту сторону, где возят песок и гравий; там тебя, может быть, возьмут.

Мужик поклонился еще ниже, сел на подводу и, проехав часть пути оврагами, снова добрался до железнодорожного полотна, где насыпали огромный песчаный вал. Тут он увидел десятки подвод и среди них телеги немецких колонистов.

Они тоже его заметили, и перед ним тотчас же очутился Фриц Хаммер. Он был, по всей видимости, надсмотрщиком.

— Ты откуда взялся? — сердито спросил он Слимака.

— Хочу и я тут наняться на работу.

Немец нахмурил брови.

— Ничего ты здесь не заработаешь, — сказал он.

Но видя, что Слимак оглядывается по сторонам и ждет, он подошел к писарю и с минуту о чем-то с ним говорил.

Писарь поспешил к мужику, уже на ходу крича ему:

— Не надо нам подвод! Не надо... И этих много... Нечего тут дожидаться, только другим дорогу загораживаешь. Сворачивай в сторону!..

Приказание было отдано самым резким тоном, и смешавшийся мужик совсем растерялся.

Он повернул лошадей с такой быстротой, что едва не опрокинул подводу, и еще быстрее уехал. Ему казалось, что он оскорбил какую-то высшую власть, которая вырубилась здесь лес, выгнала помещика, напустила на деревню колонистов, а теперь даже землю выворачивает наизнанку, вырывая пропасти там, где были горы, и воздвигая новые горы на равнине.

Слимак ехал домой, нахлестывая лошадей; в голове у него проносились тревожные мысли: ему казалось, что вот-вот кто-то схватит его за шиворот и бросит в тюрьму с криком: «Ты как посмел, хам этакий, просить работу, за которую взялись немцы!..»

Не меньше часу проблуждал он по оврагам, пока не выбрался наконец в открытое поле. Он обернулся и увидел вдалеке желтые холмы нарытой глины, поглядел вперед — и узнал костел соседней деревни. Это отрезвило его.

«Ведь ходили же мужики из этой деревни наниматься, и никто на них не сердился», — подумал Слимак.

Затем ему пришло на ум, что песок и гравий возили не только немецкие, но и мужицкие подводы. Стало быть, мужикам тоже можно работать на железной дороге, не только швабам. А если так, то почему же его прогнали, да еще так скоро, что и осмотреться не дали?

Тут ему вспомнился Фриц Хаммер, его сдвинутые брови, его сговор с писарем, и он сообразил, что происходит. Вначале он не хотел этому верить, но вскоре нашел новые основания для подозрений. Почему колонисты тайком уезжали из дому? Ясное дело, чтобы Слимак не подглядел. А почему Фриц Хаммер прогнал Ендрека, когда тот спросил батраков, куда они ездят? Опять-таки, чтобы Слимак не узнал о выгодной работе.

— Ах вы собачьи сыны! — ругнулся мужик, впервые почувствовав отвращение к немцам. Его не удивляло, что они с такой жадностью бросаются на заработки, но возмутило до глубины души, что они хотят скрыть работу на железной дороге, хоть она у всех на виду.

— Хитрые, Иуды! Еще почище евреев!.. — твердил мужик, и сердце его кипело от гнева.

Вернувшись домой, Слимак коротко сказал жене, что работы не получил. Потом решил сходить в колонию к Хаммеру.

Подходя к новенькой ферме, Слимак заметил нескольких немков, копавших грядки в огороде, а возле плетня группу мужчин. Это были старик Хаммер, два незнакомых колониста и веснушчатый еврей, уполномоченный Гиршгольда. По их жестам и пылающим лицам Слимак догадался, что разговор у них очень горячий, а может, даже не разговор, а ссора.

Хаммер тоже узнал мужика, но, видимо, хотел избежать этой встречи. Он повернулся спиной к дороге, пошел со своими спутниками во двор и скрылся в риге.

— Гляди, какой умный! — проворчал Слимак. — Знает, зачем я пришел... Так я же тебя все равно поймаю и все выложу прямо в глаза!

Однако с каждым шагом решимость его ослабевала и, наконец, совсем исчезла.

«У него и вся повадка барская, — думал мужик о Хаммере. — А я что? Бедняк. Скажи ему слово против, он еще, пожалуй, ударит, а я куда сунусь жаловаться?»

— Придется идти домой, — прошептал он.

Однако страх потерять заработок не позволял ему вернуться ни с чем. Он колебался. Ступит несколько шагов, потом обопрется на забор, словно смотрит, как немки копают гряды. Таким образом он понемножку добрался до дома Хаммера, но войти во двор у него не хватило смелости.

В доме колониста было открыто одно окно, и оттуда доносился гул, напоминавший жужжание пчел в улье. Мужик подвинулся ближе и увидел большую комнату, а в ней целую ораву детишек, сидевших на лавках. Один что-то громко рассказывал, остальные бормотали вполголоса. Посредине комнаты расхаживал больной учитель с линейкой в руке, время от времени покрикивая:

— Still!^[10]

Случайно выглянув в окно, учитель заметил Слимака и подал ему какой-то знак. Через мгновение дети забормотали еще громче, а в комнате появилась дочь учителя с книжкой; время от времени она повторяла звучным, глубоким голосом:

— Still!

«Верно, командует им „смирно“, — подумал мужик.

Вдруг он услышал позади себя тяжелые шаги и кашель. Он обернулся: перед ним стоял учитель.

— Что, пришли посмотреть, как учатся наши дети? — спросил он, улыбаясь.

— Бог с ними совсем! — ответил мужик. — Я пришел сказать вашему Хаммеру, что он — подлец: ведь не дал мне наняться на работу!

И он рассказал, как, по наговору Фрица Хаммера, его прогнали с железной дороги. Учитель покачал головой.

— То же самое Хаммеры проделывают и с нашими, — сказал он. — Как раз в эту самую минуту Тресков и Фабриций скандалят с Хаммером из-за того, что он отстранил их от поставок на железную дорогу и что уполномоченный Гиршгольда пристаёт к ним с ножом к горлу, требуя денег за землю.

— Пусть себе немцы ругаются между собой и с евреем, — ответил мужик. — Но я-то чем виноват, за что они меня-то хотят погубить? Через их хитрость я теперь гроша ломаного не заработаю. Мне, что же, с голоду, что ли, подышать?.. Да за что?

— Правду сказать, вы у них крепко засели в печенках, — подумав, сказал учитель.

— А что я им сделал?

— Ваша земля расположена как раз посередине земель Хаммера, а это нарушает его хозяйство, — продолжал учитель. — Это бы еще ничего, но Хаммер рассчитывал, что вы продадите ему хотя бы гору с сосной, где он хочет построить мельницу для Вильгельма.

— На что им мельница понадобилась, когда у них столько земли?

— Большой доход дает. А если не построит мельницы Хаммер, то на будущий год, наверное, построит для своего племянника Геде.

— Почему же Хаммер не строит на своей земле?

— Да у них вся земля в низине. Самая плодородная во всей колонии. Они ведь с умом выбирали, — говорил учитель, — но мельницу на ней не поставишь...

— Далась им эта мельница! — сердито перебил Слимак, стукнув кулаком по забору.

— Для них это важное дело, — понизив голос ответил учитель. — Если бы у Вильгельма Хаммера сейчас была мельница, он через две недели женился бы на дочери мельника Кнапа из Воли и взял бы за ней двадцать тысяч рублей... Двадцать тысяч рублей!.. А без этих денег Хаммеры могут обанкротиться... Потому-то вы и стали им поперек горла, — закончил учитель. — Но если вы продадите им свою землю, они и вам хорошо заплатят, и сами избавятся от неприятностей.

— Не продам, — отрезал мужик. — Я их сюда не звал и не хочу погибать ради их выгоды. Стоит мужику уйти с родной земли — тут ему и крышка...

— Беда будет, — сказал учитель, разводя руками.

— Ну и пускай. А по своей воле не стану я ради них погибать.

С этими словами Слимак простился с учителем и отправился домой; у него пропала всякая охота видеть Хаммера. Только сейчас он понял, что помириться они не могут и что выиграет тот, кто дольше вытерпит.

— На все воля божья! — решил мужик и всю дорогу шептал молитвы.

Неясное предчувствие говорило ему, что для него настают тяжелые времена.

Через несколько дней после разговора с учителем Слимака на заре разбудил Овчаж.

— Вставайте, хозяин! — запыхавшись, говорил батрак. — Вставайте да выходите скорей, у реки народу собралось видимо-невидимо.

Слимак вскочил, наскоро оделся и бегом бросился в овраг, откуда доносились какие-то голоса. С четверть часа он продирался сквозь кусты, разросшиеся в оврагах и на холмах, пока не вышел наконец на равнину. На берегу Бялки он увидел толпу рабочих с лопатами и тачками, подводы колонистов и крестьянские телеги. Среди возчиков оказался и Вишнеvский.

Слимак кинулся к нему.

— Что тут делается? — спросил он.

— Плотину будут строить, а потом мост через Бялку, — ответил Вишнеvский.

— А вы здесь зачем?

— Нас нанял Фриц Хаммер возить песок, вот мы и приехали.

Только теперь Слимак заметил в толпе обоих Хаммеров — Фрица и старика — и подошел к ним.

— Хороши соседи, — сказал он с горечью. — В деревню не поленились идти за подводами, а меня на работу не позвали...

— Переберешься в деревню, тогда и тебя будем звать, — сказал Фриц и повернулся к нему спиной.

Неподалеку, среди рабочих, стоял какой-то господин, по виду судя — начальник. Слимак приблизился к нему и, сняв шапку, начал:

— Где же тут справедливость, скажите, пан, сделайте милость: немцы-то на железной дороге богатеют, а я ломаного гроша не заработал, хотя и живу тут, рядом? Прошлый год приходили к нам в хату два пана и обещали, что я невесть сколько буду зарабатывать, когда начнут строить дорогу. Вот вы начали строить, а я еще и одров своих ни разу не вывел из конюшни. Этому немцу мало его семи влук земли, он еще и на заработок льститя. Я маюсь на своих десяти моргах, а наняться мне некуда, потому что имения у нас не стало, и я хожу словно нищий, прошу Христа ради какой-нибудь работенки. А ведь у меня жена с ребятишками, работница, батрак да кое-какая скотина. Что же, нам теперь всем подыхать с голоду, оттого что немцы против нас остервенились? Ну, где же тут справедливость, скажите, пан, сделайте милость?

Все это Слимак выпалил одним духом, не переставая кланяться в ноги.

Начальник первую минуту смотрел на него с удивлением, но скоро понял, в чем дело, и обратился с вопросом к Фрицу Хаммеру:

— Почему вы не взяли его на работу?

Фриц выступил вперед и, нагло глядя на незнакомца, ответил:

— А вы, пан, внесете за меня неустойку, если в один прекрасный день я не доставлю подвод?.. За подводы не вы отвечаете, а я. Ну, а я беру тех, в ком уверен, что меня не подведут.

Начальник губы кусал от гнева, но молчал. Потом сказал Слимаку:

— Ничем, братец, я тебе помочь не могу. Зато всякий раз, когда мне случится заехать в ваши края, ты будешь отвозить меня обратно. Много на этом не заработаешь, но все же это лучше, чем ничего. Ты где живешь?

Слимак показал ему дымок, поднимающийся за оврагом, объяснив, что это и есть его хата. А когда пан заторопился к рабочим, которые ждали его распоряжений, мужик на прощание повалился ему в ноги.

Видя, что больше ему тут нечего дожидаться, Слимак пошел домой. По дороге его остановил старик Хаммер.

— Ну что? — спросил он. — Теперь вы видите, как плохо, что вы не продали нам землю? Я знал, что вам не устоять против нас. А теперь будет еще хуже: Фриц очень сердится на вас.

— Господь бог сильнее Фрица, — ответил мужик.

— Вы подумайте, — уговаривал его Хаммер. — Я заплачу вам по семьдесят пять рублей за морг.

— Я и вдвое не возьму, — отрезал Слимак.

— Смотрите, худо вам будет: здесь, на месте, вы теперь ничего не заработаете. Вам нужно или работать в имении, или иметь много земли. За Бугом вы сможете купить не меньше двадцати моргов на те деньги, что получите у меня.

— Я за Буг не пойду. Пускай другие идут, кому там нравится.

Они расстались очень недовольные друг другом. Уже подходя к оврагу, Слимак обернулся и увидел Хаммера: с трубкой в зубах, засунув руки в карманы, старик стоял на том же месте, мрачно глядя ему вслед. Возвращаясь в колонию, Хаммер, в свою очередь, оглянулся назад и увидел на вершине холма Слимака: скрестив руки на груди, он грустно улыбался, покачивая головой.

Оба они боялись друг друга, и оба старались разгадать, что затевает другой и почему он так ожесточен.

Железнодорожная насыпь все росла, медленно подвигаясь с запада на восток. Через несколько лет по ней с быстротой птичьего полета будут изо дня в день мчаться сотни вагонов, развозя людей и товары, обогащая имущих и разоряя бедных, вознося сильных и давя слабых, распространяя моды и множа преступления, — что в совокупности именуется цивилизацией. Но Слимак не знал, что такое цивилизация, и, должно быть, поэтому одно из прекраснейших ее творений казалось ему чем-то враждебным.

Всякий раз, когда он поднимался на холм посмотреть, как идут работы, один вид железнодорожной насыпи вызывал в нем самые мрачные мысли. Этот песчаный

вал то представлялся ему высунутым языком какого-то гигантского чудовища, которое притаилось в бору, где-то на западном краю горизонта, и вот-вот приползет сюда и пожрет все его добро. То он казался ему границей, которая отрежет родную его деревню от всего мира. Работы велись уже в пяти местах по обоим берегам реки; вытянутые, словно по линейке, поднимались холмы, похожие на курганы. Слимак заметил это сходство, и ему мерещилось, что готовая насыпь, точно огромный палец, показывает одну за другой четыре могилы...

Однако постепенно промежутки между холмами заполнялись, образуя длинный песчаный вал, прямой как стрела. В любое время дня насыпь напоминала о себе: в полдень она сверкала так, что резало глаза; ночью чуть светилась, как будто фосфором начертили линию на стене.

Овчаж тоже частенько поглядывал на это чудо, и ему оно казалось нарушением установленных на свете порядков.

— Слыханное ли это дело, — говорил хромой, — насыпать в поле столько песку да еще воду зажать. Вот поднимется Бялка в половодье, нипочем не поместится в той дыре, что ей оставили.

Только теперь Слимак заметил, что концы насыпи обрываются у самой воды по обеим сторонам реки. Но поскольку берега были укреплены каменными устоями, он не видел никакой опасности, по крайней мере для себя.

— Это правильно, — соглашался Овчаж. — По ту сторону вала вода может затопить поля, а нам она ничего не сделает.

Тем не менее мужик призадумался, заметив, что Хаммеры на своем берегу поспешили соорудить насыпи во всех низменных местах, словно опасаясь, что в случае наводнения вода устремится на их поля.

«Умные швабы! — думал мужик. — Не худо бы то же самое сделать и на нашем берегу».

И Слимак размышлял о том, как после сенокоса он отгородит валом свое поле от лугов Хаммера и укрепит плетнем подножие холма, на случай если его подмоет вода. Он даже подумал, что можно бы поставить плетень уже сейчас, когда у него столько досуга, но откладывал со дня на день, и, как всегда, кончилось дело одними намерениями.

Не мог он предвидеть, как страшно будет за это наказан.

Наступил июль, сенокос окончился, в полях созревали хлеба, люди готовились к жатве. Слимак собрал сено и перетащил его к себе во двор, чтобы оно получше просохло; тот луг, который он прежде арендовал, немцы уже огородили частоколом. Лето стояло знойное, роились пчелы, засыхали нивы, больше обычного обмелела Бялка, а на железнодорожной насыпи трое рабочих умерло от солнечного удара. Старики опасались, что во время жатвы надолго зарядит

дождь, и со дня на день ждали грозы с градом, тем более что кое-где в дальних деревнях град уже выпал.

И гроза разразилась.

В тот день утро было жаркое и душное; птицы запели и сразу умолкли, свиньи не стали есть и, томясь от зноя, попрятались в тени между строениями. Порывами дул ветер, то горячий и сухой, то прохладный и влажный; поминутно меняя направление, он со всех сторон сгонял густые слоистые облака — и те, что стлались вверху и, казалось, уплывали на запад, и те, что тянулись понизу на север.

Около десяти часов большую часть неба к северу от железнодорожной насыпи заволокли тяжелые тучи; они быстро меняли окраску, из серых стали свинцовыми, а кое-где совсем черными. Казалось, где-то наверху загорелась сажа и огромные хлопья ее летают над землей, не находя места, где бы осесть. Порой толщу туч раздирало в клочья, и тогда сквозь щели пробивались полосы неверного света, падавшие на печальные, потемневшие поля. Порой туча опускалась так низко, что в ней тонули верхушки деревьев дальнего леса. Но тут же под нее подкатывал теплый ветер и с такой яростью взметал ее вверх, что от убегающих облаков отрывались лоскуты и повисали над землей рваными лохмотьями.

Вдруг за костелом показалось рыжее облачко и быстро полетело вдоль железнодорожной насыпи. Западный ветер подул сильнее, одновременно сбоку ударил южный; на насыпи, на дороге, на всех тропинках за клубилась густая пыль, а раскинувшиеся по небу тучи глухо зарокотали.

Заслышав отдаленный гул, рабочие побросали лопаты и тачки, спустились с насыпи и, выстроившись двумя длинными шеренгами, двинулись — одни к имению, другие к баракам в поле. Занятые на стройке колонисты и крестьяне, ссыпав песок с подвод, спешили разъехаться по домам. С полей гнали скот, женщины в огородах бросились прятаться под крыши, все кругом опустело.

Удары грома — один за другим — возвестили о нашествии новых полчищ; они уже захватили большую часть неба и постепенно закрывали солнце. Казалось, при виде черных, пронизанных молниями туч земля притаилась и в ужасе следит за бурей, как куропатка, когда над ней кружит ястреб. Кусты терна и можжевельника тихо шелестели, как будто предупреждая об опасности, взлетала потревоженная на дороге пыль и скрывалась в хлебах. Молодые колосья, шурша, жались друг к другу, вода в реке помутилась. Гудел дальний лес.

Между тем вверху, в насыщенной электричеством мгле, зародилась некая темная творческая сила; озирая землю, она возжаждала уподобиться предвечному и из зыбких туч сотворить твердь. Вот она вылепила остров, но не успела еще пробормотать: «Да будет так!» — откуда ни возьмись, налетел ветер — и остров развеялся, как дым. А вот воздвигла она громадную гору, но едва добралась до вершины, как ветер опять налетел и одним дуновением разрушил всю до основания. Однако властительница туч не оставила своих попыток и снова

принялась творить — тут создала она льва, там птицу; один миг — и от птицы осталось лишь оторванное крыло, а лев утратил свой образ, расплывшись темным пятном.

Тогда, видя, что острова и горы, воздвигнутые всевышним, незыблемо стоят века, а ее творения не продержались и секунду, что во всем, созданном ею, нет ни души, ни разума, ни даже сил противостоять ничтожному дуновению ветра, что все ее труды бесплодны, а все ее могущество — лишь призрак и что ей не создать ничего, — видя это, темная сила заклокотала от гнева и возжаждала предать уничтожению все живое на земле.

Среди туч, кружившихся, словно стая черных ворон, разнесся зловещий рокот. Это отдавала приказы их грозная властительница: «Видите вы, как передразнивает нас река?» В ответ небо раскололось до самой земли и в реку ударила громовая стрела. «Слышите вы, как шумит лес? Это он глумится над нами!..» Половину неба перерезала молния и ударила в лес. «Побейте эти нивы градом!.. Смойте эти горы дождем!..» И тучи, повинувшись ее повелениям, обрушились на горы и на нивы: «Ха-хо! Ха-хо-хо!..» На землю упала крупная капля, сначала одна, потом вторая, третья... сотая... тысячная... «Ха-хо! Ха-хо-хо!..» Одна градинка, вторая... сотая... Это авангард. Вихри трубят зорю, дождь барабанит, тучи воют, как спущенные со сворки псы, теснятся, напирают, сталкиваются; капля за каплей летят, обгоняют друг дружку и, наконец, слившись, хлещут ручьями с неба на землю. Солнце погасло, а дождь и град смешались и разрушают все, что им указывают блистающие молнии.

Не менее часу продолжался ливень; наконец, запыхавшись, буря захотела передохнуть, и тогда послышался шум Бялки; она уже вышла из берегов. По дорогам во всю ширину текла грязная вода, по склонам холмов журчали ручьи, луга затопило, по другую сторону насыпи разлилось озеро.

Через минуту снова потемнело, на горизонте сразу в нескольких местах засверкали молнии, дождь усилился, молния ударила в дорогу. Ветер гнал косые потоки дождя, разметывал их и рвал; мир потонул в водяной пыли.

У Сликама во время грозы все собрались в передней горнице. Овчаж зевал, сидя на краю лавки, подле него Магда баюкала завернутую в зипун сиротку, тихонько напевая: «А-а-а!..» Хозяйка, недовольная тем, что дождь погасил огонь в печке, ходила из угла в угол, а Сликама, поглядывая в окно, гадал, побьет ли ливнем его хлеба?.. Один только Ендрек был весел; он поминутно выбегал на дождь и, промокнув до нитки, со смехом влетал в хату, уговаривая Магду и Стасека идти с ним.

— Идем, Стасек! — говорил он, дергая брата за руку. — Дождь теплый — красота!.. Ну, вымокнешь, конечно, зато и весело же будет!..

— Не тронь его, — отозвался отец, — видишь, ему неможется.

— Да и сам не бегай по двору, всю хату мне затопчешь, — вмешалась мать.

В эту минуту ударил гром.

— Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его, — зашептала хозяйка.

Магда перекрестилась. Овчаж протер глаза, но снова задремал, а Слимак буркнул:

— Где-то близко...

Ендрек, ухмыляясь, прислушивался к раскатам грома.

— Вот так грохочет!.. Ух, а сейчас-то как!.. — кричал он. — Ежели из десяти ружей сразу выпалить, и то бы такого грохоту не было! Ничего себе, разошелся господь бог...

— Молчи, дурень, — рассердилась мать, — смотри, еще в тебя ударит...

— А пусть, — хвастливо ответил мальчик. — Вот возьмут меня в солдаты, там еще того пуще будут стрелять, и то мне ничего не сделается.

И он опять выскочил из дому, чтобы через минуту вернуться мокрым с головы до пят.

— Этот щенок ничего не боится, — говорила повеселевшая мать, поглядывая на мужа.

Слимак пожал плечами.

— Что ж, он баба, что ли?..

Овчаж дремал, время от времени машинально отгоняя мух. На дворе по-прежнему лил дождь, гром не переставая гремел, молнии вспыхивали сразу по всему небу.

Среди этих людей со стальными нервами, где один думал о своем урожае, другой спал, а третий радовался непогоде, оказался ребенок, который всем своим существом ощущал мрачную мощь разбушевавшейся стихии. Это был Стасек, деревенский мальчик, непонятно почему болезненно впечатлительный.

Он, как птицы, предчувствовал бурю и, охваченный тревогой, с утра уже не находил себе места. При виде надвигающихся туч ему мерещился какой-то сговор между ними, и он старался разгадать их злобные замыслы. Он ощущал боль прибитой дождем травы и вздрагивал, представляя себе, как должно быть холодно земле, затопленной водой. Воздух, насыщенный электричеством, покалывал все его тело, молнии обжигали глаза, а каждый удар грома словно поражал его в голову и в сердце.

Стасек не боялся грозы, но страдал от нее и, страдая, размышлял: почему и откуда так много страшного на свете?

Ему было плохо. Время от времени он закрывал глаза, чтобы не видеть молний, но тогда ему казалось, что он видит молнии внутри себя, и ему становилось невыносимо страшно. Иногда он затыкал уши, чтобы не слышать грома, но это было бесполезно при его обострившемся слухе. И он слонялся как потерянный из горницы в боковушку, а из боковушки опять в горницу; то глядел в окно, то

ложился на лавку или ни с того ни с сего вдруг открывал дверь в сени. Ему было плохо, плохо везде, но особенно здесь, где никто даже не смотрел на него.

Хотел он поговорить с Овчажем, но Овчаж спал. Спросил о чем-то Магду, но она баюкала сиротку и ей было не до него. Он взглянул на Ендрека — тот сразу же захотел вытащить его на дождь. Разбитый, измученный, он прижался к матери, но мать сердилась, что дождь ей залил огонь, и с раздражением оттолкнула его.

— Отвяжись ты от меня! Буду я с тобой нянчиться, когда у меня обед пропал...

Стасек снова пошел в боковушку и прикорнул на сундуке, но на голых досках было жестко лежать. Он встал, вернулся в горницу и облокотился на колени отца.

— Тятя, — тихо спросил он, показывая на ливень за окном, — отчего оно такое злое?

— Да кто ж его знает!

— Это господь бог делает бурю?

— Он, а то кто же?

Мальчик обхватил его за ноги: так ему было чуточку легче и спокойнее, но как раз в эту минуту отец уселся поудобнее и невольно оттолкнул Стасека.

Отвергнутый всеми, он заметил Бурека и полез к нему под лавку. Собака сильно промокла, но мальчик прижался к ней головой и обнял обеими руками.

К несчастью, это увидела мать.

— Вы поглядите только, — закричала она, — что этот малый сегодня вытворяет! А ну, отойди от собаки; не то смотри, тебя еще громом убьет!.. Бурек, пошел прочь, пошел в сени!..

Собака, видя, что хозяйка ищет полено, поджала хвост и скорей прошмыгнула в дверь, а Стасек в хате, полной народу, снова остался совсем один, один со своей тревогой. Наконец мать заметила, что мальчику не по себе, но подумала, что он проголодался, и дала ему краюшку хлеба. Стасек взял хлеб, откусил кусочек, но есть не стал и вдруг заплакал.

— Господи боже мой, да что с тобой, Стасек? — крикнула мать. — Боишься ты, что ли?..

— Нет.

— Так чего ж ты нюни распустил?

— Томит меня что-то, — прошептал мальчик, показывая рукой на грудь.

Слимак, которого мучила тревога за урожай, погладил сына по голове и сказал:

— Ну, не горюй, не горюй... Хоть бы и вздумалось господу богу погубить наш хлеб, авось не помрем с голоду. — И, обернувшись к жене, прибавил: — Он хоть и меньшей, да умней вас всех: вон как убивается о хозяйстве.

Буря понемногу затихла, и внимание Сликака привлек необычайный шум, доносившийся с реки. Мужик поспешно разулся и поднялся с лавки.

— Ты куда? — спросила жена.

— Пойду погляжу, — ответил он, — что-то там неладно.

Он вышел и через несколько минут, запыхавшись, вернулся в хату.

— Ну что, а ведь угадал я! — крикнул он с порога.

— Хлеб у нас побило?.. — в испуге спросила жена.

— Хлеб только тронуло, — ответил он, — а вот у дорожников плотину прорвало...

— Господи Иисусе!..

— Вода так и хлещет, затопила весь луг, подступает уже к нашему двору... Да еще эти прохвосты немцы поставили на своем берегу запруду, так у нас в горе выело яму.

— Господи помилуй!.. И велика яма-то?

— Не очень велика, а с две печки будет. И то жалко.

— В конюшню вы не заглядывали? — спросил Овчаж.

— А как же? В конюшне — вода, в закуте — вода, в сенях у нас и то полно воды. Дождь уже проходит, небо прояснилось. Воду надо вычерпать, а то как бы скотина не захворала.

— Сено смотрел?

— Все вымокло, но, пошлет бог ведро, высохнет.

— Магда, растапливай печку!.. — распорядилась хозяйка. — Ендрек, бери ковш и лоханку, вычерпывай воду в сенях, а вы с Овчажем бегите к скотине. Найденка пусть тут останется, на лавке.

— Дай ключ от сарая, — сказал Сликак, — я возьму черпаки.

Когда солнце выглянуло из-за туч, весь дом Сликака был в движении. В печке пылал огонь, хозяйка с Магдой и Ендрекком вычерпывали воду в сенях, а хозяин с батраком выплескивали ковшами воду из конюшни.

В это время по другую сторону реки собралась толпа немцев. Они заметили плывущие по реке дрова и решили их выловить. Вооружившись длинными шестами и засучив штаны до колен, они шли вброд, осторожно подвигаясь к середине реки.

Когда буря стала затихать, Стасек понемногу успокоился. У него уже не разламывалась голова, не покалывало руки, не бегали мурашки по телу. Время от времени ему еще казалось, что гремит; он напрягал слух: нет, не гром. Это отец с Овчажем вычерпывают воду в конюшне и стучат ковшами о порог.

В сенях тоже шум, беготня; это Ендрек, бросив черпать воду, поднял возню с Магдой.

— Ендрек, тебе говорят, уймись! — кричит мать. — Вот попадетсЯ мне что-нибудь под руку, я тебе наставлю синяков.

Но Ендрек еще пуще хохочет, да и по голосу матери слышно, что она хоть и сердится, а веселая.

Стасек приободрился. Что, если выглянуть во двор? Только... вдруг он опять увидит над хатой такую же страшную тучу, как перед грозой?.. Э, чего там!.. Он приоткрыл дверь, высунул голову и вместо тучи увидел небесную лазурь; изодранные облака неслись куда-то на восток, за горы и леса. Из сарая вышел петух, захлопал крыльями и закукарекал; словно в ответ ему, из-за хаты вдруг выглянуло солнце. На кустах, на нивах, в траве засверкали капли, словно стеклянные бусинки; в темные сени упали золотые полосы, в черных лужах отражалось ясное небо.

Стасека охватило беспричинное веселье. Он выскочил во двор и стал бегать по лужам, радуясь, что из-под ног его снопами летят радужные брызги. Потом, увидев обломок доски, он бросил его в лужу и, встав на своем плоту с палкой в руке, воображал, что плывет.

— Ендрек, поди сюда! — позвал он брата.

— Не смей ходить, пока воду не вычерпаешь! — крикнула мать.

Между тем по другую сторону реки немцы продолжали вылавливать дрова. Когда им удавалось вытащить полено покрупней, они громко смеялись и кричали «ура!». А когда сразу подплыло несколько поленьев, они пришли в такой восторг, что даже хором запели:

Es braust ein Ruf, wie Donnerhall.
Wie Schwertgeklirr und Wogenprall:
Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein,
Wer will des Stromes Huter sein!
Lieb Vaterland, magst ruhig sein,
Lieb Vaterland, magst ruhig sein;
Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein!
Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein!..
Нарастает зов, как раскат грома,
Как лязг меча, как шум волны:
На Рейн, на Рейн, на немецкий Рейн,
Всяк, кто хочет быть его стражем!
Милая родина, ты можешь быть спокойна,
Милая родина, ты можешь быть спокойна;
Стойка и преданна стража на Рейне!
Стойка и преданна стража на Рейне!..

Стасек соскочил со своей доски. Он был необыкновенно чувствителен к музыке и тут впервые в жизни услышал пение большого мужского хора. Опьянев от радости и яркого солнца, он был как во сне. В эту минуту он не помнил, ни где он, ни кто он, и только слушал, замирая от сладостного волнения.

После короткой паузы, прерывавшейся смехом и всплеском воды, немцы снова запели.

Durch Hundert tausend zuckt es schnell,
Und Aller Augen blitzen hell,
Der Deutsche bieder, fromm und stark,
Beschutzt die heil' ge Landes Mark
Точно ток проходит чрез сотни тысяч человек,
И глаза у всех блестят,
Немец честный сильный и благочестивый
Охраняет святую нашу землю.
Lieb Vaterland, magst ruhig sein.
Lieb Vaterland, magst ruhig sein;
Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein!
Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein!..

Стасек не слышал слов, не понимал мелодии; он только ощущал мощь человеческих голосов. Ему чудилось, что из-за холмов и из-за реки набегают какие-то волны, обнимают его невидимыми руками и, лаская, тянут за собой. Он хотел сбегать домой, позвать Ендрека, но не мог даже повернуть голову.

Ему не хотелось двигаться с места, но что-то толкало его вперед. И он пошел, как замороженный, сначала медленно, потом все быстрее, наконец пустился бежать и исчез за холмом.

А голоса на другом берегу продолжали петь:

Er blickt hinauf in Himmelsau'n,
Die Heldenvater niedershau'n,
Und schwort mit stolzer Kampfeslust:
Du, Rhein, bleibst deutsch, wie meine Brus!..
Он смотрит кверху на небесный свод,
Оттуда взирают его, героя, предки,
И клянется с горделивым вызовом:
Ты, Рейн, останешься немецким, как мое сердце!..
Lieb Vaterland, magst ruhig sein,
Lieb Vaterland, magst ruhig sein...

Вдруг пение оборвалось и раздались крики:

— Держись!.. Держись!..

Слимак и Овчаж давно прекратили работу в конюшне и с ковшами в руках прислушивались к пению немцев. Внезапная тишина и последовавшие за ней крики удивили их, а батрака словно что-то ударило.

— Сбегайте-ка туда, хозяин, — сказал он, положив черпак, — чего это они орут?..

— Э... Мало ли что им в голову взбредет, — ответил Слимак.

— Держись! — кричали за рекой.

— А все-таки сбегайте, — настаивал батрак, — мне-то с моей ногой не поспеть, а там что-то неладно...

Слимак бросился к реке, за ним заковылял Овчаж. Когда он поднимался на холм, его догнал Ендрек и спросил:

— Что там приключилось? Где Стасек?

До ушей Овчажа издали донеслись какие-то слова. Он остановился и услышал чей-то голос с того берега:

— Так-то вы за детьми смотрите... Польские скоты!..

Вдруг на склоне холма показался Слимак: он нес Стасека. Голова мальчика лежала на плече отца, правая рука безжизненно повисла. С обоих стекала грязная вода.

У Стасека посинели губы, глаза были широко раскрыты. Ендрек, скользя по грязи, загородил дорогу отцу.

— Что это со Стасеком, тятя? — вскрикнул он в испуге.

— Утоп, — ответил отец.

Сжимая кулаки, Ендрек подступил к отцу.

— С ума вы, что ли, спятили? — крикнул он. — Да он же сидит у вас на руках...

Ендрек дернул Стасека за рубашку. Голова мальчика запрокинулась назад и свесилась через плечо отца.

— Говорю тебе, утоп... — прошептал Слимак.

— Что вы болтаете! — вскрикнул Ендрек. — Да он только что был во дворе!..

Отец не отвечал. Он снова положил на плечо себе голову Стасека и, поминутно спотыкаясь, двинулся к хате.

У порога стояла Слимакова. В одной руке она держала лоханку, другой прикрывала глаза от солнца, стараясь разглядеть, кто идет.

— Ну, чего вы там набедокурили? — закричала она. — Что? Опять на Стасека нашло?.. Наказание с этими швабами и их бесовскими молебствиями!.. Опять на ребенка нашло...

Подбежав к мужу, она приподняла голову Стасека и заговорила дрожащим, срывающимся голосом:

— Сынок, Стасек... Да что ты глаза закатываешь... Ну, Стасек... очнись... погляди на меня... Я тебя не трону... Магда, дай воды!..

— Хватит с него воды, — пробормотал Слимак, не спуская сына с рук.

Женщина отшатнулась.

— Что это?.. — спросила она с нарастающим ужасом. — Отчего он весь мокрый?

— Сейчас из воды его вытащил...

— Как изводы?.. — вскричала женщина. — Из реки?

— Из ямы под горой, — ответил мужик. — Воды там всего-то по пояс, да ему много ли надо...

— Упал! В воду упал! — простонала мать, хватаясь за голову. — Что ж ты его держишь на руках?.. Утоп, так надо откачивать. Мацек!.. Бери его за ноги... Переверните его... Ох, дурачье мужики!.. Рохли вы!..

Но батрак не шевелился. Тогда она сама схватила ребенка за ноги и вырвала у отца. Стасек повис вниз головой, руки его тяжело ударились о землю, из носу потекла кровь.

Наконец, Овчаж выхватил у нее ребенка и, прижав к себе, понес в хату, на лавку. За ним пошли все, кроме Магды. Как помешанная она закружилась по двору и вдруг, вскинув руки, побежала по дороге, громко заголосив:

— Спасите!.. Стасека спасите!.. Кто в бога верует!..

Потом снова повернула к хате, но не вошла, а бросилась на завалинку и, съездившись так, что голова ее уткнулась в колени, судорожно зарыдала:

— Спасите!.. Кто в бога...

Тем временем Слимак бросился в клеть, достал зипун, надел его и снова выскочил из хаты. Он хотел куда-то бежать, но не знал куда и метался по двору, размахивая руками.

Какой-то голос внутри его кричал: «Эх, отец, отец, огородил бы ты свою гору плетнем, не утонул бы мальчонка...»

А мужик отвечал: «Не моя тут вина!.. Это немцы околдовали его своими песнями...»

На дороге затарахтела телега. На минутку она остановилась у ворот и проехала дальше. Из-за угла слышались чьи-то тяжелые шаги и кашель: во двор вошел учитель с палкой в руке, без шапки.

— Ну, как мальчик? — крикнул он Слимаку.

Не дождавшись ответа, он вошел в хату.

— Как мальчик? — спросил он еще с порога.

Стасек лежал на лавке; мать сидела подле него положив его голову к себе на колени.

— Видать, маленько отпустило, раз кровь пошла, — ответила она шепотом. — Да и не такой он уж теперь холодный...

— Так как же? — повторил вопрос учитель, тронув за руку Овчажа.

— Кто его знает?.. — тихо промолвил батрак. — Она говорит, будто ему лучше, а малый как лежал, не двигался, так и лежит.

Учитель бросил палку в угол и приблизился к лавке.

— Дай мне гусиное перо... — приказал он Ендреку. Тот опешил и, не отвечая, пожал плечами.

— Ну, соломинку, что ли, или трубочку...

— Нет у меня никакой трубочки, — проворчал Ендрек.

Учитель осмотрел Стасека и велел матери встать. Всклипывая, она покорно отошла на середину горницы и, разинув рот, уставилась на учителя. Старик выдвинул лавку, снял со Стасека мокрую рубашку и с трудом вытянул изо рта его язык.

— Господи Иисусе! Что это он делает... — пробормотала мать.

Слимак время от времени заглядывал со двора в окошко и поскорей отходил, — он был не в силах смотреть на бледное тело сына.

Между тем учитель уложил руки Стасека вдоль бедер, затем поднял их кверху, завел за голову и снова прижал к бедрам. Опять поднял, опять опустил и так поднимал их и опускал без конца, чтобы вызвать у ребенка дыхание. Слимак через окошко следил за его движениями; Ендрек, словно остолбенев, застыл у печки; мать всклипывала. Наконец, не совладав с собой, она сорвала платок и, схватившись за волосы, стала биться головой о стену, причитая:

— И зачем я тебя народила!.. И зачем ты на свет явился?.. Сыночек мой золотой... Сколько он хворал, мучился, а тут — надо же случиться беде — утонул!.. Только что был в хате... все его видели, и — надо же случиться беде — утонул!.. Господи милостивый, за что ты меня караешь? Подумать только, в глиняной яме, как щенок, потонул ребенок, и хоть бы кто его вытащил, хоть бы кто его спас!

Она опустилась у стены на колени и причитала душераздирающим голосом.

С полчаса бился учитель, пытаясь откачать Стасека. Он поднимал и опускал ему руки, надавливал грудь и слушал, не забьется ли сердце. Но мальчик не подавал признаков жизни. Наконец, убедившись, что ему ничем уже нельзя помочь, старый учитель накрыл останки ребенка рядом, перекрестился, прошептал молитву и вышел из хаты. Вслед за ним молча выскользнул Овчаж.

Во дворе учителя остановил Слимак. Он был точно пьяный.

— Зачем вы пришли сюда? — заговорил он сдавленным голосом. — Мало вам моего горя?.. Убили уже моего сыночка своими песнями; чего вам еще надо?.. Душу его погубить, пока она не улетела на тот свет, или нас, живых, хотите проклясть, чтобы мы тоже сгинули?

— Что вы говорите, Слимак? — вскричал учитель, с ужасом глядя на него. Слимак, вскинув руки, замотал головой, словно ему нечем было дышать.

— Не сердитесь, пан, — сказал он. — Вы добрый человек, я знаю. Спаси вас господь за все...

И он вдруг поцеловал учителю руку.

— Только вы... ступайте отсюда... Это через вас, немцев, пропал мой Стасек! Первый раз, как околдовали вы Стасека, он только сомлел, а нынче такое напустили на него, что он вовсе утонул.

— Побойся бога! — воскликнул учитель. — Что ты говоришь? Разве мы не такие же христиане, как ты? Или мы не отрещиваемся от дьявола и его дел, подобно вам?..

Мужик смотрел ему в лицо безумным взглядом.

— Как же он утонул?

— Может, споткнулся. Кто знает...

— Яма мелкая, воды в ней мало, он бы выскочил... А от ваших песен на него помрачение нашло. Второй уже раз на него нашло... Верно, Овчаж?

Овчаж кивнул головой.

— А не бывало у мальчика судорог? — спросил учитель.

— Нет.

— И никогда он ничем не болел?

— Сроду не болел!

Овчаж покачал головой.

— С самой зимы Стасек хворал, — вдруг произнес он.

— Разве? — спросил Слимак.

— Верно говорю, — продолжал Овчаж. — С самой зимы, как простыл, — еще он тогда целую неделю пролежал, — так с тех пор и хворал. Пробежит, бывало, шагов сто, и уж он устал и сейчас говорит: «Мацек, душит меня!..» А нынче весной взбежал он как-то на гору, когда я пахал, и тут же сомлел... Пришлось мне на реку сходить за водой, чтоб скорей он очнулся. То же самое, когда немцы место себе выбирали для дома, — рассказывал Овчаж, — не от пения их Стасек сомлел, а оттого, что чересчур быстро поднялся на гору и устал...

— Что же ты мне ничего не говорил? — прервал его Слимак.

— Сказывал я хозяйке, а она так и вскинулась на меня: «Что ты, говорит, смыслишь?.. Всю жизнь ходил за скотиной, дурак дураком остался, а туда же: толкует, будто фельдшер...»

— Вот видите, — сказал учитель. — У мальчика, несомненно, было больное сердце, и это погубило его, бедняжку. Куда бы он ни упал — в воду или на землю, — все равно он бы умер, если остановилось сердце. И ни мы, ни наши молитвы христианские в смерти его не повинны.

Слимак внимательно слушал и понемногу приходил в себя.

— Кто его знает, — бормотал он, — может, и правда, помер Стасек своей смертью...

Он постучал в окно и кликнул жену. Через минуту Слимакова показалась на пороге.

— Чего? — спросила она, вытирая глаза, опухшие от слез.

— Ты как же мне ничего не сказала, что Стасек с зимы хворал? Чуть побежит, устанет, запыхается и сейчас сомлеет?

— Ох, хворал, — подтвердила мать, — да ты-то чем бы ему помог?

— Помочь не помог бы, да, стало быть, не миновать ему было помереть?!

Мать тихо заплакала.

— Ох, не миновать, — всхлипывая, проговорила она, — так ли, этак ли, все равно бы он помер. А нынче в грозу чуял он, бедняжка, беду: все бродил по хате сам не свой и ко всем жался... Кабы я взяла это в толк, не выпустила бы его из хаты... В погреб заперла бы его... Так бы и ходила за ним, куда бы он ни ступил...

— Он бы и в хате умер, если бы пришел его час, — заметил учитель.

— Правильно, — вздохнул Слимак, — кого господь призовет, того уж родной отец с матерью не удержат...

Учитель ушел, а опечаленные родители остались с Овчажем во дворе, вздыхая и плача. В душе они уже покорились судьбе и теперь толковали о том, что без воли божьей даже у малого ребенка волос с головы не упадет.

— Зверю лесному и то ничего не сделается без воли божьей, — говорил Слимак. — В иного зайца сколько раз из ружей палят, собаками его травят, а он уходит целехонек, ежели господу богу так вздумается. А пробьет его час, он и в чистом поле пропадет. Самая захудалая дворняга его поймает или пастух камнем угодит ему в башку — и будь здоров!

— Или взять хоть меня, — откликнулся Овчаж. — И воз с дровами меня придавил, и в больницу меня свезли, и работу я не мог найти, а все живу, покуда не пробил мой час. А как придет, спрячусь я хоть в алтаре, все равно мне погибать.

— И не только тебе, — прибавил Слимак. — Будь тут хоть какой важный барин, будь хоть какой богач, запишись он хоть в каменном дворце с железными ставнями, а придет его час, не миновать ему помереть. Так вот и Стасек.

— Сыночек ты мой!.. Радость ты моя!.. — заголосила мать.

— Ну, большой радости от него ждать не приходилось, — сказал Слимак. — За скотиной ходить и то ему было неважно.

— Ох, неважно, — подтвердил Овчаж.

— Да и за плугом он не пошел бы...

— Ох, не пошел бы...

— Мужик он был бы никудашный...

— Именно никудашный. Ни силы у него, ни здоровья.

— Такой уж он был особенный ребенок, — заметил Слимак. — Не лежала у него душа к хозяйству, только бы ему бродить по оврагам да сидеть на бережку, смотреть в воду да думу думать...

— А то он еще с собой начнет разговаривать, — вспоминал Овчаж, — да с птицами или с травой. Я сколько раз слышал, — вздохнул Мацек. — Бывало, скажешь ему: «Ох, не жилец ты на белом свете!.. Среди панов вышел бы ты в люди, всем на диво бы вышел, а среди мужиков не выжить тебе, бедняжке...»

Так толковали мужики о неисповедимых путях господних. Уже село солнце, когда хозяйка вынесла на крыльцо кринку простокваши и краюху хлеба, однако есть никто не захотел. Ендрек первый, едва проглотив кусок, заплакал и убежал в овраги. Слимак и смотреть не стал на еду. Даже Овчаж ни к чему не притронулся и побрел к себе в конюшню, бормоча:

— Боже мой! Этаким барин, этаким помещик!.. Пять моргов земли отписали бы ему отец с матерью, и надо же случиться — утонул!.. А я?..

Вечером Слимак перенес Стасека на кровать в боковушку. Мать закрыла ему глаза двумя пятаками и засветила лампадку перед божьей матерью. Слимак с женой, Ендрек и Магда — все вповалку улеглись на полу в горнице, но уснуть не могли. Бурек выл всю ночь напролет. Магду лихорадило, Ендрек то и дело поднимался с соломы и заглядывал в боковушку: ему все чудилось, что Стасек очнулся и шевелится.

Но Стасек не шевелился.

Чуть свет Слимак принялся мастерить гробик. Работал весь день: пилил доски, стругал, сколачивал — и так у него ладилось дело, что он даже ухмыльнулся от удовольствия. Но как вспомнил, для чего он столярничает, такая тоска его взяла, что он бросил работу и убежал из дому, не зная, куда деваться.

На третий день Овчаж запряг лошадей в телегу, поставил на нее гробик с телом Стасека и медленно двинулся к костелу. За телегой шли Слимак с женой и с

Магдой, а впереди всех Ендрек. Придерживая гроб, чтобы не качало, он прислушивался: не очнется ли его любимый братик, не откликнется ли? Он даже несколько раз к нему постучался.

Но Стасек молчал. Он молчал, когда подъехали к костелу и ксендз окропил его святой водой. Молчал, когда его свезли на погост и гроб поставили наземь. Молчал, когда родной отец, помогая старику могильщику, копал могилку, а мать и Ендрек плакали, прощаясь с ним в последний раз. Он молчал и тогда, когда тяжелые комья земли посыпались на его гробик...

Даже Овчаж обливался слезами. И лишь Слимак стоял, отвернувшись и прикрыв лицо зипуном; словно римский сенатор, он не хотел, чтобы другие видели, как он плачет.

В эту минуту что-то снова шепнуло ему и ударило в сердце: «Эх, отец, отец! Огородил бы ты свою гору плетнем, не утонул бы мальчонка...»

Но Слимак отвечал себе: «Не моя тут вина: суждено ему было умереть, он и умер, когда пришел его час...»

IX

Наступила осень. Там, где недавно золотились нивы, грустно серело жнивье; в оврагах краснели кусты; аисты, гнездившиеся на овинах, улетели далеко на юг.

В лесу, если где еще лес стоял не тронутый, редко, бывало, увидишь птицу; в поле тоже — ни души, только кое-где, на немецкой стороне, бабы в синих юбках выкапывали последнюю картошку. Даже на железной дороге закончились главные работы. Насыпь уже возвели, рабочие с тачками и лопатами разбрелись кто куда, а вместо них появились паровозы, подвозившие рельсы и шпалы.

Вначале на западном краю насыпи виден был только черный, как из винокурни, дым, через несколько дней между желтых холмов показалась труба, а немного позднее — та же труба, но насаженная на огромный котел.

Котел на колесах катился без лошадей, да еще тащил за собой чуть не двадцать возов, груженных лесом, железом и людьми. Там, где он останавливался, люди соскакивали на землю, укладывали на насыпи бревна, приколачивали к ним рельсы, и котел ехал дальше.

Овчаж изо дня в день присматривался к этим маневрам и, наконец, сказал Слимаку:

— Вот это ловко!.. Покуда катят с горы, пускают груз без лошадей. Оно и правильно: к чему гонять зря скотину, раз придумали такое средство?

Но однажды котел с вереницей возов остановился против оврага. Люди сбрасывали рельсы и шпалы, а он стоял, пыхтел и пускал дым. Простоял не меньше часу, и не меньше часу Овчаж смотрел на него, раздумывая, как же они теперь сдвинут его с места?

Вдруг, к величайшему изумлению батрака, паровоз пронзительно свистнул и вместе с возами пошел назад, без чьей-либо помощи. Лишь теперь, словно сквозь туман, Мацек вспомнил, как когда-то галицийские косари рассказывали ему о машине, которая сама ходит. Еще пропили тогда его кровные деньги, на которые он собирался купить сапоги.

— И верно, сама она ходит, но зато уж и тащится, как старуха Собесская, — утешал себя Овчаж.

В душе, однако, он сильно опасался, что все эти заграничные фокусы не кончатся добром для их округа.

И хотя рассуждал он неправильно, опасения его сбылись: вместе с появлением первого паровоза в округе началось воровство, о котором прежде тут и не слыхивали.

От горшков, сушившихся на плетне, и запасных колес во дворе — все, вплоть до птицы в курятниках и лошадей в конюшнях, стало вдруг исчезать. У колониста Геде из клетки утащили ломоть свиного сала; Мартинчака, когда он навеселе возвращался с исповеди, какие-то люди с вымазанными сажей физиономиями сбросили с телеги, сами сели в нее и уехали, должно быть прямо в пекло. Не пощадили воры даже бедного портняжку Йойну Недопежа: напали на него в лесу и вырвали кровных три рубля.

Слимаку первый паровоз тоже не принес ничего хорошего. Корма для скотины нельзя было достать; в то же время никто не брал у него зерно, в погребе стояло в кадушках и горкло непроданное масло, а птицу ели они сами, потому что на нее тоже не находилось покупателей. Всю деревенскую торговлю с местечком и с железной дорогой захватили в свои руки немцы; у крестьян никто и смотреть не хотел ни зерно, ни молочные продукты.

Слимак сидел в хате, ничего не делая (да и негде было работать, когда не стало имения), располагался у печки, курил трубку, и думал: всегда ли так трудно будет с сеном? Неужели так и не зайдет к нему ни один торговец за зерном, яйцами и маслом? Неужели никогда не кончится воровство? А тем временем, пока он со всей обстоятельностью обсуждал эти вопросы, немцы разъезжали по всей округе и продавали свои продукты. Воры тоже продолжали обкрадывать всех, кто только не держал ухо востро или не заводил надежных замков на амбарах и сараях.

— Ой, не к добру идет! — говорила Слимакова.

— Э-э, как-нибудь образуется, — отвечал ей муж.

О бедном Стасеке понемногу стали забывать. Только изредка мать положит на стол лишнюю ложку к обеду и, опомнясь, утрет фартуком слезы; а то Магда, клича Ендрека, впопыхах назовет его Стасеком; или Бурек вдруг начнет бегать по всему двору, как будто ищет кого-то, а не найдя, припадет мордой к земле и завоет. Но с каждым днем это случалось все реже.

Ендрек сильнее всех ощущал смерть брата. Он не любил теперь сидеть дома и, если не было работы, шатался по полям. Иной раз забредет в колонию, к старому учителю, и там из любопытства заглянет в книгу. Он и раньше знал многие буквы, так что учитель без труда обучил его остальным, а когда прошел всю азбуку, дочери учителя вздумалось научить его читать. И паренек, запинаясь, читал, подчас нарочно ошибаясь, чтобы она его поправила, или вдруг забывал буквы, чтобы она, склонившись над книжкой, коснулась его плечом.

Когда Ендрек принес букварь домой и показал все, что он знает, Сливакова на радостях послала дочке учителя двух кур и три десятка яиц, а Слимак, повстречав учителя, пообещал дать ему пять рублей, если Ендрек будет читать молитвы, и прибавить еще десять, если мальчик научится писать. С наступлением осени Ендрек стал бывать в колонии ежедневно, а то и по нескольку раз в день: он или учил уроки, или смотрел в окошко на дочку учителя, прислушиваясь к ее голосу, что немало сердило одного из батраков, племянника Хаммера.

Раньше, когда жизнь шла спокойно, родители, вероятно, обратили бы внимание на частые отлучки Ендрека, но сейчас они были поглощены другим. С каждым днем они все больше убеждались, что сена у них мало, а коров много... Никто не высказывал своих мыслей вслух, но все в доме только об этом и думали. Думала хозяйка, видя в подойнике все меньше и меньше молока; думала Магда и, чуя недоброе, ласкала своих любимиц; думал и Овчаж, отрывая у своих лошадок охапку сена, чтобы подкинуть ее коровам. Но больше всех, должно быть, думал Слимак: он подолгу простаивал возле закута и вздыхал.

Так надвигалась беда среди общего молчания, которое ненароком нарушил сам Слимак. Однажды ночью он вдруг вскочил и уселся на постели.

— Что ты, Юзек?.. — спросила его жена.

— Ох!.. Приснилось мне, что у нас совсем нету сена и вся скотина передохла.

— Во имя отца и сына... Типун тебе на язык!..

— Нет, не хватит нам сена на пять голов, ничего не поделаешь, — сказал мужик. — Я и так и сяк прикидываю все понапрасну.

— Что же ты будешь делать?

— Кто его знает?

— А может...

— Придется одну продать, — докончил мужик.

Слово было сказано. Дня через два Слимак зайдя в корчму за водкой, намекнул Иоселю насчет коровы; и уже в понедельник к нему явились два мясника из местечка.

Сливакова — та и говорить с ними не захотела, а Магда расплакалась. Пришлось выйти во двор Слимаку.

— Ну, как, хозяин? — начал один из мясников. — Вы хотите продать корову?

— Да кто его знает...

— Это которая? Покажите-ка.

Слимак молчал; тогда отозвался Овчаж:

— Уж ежели продавать, так Лысую...

— Приведите ее, — настаивал мясник.

Мацек пошел в закут и через минуту привел злосчастную корову. Она, казалось, была удивлена, что ее вывели во двор в необычное время.

Мясники осмотрели Лысую и, посоветовавшись о чем-то, спросили цену.

— Кто ее знает... — отвечал Слимак.

— Чего тут много толковать? Сами видите, корова старая. Пятнадцать рублей дадим.

Слимак снова умолк, и снова его выручил Овчаж, начав торговаться с мясниками. Евреи божились, тянули и дергали корову во все стороны и, наконец, перессорившись друг с другом, дали восемнадцать рублей. Один накинул веревку на рога, другой хватил ее палкой по спине — и в путь...

Корова, видимо, почуяла кровавую развязку и не хотела двинуться с места. Сначала она повернула к закуту, но мясники потащили ее к воротам; тогда она заревела так жалостно, что Овчаж побледнел, и, наконец, уперлась всеми четырьмя ногами в землю, с тоскою глядя на хозяина выкатившимися от ужаса глазами.

Из хаты донесся плач Магды, хозяйка не решилась даже выглянуть во двор, а Слимаку при виде задыхающейся, загнанной коровы чудилось, будто она шепчет:

«Хозяин, хозяин, гляньте-ка, что со мной делают эти евреи... Уводят меня отсюда, на убой гонят!.. Шесть лет я у вас прожила, и все, что вы хотели, делала вам на совесть. Так теперь вы вступитесь за меня, спасите от гибели!.. Хозяин... Хозяин!..»

Слимак молчал. Поняв, что ее ничто не спасет, корова в последний раз оглянулась на свой закут и побрела за ворота.

Когда она, шлепая по грязи, поплелась по дороге к местечку, за ней потащился и Слимак. Он шел в отдалении, сжимая в кулаке деньги, и думал:

«Стал бы я тебя продавать, кормилица ты наша, благодетельница, кабы не боялся пущей беды?.. Не я виноват в твоей гибели. Господь бог прогневался на нас и одного за другим посылает на смерть».

Время от времени корова, словно не веря самой себе, оглядывалась назад, на свой двор. И Слимак снова шел за ней следом, все еще колеблясь в душе: не отдать ли евреям деньги и не забрать ли скотину? Он спас бы ее, даже доплатил бы, если бы в эту минуту кто-нибудь предложил ему сена на зиму.

На мосту мужик остановился и, опершись на перила, тупо уставился на воду. Ох, неладно что-то у него на хуторе!.. Работы нет, хлеб никто не покупает, летом умер его сын, осенью погибает скотина; что-то принесет зима?

И снова в голове у него промелькнуло:

«Сейчас еще можно воротить беднягу!.. К вечеру уже будет поздно».

Вдруг позади себя он услышал голос старика Хаммера:

— Вы не к нам идете, хозяин?

— Пошел бы я к вам, — сказал Слимак, — кабы вы продали мне сена.

— Тут сено не поможет, — проговорил старик, не вынимая трубки изо рта, — все равно мужику не устоять против колонистов. Продайте мне свою землю: и вам будет лучше и мне...

— Не.

— По сто рублей дам за морг!..

Слимак руками развел от удивления и, покачав головой, сказал:

— Да что вы, пан Хаммер! Бес вас, что ли, попутал? Мне и без того тошно, что по вашей милости пришлось скотину продать, а вы еще хотите, чтоб я все свое добро вам продал! Да я на пороге у себя помру, ежели мне придется уходить из хаты, а коли выйду за ворота, так прямо и везите меня на погост. Для вас, немцев, перебираться с места на место ничего не стоит: такой уж вы бродяжный народ — нынче тут, завтра там. А мужик — он тут осел навек, как камень у дороги. Я здесь каждый уголок на память знаю, любым лазом впотьмах пройду, каждый комок землицы своей рукой перетрогал, а вы говорите: «Продай да уходи на все четыре стороны!» Куда я пойду? Да я за костел заеду и то, как слепой, тычусь, и боязно мне, что все вроде кругом чужое. Гляну на лес — не такой он, как дома; гляну на куст — такого я у нас не видал; земля будто тоже другая, да и солнце у нас всходит и заходит по-иному... А что я буду делать с женой да с парнишкой, если придется мне отсюда уходить? Что я отвечу, если заступят мне дорогу отец с матерью и скажут: «Побойся бога, Юзек, где же мы тебя найдем, коли нас станут допекать на том свете? Дойдет ли твоя молитва до наших могил, когда ты заберешься бог весть куда, на край света?» Что я им скажу, что я скажу Стасеку, который из-за вас тут голову сложил?

Хаммер, слушая его, трясся от гнева так, что чуть было не уронил свою трубку.

— Что ты мне басни рассказываешь! — закричал он. — Мало разве ваших мужиков продали хозяйства, ушли на Волынь и живут там сейчас по-барски? Отец к нему с того света придет! Слыхано ли это? Ты смотри, как бы из-за твоего упрямства тебе самому не погибнуть и меня не сгубить! Из-за тебя сын мой отбился от рук, за землю платить нечем, соседи меня изводят... Ты, что же, думаешь, в твоей дурацкой горе клад зарыт? Я хочу ее купить, потому что это лучшее место для ветряной мельницы. Даю ему по сто рублей — цена

небывалая, — а он мне рассказывает, что в другом месте он жить не может!..
Verfluchter!..[11]

— Сердитесь не сердитесь, а я своей земли не продам.

— Нет, продашь! — крикнул Хаммер, грозя ему кулаком. — Но тогда уже я не куплю!.. А ты и года возле нас не проживешь...

Он повернулся и пошел домой.

— И мальчишке своему скажи, чтобы не смел шляться в колонию, — прибавил старик, останавливаясь. — Не для вас я привез сюда учителя.

— Эка важность! Ну, и не будет ходить, раз вы ему воздуха жалеете в хате, — проворчал Слимак.

— Да, для него мне и воздуха жалко, — выходил из себя Хаммер. — Отец дурак, так пусть и сын будет дурак.

Они расстались. Мужик до того обозлился, что даже корову теперь не жалел.

— Пусть ей там глотку перережут, коли так, — бормотал он про себя.

Но, сообразив, что корова ничем не виновата в его ссоре с Хаммером, снова вздохнул.

Из хаты доносились вопли. Это плакала Магда, оттого что хозяйка отказала ей от места. Слимак молча уселся на лавку, а жена продолжала толковать девушке:

— Харчей-то у нас хватит — это что говорить, но где я для тебя денег возьму на жалованье да на подарки? Ты сама посуди: девка ты взрослая, на новый год тебе надо прибавить жалованья, а нам не то что прибавить, но и вовсе нечем платить. Да сейчас у нас и делать тебе нечего, раз корову продали... Ты, стало быть, завтра или послезавтра сходи к дяде, — продолжала хозяйка, — расскажи про нашу беду: покупать, мол, у нас ничего не покупают, заработка никакого нет, а корову пришлось отдать мясникам. Все расскажи, поклонись ему в ноги и проси, чтобы он тебе хорошее место подыскал. И что ни раньше, то и лучше. А смилуется над нами господь, ты опять к нам воротишься...

— Ого! — пробормотал Овчаж, слушая из угла. — Нет, уж раз уйдешь, не вернешься.

И, помолчав, прибавил:

— Видать, и мне уж недолго у вас хозяйствовать. За коровой Магда, за Магдой я.

— Полно, Мацек, живи себе да живи, — прервала его хозяйка. — За лошадыми все равно кому-нибудь надо ходить, а не отдадим тебе жалованья этот год, получишь за два на будущий. Магда — иное дело. Она девка молодая, ей и того надо, и другого, чего же ей сохнуть в нужде?

— Это-то верно, — подтвердил, поразмыслив немного, Овчаж. — И, знать, добрые вы люди, ежели при таком горе первая дума у вас — ее девичий век не заедать.

Слимак молчал, удивляясь уму жены, которая сразу смекнула, что Магде уже нечего у них делать. И в то же время ужас охватил его при мысли, что так быстро разваливается их хозяйство. Долгие годы они работали, откладывая на третью корову и на работницу, а одного дня оказалось достаточно, чтобы обеих выгнать из дому.

«Либо я столярничать примусь, либо ксендза спрошу, что делать, либо уж сам не знаю что... Только что же мне ксендз-то скажет? Хоть я и обедню закажу за добрый совет, так обедню мне ксендз пропоет, а совета все равно не даст. Да и где ксендзу-то его взять? А может, оно еще само образуется? Наверное, образуется. Господь бог — он как отец: начнет бить, так уж бьет — кричи не кричи, — покуда руку себе не отмахает. А там, смотришь, опять смилостивится, надо только терпения набраться и оттерпеть свое».

Так размышлял Слимак, раскуривая трубку. Жаль ему было Магду, еще жальче корову, вспомнились ему и луг, и Стасек, и страшившие его немцы, — но что было делать? Только покорно ждать, пока все само собой образуется.

Вот он и ждал.

К началу ноября Магда простилась со Слимаками: она ушла к дяде, а от дяди на новое место. В хате и след ее простыл; лишь изредка хозяйка спрашивала себя: правда ли, что тут, в горнице, жил Стасек, что у этой печки возилась какая-то Магда, а в закуте стояли три коровы?..

Между тем в окрестностях участились кражи, и Слимак со дня на день собирался купить в местечке щеколды и замки для конюшни и риги или хотя бы вытесать брусья и на ночь задвигать ими двери.

«Воруют у других, так и меня могут обворовать», — думал мужик и даже протягивал руку за топором, чтоб хотя бы вытесать засов.

Но всегда оказывалось, что либо топор далеко, либо рукой до него никак не достать, и на этом он успокаивался.

Иной раз, наслушавшись рассказов о кражах, Слимак надевал зипун и лез в сундук за деньгами, чтобы купить щеколды. Но потратить в такое тяжелое время несколько рублей — при одной мысли об этом его начинало мутить. Он скорей убирал деньги на дно и снимал зипун — подальше от соблазна.

— Придется обождать до весны, — говорил он. — А на это время авось господь нас помилует и упасет от убытка; да и Овчаж с Буреком укараулят. Ого! Их-то не проведешь...

Словно в подтверждение этих слов, Бурек выл и лаял все ночи напролет, а Овчаж поднимался по нескольку раз за ночь и, накинув на плечи зипун, обходил двор.

Однажды, в темную глухую ночь, когда с неба сеялся дождь, смешанный со снегом, а на земле стояла грязь по щиколотку, Бурек вдруг бросился куда-то к оврагам и залился отчаянным лаем. Овчаж вскочил со своей подстилки и, догадавшись по бешеному лаю, что кто-то притаился за ригой, разбудил Слимака.

Вооружившись кольями и топорами, спотыкаясь и скользя по слякоти, они пошли следом за собакой. Вдруг она заскулила, как будто ее ударили.

— Воры, — шепнул Мацек.

Одновременно слышались шаги: было похоже, что двое несут какую-то тяжесть.

— На-на!.. Поди сюда!.. На-на!.. — подманивал кто-то Бурека, но, почуяв за собой хозяев, пес бросился с еще большей яростью.

— Поймаем их, — спросил Мацек Сликама, — или не стоит связываться?

— Кто ж их знает, сколько их там, — ответил Сликама.

В эту минуту в колонии Хаммера зажглись огни, на дороге слышался конский топот и крики:

— Лови! Держи его!

— Стой! — заорал Овчаж, а Сликама, высунувшись вперед, гаркнул:

— Эй вы, что за люди?..

В нескольких шагах от него на землю упало что-то тяжелое, а из темноты донесся голос:

— Погоди, швабский сторож!.. Ты еще узнаешь, что мы за люди...

— Хватай его! — крикнул Сликама.

— Бей его! — завопил Овчаж.

И они вслепую двинулись к оврагу. Но воры уже бросились наутек, ругая Сликама на чем свет стоит.

Тотчас же примчались верхом немцы, а Ендрек выскочил во двор с зажженной лучиной. Все столпились за ригой и при свете багрово пылавшей лучины разглядели в грязи заколотого борова.

— О, наш боров! — воскликнул Фриц Хаммер.

— Утащили у вас? — спросил Сликама.

— Закололи и утащили, хотя в доме горели огни.

— Смелые, стервецы! — заметил Овчаж.

— А мы думали, — отозвался с лошади батрак Хаммера, — что это вы воруете. — И захохотал.

— Хорошо же вы нас благодарите за помощь! А, чтоб вам... — проворчал Сликама.

— Пойдемте за ними, — взволнованно проговорил Фриц, — может, еще кого-нибудь поймаем.

— Ну и ступайте, — сердито ответил Сликама. — Видали умников!.. У себя в хате говорят, что мы ворует, а здесь просят, чтобы мы за них башку подставляли.

— Я пойду с ними, тятя, — попросил Ендрек.

— Сейчас же иди домой и Бурека тащи за загривок! — крикнул отец. — Этакого борова им спасли, из-за него воры нам грозятся, а они говорят, будто мы воруем!..

Фриц Хаммер успокаивал их, даже отругал сболтнувшего невпопад батрака, но мужики вернулись домой. Правда, вместо них подоспело несколько мужчин из колонии, но у Хаммера уже пропала охота гнаться за ворами, и немцы, захватив борова, впотымах, по грязи вернулись к себе на ферму.

Через несколько дней явился урядник, выслушал колонистов, допросил Слимака, навестил Йоселя, обшарил овраг со всех сторон, вспотел, измазался в грязи, но никого не нашел. Однако в результате этих поисков он пришел к совершенно правильному заключению, что воры давно удрали. А потому, приказав Слимаковой положить ему в бричку горшок масла и желтую с черным крапинками курочку, уехал домой.

На некоторое время кражи прекратились, однако Слимак, помня угрозу воров, постоянно думал о том, что надо бы купить щеколды для амбара и риги да вытесать засовы для конюшни. Он уже обсудил все подробности, но ждал, когда придет охота потратить деньги на замки и обтесать брусья. Оба эти дела он откладывал со дня на день, памятуя пословицу: «Что скоро, то не споро» — и дожидаясь либо изобретения более усовершенствованных дверных запоров, либо наступления хорошей погоды.

— Надо бы купить щеколды, — говорил он, — да чего зря сапоги трепать по такой грязи?

Между тем установилась зима. На холмы лег плотный покров толщиной в добрые пол-аршина; Бялку сковал лед, твердый, как кремь; выбоины на дороге разгладились, ветви деревьев господь бог одел в снеговые сорочки, а Слимак все еще размышлял о засовах и щеколдах. Закинув ногу на ногу, он курил трубку, так что в горнице дым стоял столбом, или, усевшись за стол, облакачивался то правой, то левой рукой — и все думал. Однажды вечером, когда раздумия его приблизились к концу, в хату влетел Ендрек в сильном волнении. Мать возилась у печки и не обратила на него внимания, но отец, несмотря на скудный свет, сразу заметил, что у Ендрека изорван зипун, растрепаны вихры и подбит глаз.

Словно невзначай, он оглядел запыхавшегося мальчишку с одного и с другого боку, додумал до конца свою думу, вытряхнул пепел из трубки и, сплюнув, сказал:

— Кажись, паренек, кто-то тебе по морде съездил?.. И, пожалуй, разика три...

— Я ему больше надавал, — хмуро ответил Ендрек.

Мать в эту минуту выходила в сени и не слышала их разговора. Отец же не торопился с вопросом, потому что протыкал проволокой забитый чубук. Продув его хорошенько, он снова начал:

— Кто ж это тебя так угостил?

— Да этот прохвост Герман, — буркнул Ендрек, поводя лопатками, как будто его что-то кусало.

— Тот, что у Хаммера живет? — спросил отец.

— Он самый.

— А ты что делал у Хаммера, тебе ведь не велено было туда ходить?

— Да так, в окошко к учителю заглянул, — ответил сильно покрасневший парень и поспешно прибавил: — А это чертово семя выскочил из кухни и давай орать: «Ты что, говорит, подглядываешь в окна, ворюга?» — «Что я у тебя украл?» — спрашиваю. «Покамест, говорит, ничего, а наверняка украдешь». И как гаркнет: «Пошел вон отсюда, не то как дам тебе в зубы!» А я говорю: «Попробуй!» А он: «Ну вот, и попробовал». Я ему: «А ну, попробуй еще!» А он: «Вот тебе еще...»

— Прыткий шваб! — проворчал Слимак. — А ты ему ничего?

— А что мне было делать? — вскинулся Ендрек. — Взял полено и легонечко двинул его по башке... Разика два, ну... может, и три. А этот подлец в момент повалился наземь и пустил краску. Я хотел было еще ему подсыпать, чтобы не представлялся, но тут выскочили из хаты эти, как их там... Фриц — тот даже ружье схватил; ну, я и задал деру.

— И не догнали тебя?

— Ну да! Так они догнали, когда я улепетывал, словно заяц.

— Наказание с этим мальчишкой, — проговорила мать, выслушав его рассказ. — Дождется он, что швабы его исколотят.

— А что они ему сделают, — ответил отец. — На ноги он попроворнее их; ну, и удерет, коли понадобится.

Он набил трубку и снова принялся раздумывать о ворах, засовах и щеколдах.

Однако назавтра, ровно в полдень, к хутору подошли Фриц Хаммер, его брат Вильгельм и батрак Герман; у батрака вся голова была обмотана тряпкой и только чуть-чуть виднелся один глаз. Все трое остановились у ворот, а Фриц закричал, подзывая Овчажа:

— Эй, ты!.. Скажи хозяину, чтобы вышел.

Слимак слышал крик и выскочил из хаты, подпоясывая на ходу рубашку.

— Чего вам? — спросил он.

— Идем в суд жаловаться на твоего разбойника, — сердито ответил Фриц. — Вот погляди, как он изувечил Германа... А это свидетельство от фельдшера, что раны опасные, — сказал он, показывая мужику лист бумаги. — Посидит он теперь в тюрьме, ваш Ендрек.

— На дочку учителя вздумал заглядываться... Пусть-ка теперь из-за решетки поглядит... — невнятно бубнил Герман сквозь повязку, закрывавшую всю его физиономию.

Слимак слегка встревожился.

— Постыдились бы, — сказал он, — из-за таких пустяков ходить в суд. Герман тоже ведь дал ему раза два по морде, а мы в суд не идем.

— Ну да! Дал я ему, в самый раз... — бубнил Герман. — А где у него синяки? Где кровь?.. Где свидетельство фельдшера?..

— Хороши! — говорил Слимак. — Когда мы вашего борова спасли, никто из вас не сказал уряднику, что это мы. А чуть парнишка побаловался, стукнул Германа палкой, вы уже в суд бежите...

— Видно, у вас одна цена что борову, что человеку, — отрезал Фриц. — А у нас не разрешается увечить людей... Вот посидит в тюрьме, так отучится разбойничать, хамская морда!..

И все трое отправились в волость.

После этого случая Слимак забыл о ворах, засовах и щеколдах и стал раздумывать о том, что сделает суд с его Ендреком. Нередко он звал Овчажа и с ним советовался.

— Знаешь, Мацек, — говорил он, — я так смекаю, что ежели в суде поставят нашего мальчика, стало быть Ендрека, против этого верзилы Германа, может, нашему ничего не будет?

— А как же, ничего и не будет, — поддакивал батрак.

— А все-таки, — продолжал Слимак, — любопытно бы знать, какое могут дать наказание за побои?

— Головы не снимут, — отвечал Овчаж, — да и ничего такого ему не сделают. Помнится, когда Шимон Кравчик избил до крови Вуйтика, так Шимона на две недели посадили в каталажку. А когда Потоцкая, Анджеева баба, изувечила горшком Маколонгвянку, ей только велели заплатить штраф.

Слимак призадумался и, помолчав, сказал:

— Это правильно. У нас тоже, бывало, подерутся люди, но никого за это не сажали. Я только того боюсь, что немец-то, пожалуй, подороже мужика.

— С чего же это нехристь будет дороже?

— Нет, как там ни говори... Ты вспомни, как их сам урядник обхаживает. С Гжибом и то он так не разговаривает, как с Хаммером.

— Это правильно, но и урядник тоже — посмотрит по сторонам, да с глазу на глаз и скажет, что немец — мразь.

— У немцев-то свой царь, — заметил Слимак.

— Ну, ихний царь против нашего ничего не стоит. Я наверняка знаю: когда я лежал в больнице, был там один солдат, так он всегда говорил: «Куды ему!...»

Последнее замечание несколько успокоило Сливака. Тем не менее он не переставал размышлять о наказании, которому мог подвергнуться Ендрек, и в ближайшее воскресенье вместе с женой и сыном отправился в костел, чтобы узнать мнение людей, более сведущих в судебных делах.

Дома остался один Овчак — нянчить сиротку и присматривать за горшками в печке.

Было уже за полдень, когда во дворе яростно залаял Бурек; он хрипел и бесновался так, словно его кто-то дразнил. Овчак выглянул в окно и увидел возле хаты незнакомого человека, одетого по-городскому. На нем был длинный заячий полушубок, из-под надвинутого на брови рыжего башлыка почти не видно было лица.

Батрак вышел в сени.

— Чего вам?

— Сделайте милость, хозяин, — ответил незнакомец, — выручите из беды. Тут, неподалеку от вашей хаты, у нас сломались сани, а ночью у меня утащили из кузова топор, так что самому мне нечем чинить.

Овчак с недоверием посмотрел на него.

— А вы откуда, издалека? — спросил он.

— Шесть миль отсюда. Едем с женой к родным еще за четыре мили. Ежели выручите, доброй водкой вас угощу да колбасой.

Упоминание о водке несколько ослабило подозрительность Мацека. Он покачал головой, еще немного помешкал, но в конце концов, ради спасения ближнего, оставил сиротку в хате и, прихватив топор, пошел за проезжим.

Действительно, неподалеку стояли сани, запряженные в одну лошадь, а в санях сидела, съезжившись, какая-то баба, закутанная еще плотнее, чем ее муж. Увидев Овчака, баба плаксиво забормотала, благословляя его, а проезжий поступил гораздо учтивее и сразу выпил с Мацеком из большой бутылки.

Батрак для приличия отнекивался, однако, приложившись к бутылки, потянул так, что слеза прошибла, а затем принялся чинить сани. Работы оказалось немного, всего-то на полчаса, но проезжие не знали, как и благодарить его. Баба дала Овчаку кусок колбасы и четыре баранки, а муж ее, расчувствовавшись, сказал:

— Немало я ездил по свету, но такого славного мужика, как ты, брат, еще не встречал! За это я дам тебе кое-что на память. Нет ли у тебя, братец, бутылки?

— В хате, пожалуй, найдется, — ответил Мацек дрогнувшим от радости голосом, чувствуя, что ему оставят водки.

Проезжий согнал бабу с сиденья и достал черную бутылку из толстого стекла.

— Пойдем, — сказал он батраку. — Подари мне, сделай одолжение, несколько гвоздей на случай, если опять сломаются сани, а я тебе за твою помощь дам такого зелья, что куда до него водке!.. Тут тебе вместе и водка и лекарство.

Они быстро зашагали к хате, и незнакомец продолжал:

— Голова ли, живот ли у тебя заболит, ты сейчас же опрокинь рюмку этого питья. Сон ли пропадет, горе ли у тебя какое, лихорадка ли трясет, глотни только моего снадобья, и вся хворь, как пар, из тебя выйдет. Но ты смотри береги его, — говорил проезжий, — не давай кому попало: это тебе не сивуха. Еще мой дед-покойник выучился его настаивать у монахов в Радечнице. Даже от дурного глаза помогает, все равно как святая вода.

Незаметно они дошли до хутора. Мацек отправился в хату за гвоздями и бутылкой, а незнакомец остался во дворе, небрежно оглядывая дворовые постройки и отгоняя Бурека, который бросался на него, как бешеный. В другое время ярость пса заставила бы Овчажа призадуматься, но сейчас он не мог заподозрить гостя, который за пустячную работу дал ему водки и колбасы да посулил чудодейственного питья. Поэтому батрак вынес из хаты пузатую бутылку и, ухмыляясь, подал ее проезжему, а тот, не скупясь, отлил ему своего зелья, снова напомнив, чтобы он не потчевал кого попало, да и сам бы пил только в особых случаях.

Наконец они распрощались. Незнакомец побежал к саням, а Овчаж заткнул бутылку тряпицей и спрятал в конюшне под кормушкой. Его так и разбирала охота попробовать хоть каплю чудодейственного снадобья, но он пересилил себя, подумав:

«Будто не случается человеку захворать? Приберегу-ка я лучше на такой случай».

Тут Мацек выказал незаурядную силу воли, но, как на беду, Слимаки замешкались в костеле, и бедняге не с кем было словом перемолвиться. Он пообедал, просидев за столом дольше обычного, убаюкал сиротку, потом опять разбудил и принялся ей рассказывать про больницу, где ему починили сломанную ногу, и о проезжих путниках, которые так щедро его угостили. Но, несмотря на все старания отвлечься, из головы у него не выходило спрятанное под кормушкой снадобье монахов из Радечницы. Куда бы он ни смотрел, везде ему мерещилась пузатая бутылка. Она выглядывала из-за горшков в печке, зеленела на стене, поблескивала под лавкой, чуть ли не стучалась в окно, а бедный Мацек только жмурился и говорил про себя:

«Отстань ты! Пригодится на черный день».

Перед самым закатом Овчаж услышал издали веселую песню. Он выбежал за ворота и увидел возвращавшееся из костела семейство Слимака. Они остановились на горе, и, казалось, их темные силуэты спустились на снег с багрового неба. Ендрек, задрав голову и закинув за спину руки, шагал по левой стороне дороги; правой стороной шла хозяйка в расстегнутой синей кофте, из-под которой виднелась сорочка, еле прикрывавшая грудь; сам хозяин, сдвинув

шапку набекрень и подобрал полы зипуна, словно собирался пуститься в пляс, неся вперед, перебегая с левой стороны на правую и с правой на левую, и при этом распевал во всю глотку:

За овином, за амбаром
Что ты льнешь ко мне задаром?
Заору благим я матом, —
Прибегут папаша с братом...
Хоть сердись, хоть не сердися,
Как упрусь я, ты смиришься.

Батрак смотрел на них и смеялся — не над тем, что они перепились, нет: ему было приятно, что им так весело и хорошо живется на свете.

— Знаешь, Мацек... — заорал издали Слимак, заметив, что он стоит у ворот, — знаешь, Мацек, ничего нам швабы не сделают!..

Он подбежал к Овчажу и грузно оперся на его плечо.

— Знаешь, Мацек, — продолжал хозяин, направляясь вместе с ним к хате, — встретили мы в костеле Ясека Гжиба. Прохвост порядочный, но хороший парень! Как мы сказали ему, что Ендрек вздул Германа, он на радостях выставил нам целую четверть водки и клялся истинным богом, что на суде Ендрека отпустят... А уж Ясек в этом знает толк, недаром он писал в конторе, да и сам не раз бывал под судом за всякие штуки! Ого! Уж он-то знает...

— Пусть только эти прохвосты засадят меня в каталажку, я их подожгу!.. — выпалил сильно покрасневшийся Ендрек.

— Не болтай ты зря! — накинулась на него мать. — Еще когда-нибудь они в самом деле погорят, на тебя и подумают...

В таком настроении они вошли в хату и уселись за стол. Но сегодня все как-то не ладилось: хозяйка, подавая щи, больше налила на стол, чем в миску; у хозяина совсем пропал аппетит, а Ендрек забыл, в какой руке полагается держать ложку. Он переключивал ее из одной руки в другую, облил зипун, обварил ногу отцу и, наконец, отправился спать. Примеру его не замедлили последовать родители, и через несколько минут вся семья Слимака спала как убитая.

Овчаж остался в одиночестве, опять ему не с кем было перекинуться словом и опять вспомнилась пузатая бутылка под кормушкой. Напрасно он старался прогнать эту мысль, мешая догорающие угли в печке или заправляя фитиль в потрескивающей лампе. От храпа Слимака его клонило ко сну, а носившийся в хате запах водки наполнял его сердце невыразимой тоской. Тщетно пытался он рассеять невеселые думы: как мотыльки над огнем, они кружились над его головой. Позабудет он о больнице, сокрушается о покинутой найденке; позабудет о бедной сиротке, начинает тужить о своей горькой доле.

— Ну, ничего не поделаешь, — пробормотал наконец батрак, — надо и мне ложиться спать...

Он завернул ребенка в тулуп и пошел в конюшню. Ощущая теплое дыхание лошадей, он улегся на тюфяк и закрыл глаза — все напрасно. Сон не шел к нему, потому что рано еще было спать.

Наконец, ворочаясь с боку на бок, Мацек нечаянно задел рукой бутылку с питьем монахов. Он отодвинул ее, но бутылка, нарушая закон инерции, все назойливее лезла ему в руки. Он хотел покрепче заткнуть ее тряпицей, но непонятным образом тряпка осталась у него в пальцах, а когда он машинально поднес бутылку к глазам, чтобы посмотреть, что с ней происходит, горлышко удивительного сосуда само прыгнуло ему в рот, и Мацек, даже не думая, что делает, проглотил изрядную толику целебного снадобья.

Проглотил и поморщился в темноте: питье оказалось не только крепким, но и тошнотворным. Ни дать ни взять — лекарство.

«На что польстился», — подумал Овчаж и, закупорив бутылку, сунул ее поглубже под кормушку.

В то же время он решил в будущем быть воздержаннее и без надобности не потреблять этого зелья, отнюдь не отличающегося приятным вкусом.

Он прочитал молитву, и ему стало теплей и спокойней. Вспомнилось ему возвращение Слимаков из костела: странное дело — они, как живые, встали у него перед глазами. Ендрек вдруг куда-то исчез (в эту минуту Овчаж не был уверен, существует ли вообще на свете какой-то Ендрек!), Слимак отправился спать, но куда-то далеко-далеко, и с ним осталась только хозяйка — в синей расстегнутой кофте, из-под которой виднелись нитки бус, спустившаяся сорочка и белая грудь.

Овчаж закрыл глаза и даже придавил их пальцами, чтобы не глядеть. Но он все-таки видел Слимакову, и она улыбалась, так странно улыбалась. Он накрыл голову тулупом — напрасно! Женщина все стоит и смотрит на него так, что у него огонь пробегает по всему телу. Сердце бурно колотится, а в жилах, словно вар, кипит кровь. Мацек повернулся к стене и вдруг (о страшная минута!) почувствовал, что кто-то стоит подле него и шепчет: «Подвинься...» Он подвинулся так, что дальше уже было некуда, и опять услышал тот же голос: «Ну, подвинься...» — «Куда я подвинусь, раз тут стена?» — спрашивает Мацек. «Подвинься же!» — шепчет тихий нетерпеливый голос, и в то же время теплая рука обнимает его за шею.

И вот Овчажу кажется, что его подстилка закачалась. Летит... летит... летит... Боже, куда же он падает?.. Нет, он не падает, он несется по воздуху, легкий, как перышко, как дым. Он открывает глаза и видит: над снежными холмами в темном небе искрятся звезды. Откуда же небо, когда он лежит в запертой конюшне? А все-таки небо видно. Но каким образом?.. Нет его снова не видно, опять кругом темнота. Он хочет двинуться и не может. Да и зачем двигаться, раз ему и так хорошо? И есть ли на свете хоть что-нибудь, ради чего стоило бы пошевелинуть пальцем? Нет, ничего такого нет, или, вернее, есть, но только одно: это сон, который в эту минуту им овладел, сон настолько глубокий, что ему хотелось бы

никогда не просыпаться. Ах, ах, как трудно дышится, но он засыпает... засыпает... засыпает...

Он спал без сновидений, должно быть, часов десять подряд. Разбудило его ощущение боли. Мацек почувствовал, как кто-то сильно его встряхнул, потом пнул ногой в бок и в голову, наконец дернул за руки, рванул за волосы и заорал над ухом:

— Ну, вставай, вор проклятый, вставай!..

Овчаж попробовал встать, но вместо этого повернулся на другой бок. Тотчас же удары по голове и встряхивание возобновились с еще большей силой, и чей-то сдавленный голос (так показалось батраку) снова закричал:

— Ну, вставай, ты!.. Чтоб тебе сквозь землю провалиться!..

Мацек поднялся и сел. Голова у него отяжелела, как камень, глаза резало от дневного света, и он их снова закрыл, подперев голову рукой. Он попытался собраться с мыслями; в первую минуту ему показалось, что он угорел.

Но вот снова его ударили кулаком по лицу — раз и еще раз. Мацек с трудом открыл глаза и увидел, что бьет его Сликак. Мужик обезумел от гнева.

— Вы за что меня бьете? — с изумлением спросил Мацек.

— Где лошади, вор проклятый?.. — ревел Сликак.

— Лошади?.. — пробормотал Мацек.

Он пополз на четвереньках со своей подстилки, вылез во двор и опять повторил:

— Лошади... Какие лошади?

И вдруг его вырвало. После этого он немного пришел в себя и заглянул в конюшню. Как будто там чего-то не хватало. Мацек потер лоб, стараясь разбудить ленивую мысль, и снова глянул. Конюшня была пуста.

— А лошади где? — в свою очередь, спросил Овчаж.

— Где?.. — рявкнул Сликак. — Ты своих дружков спроси, куда они их угнали, — вор!..

Батрак растерянно развел руками.

— Я лошадей не угонял, — сказал он. — Всю ночь я не выходил отсюда... Что-то со мной неладно; видать, я захворал...

Он покачнулся, но удержался, схватившись за косяк.

— Нечего тут болтать!.. Чего дурака валяешь, не видишь разве, что лошадей у меня украли?.. — кричал, кипя от гнева, Сликак. — Ворам-то надо было ворота отомкнуть да через тебя лошадей провести.

— Никто тут ворот не отпирал и лошадей через меня не выводил, накажи меня бог, коли я вру! — сказал Овчаж, ударяя себя кулаком в грудь.

И вдруг заплакал.

В эту минуту из-за риги показались Ендрек и Сливакова.

— Тятя! — крикнул, подбегая, мальчик. — Бурек околел, лежит под забором...

— Воры его отравили, — прибавила мать, — видно, пена у него шла... Так и замерзла на морде.

Овчаж, едва стоявший на ногах, опустился на порог.

— Да и с этим что-то случилось, — сказал Слимак, — совсем ополоумел. Насилу его добудился... Да еще хворь к нему привязалась...

— Ну и пусть себе подышает! — крикнула Сливакова, грозя кулаком. — Спал в конюшне и дал лошадей украсть... Чтоб ему ни дна ни покрывки, когда околеет!

Ендрек нагнулся за камнем, чтобы швырнуть в Овчажа, но родители удержали его. Присмотревшись получше, они заметили, что батрак изменился до неузнаваемости. Лицо у него посерело, губы стали бледными, как у покойника, глаза ввалились.

— Может, и его отравили? — шепнула хозяйка.

Слимак пожал плечами, не зная, что отвечать. Затем стал допрашивать батрака, не был ли кто вчера в их отсутствие и не угощал ли его?

Медленно, с усилием, но ничего не тая, Мацек рассказал о проезде, которому починил сани, и о снадобье монахов из Радечницы; всхлипывая, он добавил:

— Видать, дали мне какого-то поганого зелья, чтобы лошадей увести...

Но Слимак не только не пожалел его, а снова впал в бешенство.

— А ты взял у него и выпил? — кричал он. — И не пришло тебе в голову мне рассказать, когда мы вернулись из костела, а?

— Как тут было рассказывать, — ответил Мацек, — когда вы сами малость угостились?..

— А тебе-то что? — заорал Слимак. — Твое собачье дело не подглядывать, пьян я или не пьян, а когда я напился, смотреть в оба, чтобы чего-нибудь не утащили... А ты такой же вор, как и они, — еще хуже их: ты меня подвел — за то, что я пустил тебя в дом, когда ты с голоду подышал!..

— Ох, не говорите так! — простонал Овчаж.

Он сполз с порога и повалился в ноги Сливаку.

— За вами осталось, — всхлипывал он, — мое жалованье... Да еще тулуп у меня есть, хоть худой, а все-таки... Ну, и зипун да сундучок... Все заберите себе, только не говорите, что я вас подвел... Пес-то был не вернее меня, а и его отравили.

Но Слимак в остервенении оттолкнул его.

— Что ты мне голову дуришь! — яростно закричал он. — Сундук мне свой отдает да жалованье, а лошади стоили не меньше как восемьдесят рублей... За целый год я не скопил столько, чтобы лошадей купить... Восемьдесят рублей, о, Иисусе!.. Восемьдесят рублей отдать из-за этого прощелыги... Будь ты мне сын родной, а не бродяга приبلудный, и то бы я тебя не простил... Оба мальчика, хоть они мои дети, того мне не стоили...

Гнев его возрастал. Дрожа от бешенства и сжимая кулаки, он вопил:

— Да мне-то чего беспокоиться! Ты виноват, что пропали лошади, ты их и находи, а нет — я в суд на тебя подам за воровство... Ступай куда хочешь, ищи как знаешь, но без лошадей на глаза мне не показывайся. Убью! Себя загублю, а убью... До того ты мне омерзел из-за этой кражи, что вот схвачу топор и башку тебе раскрою! И щенка этого забирай, Зоськина ублюдка, а то сдохнет. Оба убирайтесь вон! С лошадьми вернешься — все тебе прощу. А без них придешь, лучше удавись, но мне на глаза не попадайся.

— Я буду искать, — молвил Мацек, надевая трясущимися руками ветхий тулуп. — Авось господь бог мне поможет...

— Черта проси, чтобы он тебе помог, раз через твою подлость я теперь разорился, — пробормотал Сливак, повернулся и ушел.

— А сундук ты оставь, — сказал Ендрек.

— Так-то он нам оплатил за нашу доброту! — прибавила хозяйка, вытирая фартуком слезы.

Все трое пошли в хату. И хоть бы кто-нибудь на него ласково поглядел, а ведь он, может быть, уходил навсегда.

Мацек остался один и неторопливо собирался в путь. Он надел на сиротку свой жилет, потом завернул ее в лоскут от зипуна, а поверх укутал рядом. Затем подпоясался кушаком и разыскал во дворе толстую палку.

У него разламывалась от боли голова, а ослабел он, как после тяжелой болезни. Но он уже мог думать и понимал, что произошло. Мацек не обиделся на Сливака за то, что тот избил его и выгнал из дому, — правду сказать, хозяин был прав; не смущало его и то, что с этой минуты он лишается крова: у таких, как он, крова никогда не бывает. Не тревожило Мацека даже будущее, ни его собственное, ни сироткино, — что ж: мир велик, а господь бог везде. Его мучило другое: жаль было украденных лошадей.

Для Сливака лошади были просто рабочей силой, а для Овчажа это были друзья и братья. Кто во всем свете скучал по нем; кто, как не Войтек и Гнедой, с радостью его встречал, когда он входил в конюшню, и прощался с ним, когда он уходил? Сколько лет они прожили вместе, вместе терпели нужду, помогали друг другу, скрашивали его одиночество — и вот не стало этих друзей! Кто-то украл их, угнал на голод, на муку, и он, Овчаж, это допустил...

Мацеку показалось, что он слышит их ржанье. Смекнули бедняги, что с ними случилось, и зовут его на помощь. «Иду! Иду!» — бормотал батрак. Он взял ребенка на руки и, опираясь на палку, заковылял со двора. Мацек даже не оглянулся в воротах: наглядится еще, когда вернется с лошадьми.

За ригой, вытянувшись, лежал Бурек, но Овчажу было не до него: он заметил следы лошадей, отпечатанные на снегу, как на воске. Вот большое копыто Гнедого, а вот сломанное Войтека, там, подальше, воры сели верхом и поехали шагом. До чего осмелели, ничего не боятся! Все равно Овчаж вас отыщет; пусть он слаб и хром, но теперь в нем проснулось мужицкое упорство. Хоть бы вы убежали на край света, он пойдет и на край света; хоть бы вы укрылись под землей, он руками разроет землю; хоть бы вы улетели на небо, он и на небо попадет и до тех пор будет молча стоять у небесных врат, до тех пор будет своим смирением докучать святым, пока они не разбегутся по небу и не приведут ему лошадей.

С поля следы свернули на дорогу, ведущую к костелу, но не исчезли. Мацек отлично их видел и читал по ним всю историю этого путешествия. Вот тут Гнедой споткнулся, а тут Войтек в испуге шарахнулся в сторону, а вон там вор слез с Гнедого и поправил на нем уздечку. Ну, и важные господа — эти воры! Уж и воровать ходят в новых сапогах; шляхтич и тот бы не постыдился выехать в таких на охоту...

Неподалеку от костела Мацек увидел, что воры свернули с большой дороги — это бы еще полбеды, но они разъехались в разные стороны: тот, что ехал на Гнедом, взял вправо, а тот, что на Войтеке, — влево. Овчаж с минуту подумал и пошел налево: может быть, потому, что следы Войтека были заметнее, а может быть, и оттого, что он больше любил эту лошадь.

Около полудня, продолжая идти по следу, Мацек очутился близ той деревни, где жил кум Слимака, староста Гроховский. Крюк был небольшой, и Мацек решил зайти к Гроховскому, рассчитывая, что ему дадут поесть: он и сам успел проголодаться, да и сиротка уже несколько раз принималась хныкать у него на руках.

Старосту он застал дома как раз в то время, когда его ругала жена — просто так, без особой причины. Огромный мужик сидел у стены на лавке, опершись одною рукой на стол, а другой на окно, и слушал бабью брехню с таким вниманием, как будто ему в волости читали рапорт. Однако внимание это не было искренним: всякий раз, когда голова жены устремлялась вслед за горшками в печку, Гроховский потягивался, зевал или ударял себя кулаком по голове, морщась так, как будто эта болтовня ему давно уже осточертела.

При чужих жена уступала старосте, чтобы не срамить его звание. Поэтому Гроховский обрадовался Овчажу, велел его покормить чем-нибудь горячим, а девочке дать молока. Когда же батрак сообщил, что у Слимака украли лошадей и что он, Мацек Овчаж, идя по следам воров, зашел к своему старосте посоветоваться, Гроховский угостил его копченой свиной и водкой. Он готов

был даже составить протокол, но, к сожалению, дома у него, как он выразился, не было канцелярских принадлежностей и бумаги.

Затем он пригласил Мацека для секретного разговора в боковушку, где они шептались не менее часу. Оказалось, что Гроховский давно уже выслеживает воровскую шайку и даже знает ее главарей, но пока ничего с ними сделать не может. Никто из них не пойман с поличным, и, что еще хуже, какие-то влиятельные люди ставят ему палки в колеса. Он назвал Мацеку фамилию проезжего, который за починку саней употчевал его питьем радечницких монахов, и объяснил, что ехавшая с ним баба, его жена, вовсе не баба и не жена, а попросту брат Иоселева шурина, переодетый в женское платье.

Теперь Мацек понял, почему молодой Гжиб вчера, после обедни, с такой охотой угощал обоих Слимаков и напоил их допьяна, но он поклялся старосте, что до поры до времени рта не раскроет.

— Если подать в суд, — заключил Гроховский, — эти прохвосты увернутся, но мы сами найдем на них управу: подстережем в укромном местечке и первым делом установим, кто ворует. Тогда и лошади отыщутся; ты о них не горюй.

Овчаж поклонился ему в ноги и сказал:

— Все сделаю, что прикажете, староста, хоть бы пришлось мне голову сложить.

— Ты сделай так, — напутствовал его староста. — По следу мимо моей хаты незачем идти, я и без того знаю: он ведет к Иоселеву шурина. Но любопытно мне знать про другой след, направо от дороги; не приведет ли он нас к кому-нибудь из колонистов или к тому еврею, что караулит остаток леса. Иди, брат, по тому следу как можно дальше, а в случае на что набредешь, сейчас же дай мне знать. Воровское гнездо невелико, к завтраму ты обернешься.

— И лошадей назад заберем?.. — спросил Мацек.

— Из кишок у них вытянем, — ответил староста, и глаза его грозно блеснули.

Было уже около двух часов, когда Мацек, распрощавшись, ушел. Гроховский намекнул было жене, что не худо бы оставить сиротку у них, но баба так на него накинулась, что он умолк. Овчаж опять закутал девочку в зипун и рядом, посадил ее на левую руку, в правую взял палку и пошел.

Выйдя на большую дорогу, он сразу отыскал следы Гнедого и, пройдя с часок, сообразил, что конюшня у воров должна быть где-то поблизости, потому что следы тут смешались. Сперва он удалился от дороги, потом приблизился, потом опять отошел, свернул в лес и, наконец, очутился в овраге, по другую сторону железнодорожной насыпи. Мороз все крепчал, но Мацек так разгорячился от ходьбы, что не замечал холода; по небу время от времени проносились тучи, тогда на землю сыпался снег, но вскоре снова переставал. Мацек торопился, чтобы не занесло следов, и все шел, глядя себе под ноги, не обращая внимания на то, что темнеет и снег валит все гуще.

Он очень устал и поминутно присаживался, но ему все чудилось ржанье Гнедого, и он снова срывался с места. Один раз оно раздалось совсем близко (или слышалось, оттого что у него трещала голова), и Мацек из последних сил пошел, уже не разбирая следов, прямо на голос. Чем скорей он бежал, тем явственнее становилось ржанье; он карабкался на холмы, продираясь сквозь цеплявшийся за него кустарник, падал, опять поднимался и шел на голос.

Наконец ржанье умолкло, и тогда Мацек увидел, что находится в овраге, по колени в снегу, и что наступила ночь.

С большим трудом он взобрался на холм, чтобы осмотреться кругом и не заблудиться. Но увидел лишь снег и разбросанные кое-где кусты. Снег справа и слева, снег позади, впереди и под ногами, а вокруг темнота. Из-за туч не видно ни звездочки, на западе погасла вечерняя заря. Куда ни глянь — темнота, да снег, да черные пятна кустов.

Мацек хотел было спуститься с холма. Но в одном месте ему показалось чересчур круто, в другом — не продраться сквозь заросли. Наконец он набрел на удобный спуск; нащупывая дорогу палкой, он прошел шагов десять и — упал с высоты нескольких аршин. Счастье еще, что снегу в этом месте было по пояс, не то он разбился бы насмерть вместе с ребенком.

Сиротка испугалась и тихонько захныкала (голосок у нее был все такой же слабый), а в сердце Мацека закралась тревога.

«Заплутать-то я не заплутал, — думал он, — места тут все знакомые, наши же овраги. Да как выбраться отсюда?..»

И он снова двинулся, но уже оврагами, то по колену в снегу, то по щиколотку, а иной раз и повыше колена. Так он шел с полчаса, пока не выбрался на утоптанное место. Мацек присел на корточки, пошарил рукой и узнал собственные следы.

— Вот уж путаная дорога! — пробормотал он и направился по другому проходу в оврагах.

Некоторое время он снова шел прямо, пока не наткнулся на какую-то выемку в снегу под горой. Ощупав рукой откос и яму, Мацек сообразил, что это то самое место, где он недавно свалился с обрыва.

Вдруг слышался какой-то шорох — Овчаж насторожился. Нет, это шелестят ветви над головой. Вверху поднялся ветер и нагнал тучи; снова посыпал мелкий, сухой, колючий снег, впивавшийся в руки и в лицо, как рой комаров.

«Неужто пришел мой последний час?..» — подумал Овчаж. — Ну, нет, — прошептал он, — мне еще лошадей надобно отыскать, чтобы меня вором не считали.

Он укутал сиротку, которая крепко уснула, хотя на руках ей было неудобно и тряско, и снова побрел по оврагам — просто так, без цели, лишь бы идти.

— Тоже я не дурак — садиться, — бормотал он. — А то чуть только сядешь, сразу замерзнешь, а я лошадей и воров не брошу...

Колючий снег валил все гуще и уже облепил Мацека с головы до ног.

Слушая завывание ветра на вершинах холмов, Овчаж радовался, что вьюга не застигла его в поле: здесь, в оврагах, все-таки было теплее.

— Да тут и вовсе тепло, а садиться я не стану, так и прохожу до утра, не то, пожалуй, замерзну.

Еще задолго по полуночи ноги совсем отказались повиноваться Мацеку; он уже был не в силах вытаскивать их из снега. Мацек остановился и стал топтаться на месте. Но скоро и это его утомило, тогда он добрался до какого-то обрыва и прислонился спиной к глинистому откосу.

Это место показалось ему превосходным. Оно слегка возвышалось над оврагом, и — главное — в нем было небольшое углубление, как раз в человеческий рост; со всех сторон его окружали кусты, так что снег тут не очень донимал. Вдобавок к прочим достоинствам, оступившись, Мацек неожиданно обнаружил большой камень, высотой с табуретку, лежавший в выемке с правой стороны.

— Ну, засиживаться я не стану, — говорил Мацек, — не то еще замерзну. А присесть можно. Спать, конечно, на морозе не годится и лежать то же самое, — прибавил он про себя, — но посидеть можно.

И он спокойно уселся, натянул шапку на уши и плотнее закутал продолжавшую спать сиротку, решив, что сначала минутку отдохнет, потом минутку потопчется на месте, потом снова отдохнет, снова потопчется и так дождется утра.

— Только бы не уснуть, — бормотал он.

В углубление снег не проникал; здесь, казалось, было даже теплее, чем снаружи. Окоченевшие ноги стали как будто отходить, и теперь Мацек ощущал уже не холод, а легкий зуд, словно муравьи ползали по его подошвам. Они проползли между пальцами и забегали по всей ступне; сначала залезли на сломанную ногу, потом на здоровую и дошли до коленей.

Вдруг невесть откуда взявшийся муравей забегал у него по носу. Мацек хотел его стряхнуть, но тогда целый рой накинулся на ту руку, где спала сиротка, а потом и на другую. Овчаж не отгонял их: зачем, раз это покалывание не позволяло ему уснуть? И, наконец, оно было даже приятно! Он усмехнулся, когда проказливое насекомое добралось до пояса и даже не задумался над тем, откуда вдруг взялись эти муравьи. Мацек знал, что сидит в овраге среди кустов, и не мудрено, что тут был муравейник, а о том, что стояла зима, он как-то позабыл.

— Только бы не уснуть... Только бы не уснуть, — повторял он.

Наконец, ему пришла в голову другая мысль: а почему бы не уснуть? Уже ночь, он в конюшне... Ну да, в конюшне: но сюда вот-вот придут воры. И Мацек ждет их, сжимая в руке страшную дубину, а чтобы не проспать, он не ложится и сидит на чурбане.

Ого!.. Вот слышится чей-то шепот... Это воры... Вот они уже отворили ворота в конюшню, виден снег на дворе. Мацек припал к стене, сжимает свою дубину... Ну, он им задаст!..

Но воры, видно, смекнули, что Мацек не спит, и ушли. Какое там — ушли! Попросту удрали и топчут так, что земля гудит. Овчаж засмеялся и подумал, что теперь ему можно уснуть или по крайней мере спокойно подремать. Он уселся поудобнее, забившись в уголок, и обеими руками прижал сиротку к груди — чтобы не упала. Ему надо хоть минутку поспать; уж очень он устал. Потом он мигом вскочит, потому что его ждут дела. Но какие?

«Что мне надо было сделать?.. — вспоминал он. — Пахать?.. Нет, уже вспахано... Лошадей напоить?.. Ну да, лошади...»

После полуночи ветер разогнал тучи, и на небе показался краешек луны. Тусклый свет ударил прямо в глаза Мацеку, но он не пошевелился. Вскоре луна скрылась за холмом, снова налетели тучи со снегом, но Мацек по-прежнему не двигался. Он сидел в выемке, прислонясь к стене, и обеими руками обнимал сиротку.

Наконец взошло солнце, но Мацек и теперь не шелохнулся. Казалось, он с изумлением смотрит на железнодорожное полотно, оказавшееся шагах в пятидесяти от него.

Солнце уже высоко поднялось, когда на путях показался обходчик. Заметив мужика, он окликнул его, но Мацек молчал; тогда обходчик спустился с насыпи и подошел ближе. Издали, еще не доходя до него, он несколько раз крикнул: «Эй, эй, отец! Напились вы, что ли?..» Наконец, словно не веря своим глазам, он ступил в выемку и потрогал Мацека рукой.

Лицо мужика затвердело, словно восковое, и, словно восковое, затвердело личико ребенка; иней запорошил ресницы мужика, а на губах ребенка блестела замерзшая слюна.

У обходчика руки опустились. Он хотел крикнуть, но, вспомнив, что кругом нет ни души, повернулся и побежал назад. Тут же, за холмом, он увидел стлавшиеся по небу веселые дымки той деревни, где находилось волостное правление. Обходчик поспешил туда.

Несколько часов спустя он приехал в саних со старостой и стражником, чтобы убрать тела. Но на морозе Мацек заостенел, и теперь невозможно было разжать ему руки и разогнуть ноги: так его и перенесли в сани в сидячем положении. Так и везли его дорогой, так и подъехал он к волостному правлению, прижав к груди ребенка, с откинутой на задок саней головой и лицом, обращенным к небу: словно, покончив расчеты с людьми, он хотел поведать богу свои обиды и горести.

Когда сани с несчастными прибыли на место, перед правлением собралась кучка мужиков, баб и евреев, а в стороне от них — волостной старшина, писарь и староста Гроховский. Узнав, что замерз какой-то мужик с ребенком, Гроховский

сразу догадался, что это Овчаж, и с сокрушением рассказал собравшимся историю батрака.

Слушая его, мужики крестились, бабы причитали, даже евреи отплевывались, и только Ясек Гжиб, сын богача Гжиба, покуривал шестигрошовую сигару и усмехался. Он стоял, засунув руки в карманы барашковой куртки, выставлял вперед то одну, то другую ногу, обутую в сапоги выше колен, дымил своей сигарой и усмехался. Мужики неодобрительно посматривали на него и ворчали, что ему, мол, и покойники стали нипочем. Но бабы, хоть и негодовали, а не могли на него сердиться: и правда, парень был как картинка. Высокий, стройный, широкоплечий, лицо — кровь с молоком, глаза — словно васильки, русые усы и борода, будто у шляхтича. Этому красавцу парню впору бы управляющим быть или хоть винокурором, а мужики между собой шептались, что этот прохвост рано ли, поздно ли, а подохнет под забором.

— Неладно что-то сделал Слимак: как же это он выгнал беднягу да еще с сироткой в этукую стужу? — промолвил старшина, внимательно осмотрев мертвецов.

— И очень даже неладно, — загудели бабы.

— Обозлился человек, что лошадей у него украли, — вступился какой-то мужик.

— Лошадей ему все равно не вернуть, а что две души он погубил — так погубил! — крикнула в ответ какая-то старуха.

— У немцев выучился! — прибавила другая.

— Теперь будет совесть его грызть до самой смерти! — подхватила третья.

Гроховский становился все мрачнее, наконец он заговорил:

— Э, не так его Слимак гнал, как сам он рвался выследить тех воров, что лошадей у нас уводят...

И с отвращением, хотя и украдкой, он бросил взгляд на Ясека Гжиба; тот вскинул на него глаза и огрызнулся в ответ:

— Так и со всяким будет, кто вздумает чересчур усердно ловить конокрадов. И их не поймает, и сам пропадет.

— Ничего, дойдет черед и до конокрадов.

— Не дойдет!.. Уж больно они народ ловкий, — возразил Ясек Гжиб.

— Бог даст, дойдет, — настойчиво повторил Гроховский.

— А вы не очень кричите, а то как бы и вас не обворовали, — засмеялся Ясек.

— Может, и обворуют, но сперва пусть богу помолятся, чтобы послал мне крепкий сон.

Во время этого разговора стражник ушел в правление, волостной писарь с превеликим вниманием разглядывал покойников, а старшина поморщился так, словно раскусил перец. Наконец он сказал, показывая на сани:

— Надо бы этих горемык сразу отвезти в суд. Там и начальник и фельдшер, пускай делают с ними что полагается... Ты поезжай, — обратился он к владельцу саней, — а я с писарем догоню вас. Это первый случай у меня в волости, чтобы так вот кто замерзал...

Владелец саней почесал затылок, но ему пришлось повиноваться. Да и до суда было не так далеко: всего версты две. Он подобрал вожжи, стегнул лошадей, а сам пошел рядом с санями, стараясь пореже оглядываться на своих седоков. Вместе с ним отправился староста и еще один мужик, которого вызывали в суд по делу о порче ведра в чужом колодце. Увидев, что они тронулись, стражник вышел из правления и догнал их верхом.

В то самое время, когда старшина отправлял покойников из волости в суд, уезд по этапу выслал в волость дурочку Зоську. Через несколько месяцев после того, как она оставила ребенка на попечение Овчажа, ее посадили в тюрьму. За что? — ей это не было известно. Зоську обвиняли в нищенстве, в бродяжничестве, в распутстве, в покушении на поджог, и всякий раз, когда раскрывалось новое преступление, ее переводили из тюрьмы в арестантскую или из арестантской в тюрьму, затем из тюрьмы в больницу, из больницы снова в арестантскую — и так целый год.

Ко всем этим странствиям Зоська относилась с полным равнодушием. Но когда ее переводили в новое помещение, она в первые дни беспокоилась, получит ли работу. Потом ею снова овладевала тупая вялость и большую часть суток она спала на нарах или под нарами, в коридоре или на тюремном дворе. А вообще ей все было совершенно безразлично.

Однако время от времени Зоське вспоминался брошенный ребенок, ее тянуло на волю, и тогда она впадала в бешенство. Один раз в таком состоянии она неделю не ела, в другой раз хотела удавиться, в третий — едва не подожгла тюрьму. Тогда ее отправили в больницу и, вылечив застарелую рану на ноге, по прошествии нескольких месяцев (в течение которых она ознакомилась еще с двумя или тремя тюрьмами) выслали по месту рождения, под надзор.

И вот Зоська шла из уезда в родную деревню под конвоем двух мужиков, из которых один нес пакет с предписанием, а другой его сопровождал. Она шла по большаку в рваном зипунишке, на одной ноге у нее был башмак, на другой — чуня, на голове дырявый, как решето, платок. Ни сильный мороз, ни вид знакомых мест не производили на нее никакого впечатления. Она глядела прямо перед собой и, подоткнув полы зипуна, быстро, словно спеша домой, шагала по дороге, то и дело обгоняя своих конвоиров. Если она чересчур забежала вперед, конвоир ей кричал: «Ты куда разлетелась?» Тогда Зоська останавливалась и стояла столбом посреди дороги, пока ей снова не приказывали идти.

— Видать, совсем одурела, — сказал один из сопровождавших ее мужиков, тот, что нес пакет из уезда.

— Да она сроду такая, а вот насчет черной работы — ничего, не хуже людей, — ответил второй, издавна знавший Зоську, так как сам был из той же волости.

И они заговорили о другом. До волостного правления оставалось не более версты, и из-за покрытого снегом холма уже виднелись почерневшие трубы хат, когда навстречу Зоське и ее конвоирам показался стражник верхом, а за ним сани с трупом Овчажа и ребенка. Зоська, по-прежнему опережая конвоиров, прошла мимо, ко мужики при виде необычного зрелища остановились и вступили в разговор со старостой.

— Господи помилуй! — воскликнул один. — Да кто ж этот бедняга?

— Овчаж, батрак Слимака, — ответил староста. — Зоська! — окликнул он арестантку. — А ведь это твоя дочка с Овчажем.

Зоська подошла к саням, но сначала равнодушно смотрела на трупы. Однако постепенно взгляд ее становился разумнее.

— Что это на них нашло? — спросила она.

— Замерзли.

— С чего же они замерзли?

— Слимак прогнал их из дому.

— Слимак?.. Слимак прогнал из дому?.. — бессмысленно повторяла она, шевеля пальцами. — А верно: Овчаж это, а это, видать, моя дочка... Моя!.. Только чуть подросла с тех пор... Да где это слыхано, чтобы малое дитя заморозить?.. Но и то сказать, ей на роду был писан худой конец... А ведь, как бог свят, моя это дочка!.. Гляньте!.. Моя дочка, а ее убили!..

Мужики, покачивая головами, прислушивались к лепету Зоськи. Наконец староста сказал:

— Ну, пора в путь, будьте здоровы. Поедем, кум Мартин!

Кум Мартин, подобрав вожжи, взмахнул кнутом, но в эту минуту Зоська вдруг полезла в сани к покойникам.

— Ты что делаешь? — гаркнул конвоир, схватив ее за зипун.

— Да это моя дочка! — закричала Зоська, цепляясь за сани.

— Ну и что ж, что твоя? — сказал староста. — Тебе один путь, ей — другой...

— Моя, моя дочка!.. — вопила Зоська, обеими руками держась за сани.

Лошади вдруг тронули, Зоська упала в снег, но успела ухватиться за полозья, и сани поволокли ее за собой.

— Будет тебе беситься! — заорал конвоир и побежал за Зоськой со старостой и другим мужиком.

— Моя дочка!.. Отдайте мне мою дочку!.. — кричала помешанная, не отпуская полозьев.

Мужики с трудом ее оторвали, и сани укатили. Зоська хотела подняться и бежать за ребенком, но один из конвоиров сел ей на ноги, а другой схватил за руки.

— На что она тебе, дура? — убеждали они Зоську. — Ребенка не воскресишь...

— Моя дочка!.. Слимак ее заморозил!.. Чтоб его господь наказал!.. Чтоб ему самому так замерзнуть!.. — кричала Зоська, вырываясь из рук конвоиров.

Но когда сани скрылись из виду, она понемногу стала затихать, посиневшее от мороза лицо ее приняло медный оттенок и исчез лихорадочный блеск в глазах.

Наконец она совсем успокоилась и впала в обычную апатию.

А когда стихло шуршание полозьев, Зоська поднялась с покрытой снегом земли и, равнодушная, как всегда, быстро зашагала к волостному правлению, лишь изредка тяжело вздыхая.

— Уже и позабыла, — пробормотал мужик, несший пакет.

— Иной раз дураку-то лучше на свете, — ответил его спутник.

И они оба умолкли, слушая, как скрипит снег под ногами.

х

Потеря лошадей довела Слимака чуть не до безумия. Правда, он избил, истоптал ногами и выгнал из дому Овчажа, но гнев его еще не иссяк. Ему было душно в хате; бледный, сжимая кулаки, он выбежал во двор и зашагал взад и вперед, исподлобья высматривая налитыми кровью глазами, на чем бы сорвать злобу.

Ему вспомнилось, что нужно подкинуть сена коровам. Он вошел в закут, растолкал скотину, а когда одна из потревоженных коров отдала ему ногу, Слимак схватил вилы и нещадно избил обеих коров. Потом, совсем обеспамятев, он бросился за ригу и, увидев Бурека, стал топтать ногам твердый, как дерево, труп собаки, ругаясь на чем свет стоит...

— Кабы ты, собачий сын, не польстился на хлеб из чужих рук, не потерял бы я лошадей. Теперь будешь тут костенеть и гнить до весны, проклятая тварь!.. — крикнул он напоследок и еще раз пнул ногой труп, так что внутри его что-то хрустнуло.

Вернувшись в хату, он метался из угла в угол, пока не повалил чурбан. Ендрек, заметив это, фыркнул. Тогда Слимак сорвал с себя ремень, схватил мальчишку и стегал его до тех пор, пока тот не залез под лавку, обливаясь кровью.

Но мужик и после этого не надел пояс. Он шагал по горнице с ремнем в руке, ожидая, когда жена промолвит хоть слово, чтобы исколотить и ее. Но Ягна молча хозяйничала и только поминутно хваталась рукой за печку, словно боялась упасть.

— Ты чего шатаешься? — проворчал мужик. — Вчерашний хмель не выдохся?

— Что-то худо мне, — тихо ответила жена.

Слимак призадумался и надел пояс.

— А чего тебе? — спросил он.

— Все какие-то черные круги пляшут перед глазами, и шумит в ушах. Ох, да, может, это в хате пищит?.. — бессвязно проговорила она, разведя руками.

— Не хлещи водку, вот и не будет пищать, — огрызнулся Слимак и, сплюнув, снова вышел во двор.

Его удивило, что она не вступилась за избитого сына. Гнев снова ударил ему в голову, но бить уже было некого; он схватил топор и бросился колоть дрова. Колол почти до вечера, в одной рубашке, забыв про обед. Ему казалось, что тут, у его ног, лежат воры, угнавшие лошадей, и он рубил, как бешеный, разбрасывая по всему двору поленья и щепки, взлетающие из-под топора.

Наконец руки у него онемели, заныла поясница и промокла от пота рубаха; в то же время остыл и его гнев. Слимак пошел в хату, но в первой горнице никого не оказалось. Он заглянул в боковушку: Ягна лежала на кровати.

— Ты чего это? — спросил он.

— Неможется мне малость, — ответила женщина, словно очнувшись от сна. — Ну, да это пустое.

— Печка выстыла.

— Выстыла? — повторила Слимакова.

С трудом поднявшись с постели, она с большим усилием снова развела огонь для ужина.

— Видишь!.. — сказал Слимак, пристально глядя на жену. — Вчера ты распарилась в корчме, потом воды напилась да еще расстегнула дорогой кофту. Вот тебя и прохватило.

— Ничего со мной не сделается, — раздраженно ответила Слимакова.

Должно быть, ей и вправду стало лучше, она разогрела обед и подала его к ужину.

Ендрек вышел из угла, взял в руки ложку, но есть не смог и горько заплакал. Слимак расстроился, а мать, точно не замечая слез сына, кое-как ополоснула посуду и легла спать.

Ночью, почти в тот же час, когда в овраге замерзал несчастный Овчаж, у Слимаковой начался озноб. Муж проснулся, укрыл ее тулупом, и озноб понемногу прошел. На другой день она встала и, как всегда, принялась за работу, лишь изредка жалуясь на боль в голове и в пояснице. Несмотря на это, она возилась по хозяйству, но по глазам ее Слимак понял, что с ней что-то неладно, и приуныл.

К вечеру на дороге заскрипели сани и остановились у ворот. Через минуту в хату вошел шинкарь Иосель. У Слимака сердце екнуло, когда он взглянул на гостя, такое странное у него было выражение лица.

— Слава Иисусу, — поздоровался Иосель.

— Во веки веков, — ответил Слика.

С минуту оба помолчали.

— Вы ни о чем не спрашиваете? — начал шинкарь.

— А что мне спрашивать?.. — проговорил Слика, глядя ему в глаза, и вдруг побледнел, сам не зная почему.

— Завтра, — не спеша продолжал Иосель, — завтра Ендрека вызывают в суд за то, что он изувечил Германа...

— Ничего они ему не сделают, — сказал Слика.

— Ну, в каталажке он все-таки посидит.

— Пускай посидит. В другой раз не будет драться.

Снова в хате наступила тишина, на этот раз более продолжительная. Иосель качал головой, а Слика смотрел на него, чувствуя, как в нем поднимается тревога. Наконец, собравшись с духом, он резко спросил:

— Еще что?

— Чего тут много болтать, — ответил шинкарь, взмахнув стиснутым кулаком. — Овчаж с ребенком замерзли насмерть.

Слика вскочил с лавки, точно хотел броситься на Иоселя, но снова опустился и откинулся к стене. Его бросило в жар, потом у него задрожали ноги, а потом ему даже показалось странным, что он так испугался.

— Где?.. Когда?.. — глухо спросил он.

— Где?.. — переспросил Иосель. — В овраге, по ту сторону насыпи, совсем недалеко от волости. А когда?.. Когда?.. Вы же знаете, что этой ночью, — сами же вы вчера его выгнали...

Мужик в гневе поднялся.

— Эх, ну и брешете вы, Иосель; слушать вас тошно... Замерз!.. Из-за меня он, что ли, пошел в овраг?.. Будто на свете нет других хат?..

Шинкарь пожал плечами и, отойдя к дверям, сказал:

— Хотите — верьте, хотите — не верьте, мне все равно. Я сам видел, как замерзшего Овчажа вместе с ребенком везли в суд — должно быть, для вскрытия. Вы, конечно, можете мне не верить!.. Ну, будьте здоровы, хозяин...

— Эка важность!.. Ну, и замерз, — а что мне за это сделают? — крикнул Слика.

— Люди — ничего, но... господь бог... Или вы уж и в бога не веруете, Слимак?.. — спросил Иосель с порога, и ответ из печки блеснул у него в глазах.

Он притворил дверь, наткнулся на что-то в сенях и вышел во двор. Слимак слышал, как его тяжелые шаги, постепенно замирая, затихли наконец в воротах; слышал, как усевшись в сани, шинкарь крикнул своей лошади «нно-о»; слышал, как скрипели сани все дальше, дальше, до самого моста.

Он вздрогнул, оглянулся по сторонам и увидел устремленные на него из противоположного угла глаза Эндрека. Какое-то мрачное чувство легло ему на душу.

— А я-то чем виноват, что он замерз? — пробормотал Слимак.

И вдруг ему вспомнилась проповедь, которую из года в год повторял викарий. И слышался его слабый старческий голос, жалостно взывавший: «Был я голоден — и не накормили меня, был наг — и не одели меня, не имел крова — и не приютили меня... Идите же, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и слугам его...»

— Соврал еврей, как бог свят, соврал... — сказал Слимак, чувствуя, как по спине у него пробегают мурашки.

Произнося эти слова, он готов был поклясться, что в эту минуту Овчаж с ребенком сидит в конюшне и что оба они живы и здоровы. Он был настолько уверен в этом, что даже поднялся с лавки, чтобы позвать батрака ужинать. Но, взявшись за дверную скобу, вдруг остановился. Ему было страшно выйти во двор...

Однако страх его понемногу рассеялся. Слимак вышел из хаты, заглянул в пустую конюшню, потом подкинул коровам охапку сена и, едва стемнело, лег спать. У жены снова начался озноб, и он, как вчера, укрыл ее тулупом, приговаривая:

— Ну и подлец этот Иосель!

У него никак не укладывалось в голове, что Овчаж с ребенком замерзли. Напротив: чем больше он думал о них, тем тверже был уверен, что Иосель его запугивает ради какого-нибудь мошенничества. Утром Слимак со смехом рассказал обо всем жене, удивляясь наглости шинкаря и стараясь догадаться, для чего ему понадобилась эта ложь.

После обеда к ним заехал староста и вручил Эндреку повестку в суд по делу о нанесении увечий Герману.

— Когда ему там нужно быть? — спросил Слимак.

— Его дело разбирается завтра, — ответил староста. — Но чего ему таскаться пешком в этакую даль? Пускай садится со мной, я его подвезу.

Эндрек слегка побледнел и стал надевать полушубок.

— А много ему дадут? — мрачно спросил отец.

— Э!.. Посидит денька три-четыре, ну, может, с неделю, — сказал староста.

Слимак вздохнул и достал из узелка рубль.

— Вот еще что... — снова заговорил Слимак. — Слышали вы, что прохвост Иосель выдумал, будто Овчаж замерз вместе с ребенком?

— Как не слышать? — неохотно ответил староста. — Правда это...

— Замерзли?.. Замерзли... — повторил Слимак.

— Ну да, замерзли. Конечно, всякий понимает, что не ваша это вина, — поспешил прибавить староста. — Что ж, не устерег лошадей, в сердцах вы прогнали его, но ведь никто ему не велел уходить с дороги в овраг. Может, он напился или еще что, да так и пропал, бедняга, через свою глупость.

Ендрек уже был готов и, прощаясь с родителями, по очереди поклонился им в ноги. У Слимака навернулись слезы на глаза. Он прижал голову сына к груди и на всякий случай дал ему рубль, поручая божьему попечению. Очень удивило Слимака, что так равнодушно простилась с Ендреконькой мать.

— Ягна! Ендрек-то наш в суд идет, в тюрьму, — вразумлял ее муж.

— Ну и что? — пробормотала она, обводя хату блуждающим взглядом.

— Очень тебе неможется?

— Не. Только вот голова побаливает и все нутро горит, да чего-то я обессилела.

Она пошла в боковушку и легла на кровать. Ендрек ушел со старостой.

Слимак остался один в горнице, и чем дольше он сидел, тем ниже склонялась его голова. Сквозь дремоту ему казалось, что он сидит среди поля, далеко раскинувшегося по обе стороны, и что там нет ничего — ни кустов, ни травы, ни даже камней — ничего, только серая земля. А где-то в стороне (мужик не смел туда взглянуть) стоит Овчаж с ребенком на руках и смотрит в упор ему в глаза.

Слимак вздрогнул. Нет, тут, в поле, Овчажа нет, разве что он где-нибудь там, в сторонке, в самом конце, где-то так далеко, что его и не разглядишь; виден только самый краешек его зипуна, а может, и этого нет...

Мысль об Овчаже становилась навязчивой. Мужик поднялся с лавки, потянулся так, что захрустели суставы, и принялся мыть кухонную посуду.

«Вот до чего дошло! — вздохнул он. — Эх, да мало ли какая беда может с человеком случиться; тут-то и не надо плошать».

Это размышление придало ему мужества, и он взялся за работу. Вынес свиньям картофеля и помоев, полез на сеновал и достал для коров сена, нарубил сечки, а потом несколько раз сходил на реку за водой. Так давно уже он не занимался домашними делами, что ему показалось, будто он помолодел, и это приободрило его. Он бы и совсем повеселел, несмотря на болезнь жены и вызов Ендрека в суд, если бы не воспоминание об Овчаже. Ведь это Овчаж всего два дня назад таскал воду, Овчаж рубил сечку, Овчаж кормил скотину...

С наступлением сумерек Слимак становился все мрачней. Особенно удручала его тишина в доме, тишина настолько глубокая, что забежали по чердаку проснувшиеся крысы и начали скрестись. Чем темней становилось, тем явственнее он видел, что ему чего-то не хватает, многого, очень многого не хватает. И чем становилось тише, тем явственнее он слышал дрожащий, жалостный голос викария, который взывал, стуча кулаком по амвону:

«Был я голоден — и не накормили меня, был наг — и не одели меня, не имел крова — и не приютили меня... Идите же, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и слугам его...»

— Прохвосты эти швабы! Сколько через них народу погибло... — бормотал мужик, стараясь во что бы то ни стало забыть об Овчаже. И, вытянув руку к окну, чтобы было видней, он принялся считать, загибая пальцы: — Стасек у меня утонул — это раз... Немцы тут руку приложили... Корову пришлось отдать на убой — это два, — тоже ведь из-за немцев кормов не хватило... Лошадей у меня украли — вот уж четыре... опять же через немцев, за то, что я отнял у воров ихнего борова... Бурека отравили — пять... Ендрека в суд забрали за Германа — шесть... Овчаж и сиротка — восемь... Восемь душ погубили!.. Да еще из-за них Магде пришлось уйти, когда я обеднял, да еще жена у меня расхворалась, видать с тоски, — вот и все десять... Господи Иисусе Христе!..

Он вдруг схватился обеими руками за волосы и, как ребенок, задрожал от страха. Никогда еще он так не пугался, никогда, хотя смерть не раз заглядывала ему в глаза. Лишь в эту минуту, перебрав в памяти людей и животных, которых он не досчитывался в доме, Слимак понял, что такое сила немцев, и ужаснулся... Да, вот эти спокойные немцы, как ураган, разрушили все его хозяйство, все его счастье, плоды трудов всей его жизни! И пусть бы еще они сами воровали или разбойничали!.. Нет, они живут, как все, только чуть побольше пахнут земли, молятся, учат детей. Даже скотина их не топчет чужих полей, былинки чужой не тронет...

Ни в чем, решительно ни в чем дурном нельзя было их упрекнуть, но одного их соседства оказалось достаточно, чтобы он разорился и чтобы опустел его дом. Как от кирпичного завода идет дым, иссушающий поля и леса по всей округе, так и от их колонии исходила гибель, уносящая людей и животных... Что он мог сделать против них? И разве не немцы вырубали вековой лес, раздробили искони лежавшие в поле камни, выгнали помещика из усадьбы?.. А сколько работавших в имени людей, лишившись места, впали в нищету, спились и даже стали воровать?

И только сейчас, впервые, у Слимака вырвалось отчаянное признание:

— Слишком близко к ним я живу... Тем, кто подальше от них, они не так вредят...

— И, подумав, он прибавил: — Что толку, если останется земля, а люди на ней перемрут?..

Эта новая мысль показалась ему до того безобразной, что ему захотелось поскорей избавиться от нее. Он заглянул к жене — как будто спит! Подкинул дров

в печку и стал прислушиваться к возне крыс, прогрызавших потолок. Снова его поразила тишина в доме, а в завывании ветра снова послышался голос: «Был я голоден — и не накормили меня, был наг...»

Вдруг во дворе раздались чьи-то шаги. Мужик поднялся и выпрямился в ожидании. «Ендрек?.. — мелькнула мысль. — Может, и Ендрек...» В сенях скрипнула и захлопнулась дверь, чья-то, видимо чужая, рука нащупывала вход в хату. «Иосель?.. Немец?..» — думал мужик. И вдруг в ужасе отшатнулся, у него в глазах потемнело: на пороге стояла Зоська.

В первую минуту оба молчали: наконец Зоська произнесла:

— Слава Иисусу Христу...

И, повернувшись к огню, стала растирать озябшие руки.

Овчаж, сиротка, Зоська — все смешалось в сознании Сликама; он глядел на нее, как на выходца с того света.

— Ты откуда взялась? — наконец спросил он сдавленным голосом.

— Из тюрьмы меня выслали в волость, а в волости сказали, чтобы я искала себе работу, что у них, дескать, нет денег для дармоедов.

И, увидев в печке полные горшки, она облизнулась как собака.

— Хочешь есть? — спросил Сликама.

— А то...

— Так налей себе миску похлебки. Хлеб тут.

Зоська сделала, что ей велели. Начав есть, она спросила:

— А вам не потребуется работница?

— Еще не знаю, — ответил Сликама. — Баба моя захворала.

— Скажите!.. А пусто у вас стало. Магда-то где?

— Ушла.

— Ха!.. А Ендрек?

— Забрали его нынче в суд.

— Видали?! А Стасек?

— Утонул он у нас летом, — прошептал мужик и помертвел при мысли, что Зоська спросит его об Овчаже и дочке.

Но она ела жадно, как зверь, и ни о чем больше не спрашивала.

«Знает она или не знает?..» — думал мужик.

Поев, Зоська глубоко вздохнула и вдруг весело хлопнула себя по коленке. Сликама приободрился. Неожиданно она спросила:

— Переночевать меня оставите?

Снова в нем шевельнулось беспокойство. В этом безлюдье любой гость его бы ошастливил, но Зоська... Если она не знает об Овчаже, то какая нелегкая принесла ее в хату именно сегодня? А если знает, то зачем она пришла?..

Охваченный тревогой, Слимак задумался, но вдруг в тишине, наполнившей хату, ему снова послышался голос викария: «Был я голоден — и не накормили меня... не имел крова — и не приютили меня... Идите же, проклятые, в огонь вечный!..»

— Ну ладно, оставайся, — сказал он. — Только спи в горнице.

— Да хоть в сарае, — ответила она.

— Нет, в горнице.

Страх его уже совсем прошел, но томительнее стало беспокойство. Ему казалось, что чья-то невидимая рука душит его, сжимает ему сердце и разрывает внутренности. Ощущая близость беды, он особенно мучился оттого, что не знал, какая она и когда поразит его удар. И снова на ум ему пришли слова:

«Что толку, если останется земля, а люди на ней перемрут?..»

И прибавил:

«Неужто смерть моя пришла? Ну что ж: помирать так помирать...»

Огонь догорал. Зоська вымыла миску и, как была в лохмотьях, так и легла на лавку. Слимак пошел в боковушку, но не стал раздеваться; он уселся в ногах у жены и решил бодрствовать всю ночь напролет. Почему? — он и сам не знал. Не знал он и того, что это смутное состояние души называется нервным расстройством.

И все же странное дело: Слимак чувствовал, что Зоська принесла с собой как бы частицу прощения, с минуты ее прихода образы Овчажа и сиротки сразу побледнели в его воображении. Зато еще назойливее стали мысли о немцах и связанных с ними бедах.

— Стасек — раз, — бормотал мужик. — Корова — два... Лошади — четыре... Овчаж с ребенком — вот уже шесть. Магда — семь... Ендрек — восемь... Бурек да баба — десять... Столько народу!.. А ведь ни один немец меня и пальцем не тронул... Нет, видать, все мы тут пропадем...

Он снова и снова считал, чувствуя, как голову ему сжимает железный обруч. Это был сон, тяжелый сон, обычно сопутствующий глухой боли. Ему мерещилось, что он раздваивается, делаясь сразу двумя людьми. Один был он сам, Юзек Слимак, что сидит в боковушке, у ног жены, а другой — Мацек Овчаж, но не тот, замерзший, а совсем новый Овчаж, который вон стоит за окном боковушки в палисаднике, где летом растут подсолнухи. Этот новый Овчаж ничуть не походил на старого, он был мрачный и мстительный. «Ты что же думаешь, — хмурясь, говорил он за окном, — я так и прощу тебе свою обиду? Не то, что я замерз, замерзнуть можно и спяна, а то, что ты выгнал меня на улицу, как собаку. Сам

посуди, что бы ты сказал, кабы тебя так избили — ни за что ни про что? Кабы тебя так выгнали на мороз, больного, без корки хлеба? Столько лет я на тебя работал, и ты меня не пожалел... А сиротка-то чем провинилась, ее ты за что погубил?.. Нечего голову прятать, ты не отворачивайся, а скажи, что мне теперь с тобой сделать за твою подлость? Говори, говори: небось понимаешь, что такое дело не сойдет тебе с рук, тут тебе и господь бог не поможет...»

«Ох, горе мне, ну, что я ему скажу? — думал Слимак, обливаясь потом. — Правильно он говорит, что я прохвост. Пусть уж лучше сам он придумает, как мне отплатить; может, он тогда скорей смилуется и не будет мучить меня после смерти...»

В эту минуту больная зашевелилась на кровати, и Слимак очнулся. Он открыл глаза, и тут же снова их закрыл. В окно боковушки падал яркий розовый свет, на стеклах искрился узорчатый иней.

«Неужто светает?» — удивился мужик и машинально поднялся с кровати.

Но по тому, как колебалось розовое сияние, он сразу понял, что это не рассвет.

— Пожар, что ли? — пробормотал он, вдыхая запах дыма и чувствуя, что угорел.

Он выглянул в горницу: Зоськи на лавке не было.

— Так я и знал!.. — вскрикнул мужик и опрометью бросился во двор...

Теперь он совсем очнулся.

Действительно, горела его хата. Пылала часть крыши, выходившая на большую дорогу. Под толстым слоем снега, застилавшего кровлю, огонь медленно разгорался. Сейчас еще можно было его потушить, но Слимак об этом и не думал.

Он вернулся в боковушку и принялся расталкивать жену:

— Вставай, Ягна, вставай!.. Хата горит!..

— Отстань от меня!.. — в полузабытьи отвечала женщина, закрывая голову тулупом.

Слимак схватил ее на руки и, спотыкаясь о пороги, вынес вместе с тулупом в сарай. Потом сгреб ее одежду и постель, вышиб дверь в клеть и вытащил сундук, где лежали деньги; наконец, выломал окно и стал выбрасывать во двор зипуны, тулупы, табуретки, мешочки с крупой и кухонную посуду. Он замучился, поранил руки, вспотел, но стойко держался, зная, с каким борется врагом.

Между тем занялась уже вся крыша, и сквозь щели на потолке в горницу проникли дым и огонь. Тогда только Слимак вышел на освещенный двор, волоча за собой лавку. Перетащив ее в сарай, он хотел еще раз вернуться — за столом. Но взглянул на ригу — и обомлел. Изнутри вырывались языки пламени, лизавшие снег на крыше. Перед ригой стояла Зоська и, грозя кулаками, кричала во все горло:

— Вот вам, Слимак, спасибо за дочку!.. Теперь и вы пропадете, как она!..

Зоська бегом бросилась к оврагам, взобралась на холм и в зареве пожара принялась приплясывать, хлопая в ладоши.

— Горит!.. — выкрикивала она. — Горит!.. Горит!..

Слимак закружился на месте, как подстреленный зверь. Потом отяжелевшим шагом прошел в сарай, сел на колоду и закрыл руками лицо. Он и не думал спастись от огня, видя в нем кару господню за смерть Овчажа и сиротки.

— Все мы тут пропадем! — бормотал он.

Оба строения уже пылали, как огненные столбы; несмотря на мороз, в сарае становилось жарко и во дворе уже начал подтаивать снег, когда из колонии Хаммера донеслись крики и конский топот. Это немцы спешили на помощь.

Через минуту во дворе засуетились батраки, бабы и дети с ведрами и баграми; прикатили даже ручной насос и, построившись в две шеренги, принялись под командой Фрица Хаммера разбирать стены и заливать пожар. Они шли в огонь, словно в пляс, смеясь и обгоняя друг друга; мужчины — кто посмелей — полезли с топорами на ригу, местами еще не охваченную пламенем; бабы и дети носили воду с реки.

На холме снова показалась Зоська.

— Все равно пропадете, хоть и помогут вам немцы!.. — кричала она Слимаку, грозя кулаком.

— Кто это?.. Что такое?.. Держи ее!.. — загудели колонисты.

Двое из них взбежали на холм, но Зоська уже скрылась в оврагах.

Фриц Хаммер подошел к Слимаку.

— Подожгли у вас? — спросил он.

— Подожгли, — ответил мужик.

— Эта вот? — И Фриц показал рукой на холм.

— Она самая.

— Ну, не лучше ли было продать нам землю?.. — помолчав, сказал Фриц.

Мужик понурил голову, но ничего не ответил.

Несмотря на принятые меры, рига сгорела; часть хаты все же удалось отстоять. Одни колонисты еще заливали водой пожарище, другие окружили Слимака и его больную жену.

— Куда же вы теперь денетесь? — снова заговорил Фриц.

— Будем жить в конюшне, — ответил мужик.

Немки зашептались между собой о том, чтобы взять их на ферму, но колонисты качали головами и говорили, что болезнь Слимаковой может оказаться заразной.

Фриц поспешил присоединиться к их мнению и приказал перенести больную в конюшню.

— Мы вам пришлем, — сказал Фриц, — все, что нужно, а там видно будет...

— Спаси вас господь, — ответил Слимак, кланяясь ему в ноги.

Колонисты начали расходиться. Одну из баб Фриц оставил подле больной, велел кому-то из батраков привезти соломы для погорельцев, а Герману шепнул, чтобы он немедленно ехал в Волю, к мельнику Кнапу.

— Сегодня, видно, заключим с ним сделку, — сказал он Герману. — Давно пора!..

— Если б не это, — Герман мотнул головой, показывая на пепелище, — нам бы не продержаться до весны.

Фриц выругался. Однако со Слимаком он простился дружелюбно и, заметив, что жена его плоха, посоветовал вызвать фельдшера. Наклонившись над больной, он сказал:

— Она совсем без памяти...

Вдруг Слимакова, не открывая глаз, неожиданно твердо проговорила:

— Ага... без памяти... без памяти!..

Фриц отшатнулся, видимо смутившись, но тотчас шепнул:

— Бредит!.. У нее жар...

Пожав руку Слимаку, он отправился вслед за остальными в колонию.

Был уже день, когда из колонии привезли солому, каравай хлеба и бутылку молока, а Слимак все еще расхаживал по двору, где стлался едкий дым пожарища. Бессильно повисшие руки его сплелись в отчаянии, а он все ходил, смотрел, упиваясь горечью страдания. Вот под навесом валяются табуретка и лавка. Сколько им лет!.. Он сживал на них еще ребенком и не раз ножиком вырезал на них какие-то метки и крестики... Да, эти самые... А вот сундук... ключ еще торчит в замке. Мужик отомкнул его, достал маленький мешочек с серебром, потом мешочек побольше с бумажными деньгами и спрятал их в углу конюшни, под сухим навозом. Покончив с этим делом, он снова впал в апатию и снова стал бродить по двору. Вот в куче пепла дымятся почерневшие бревна. Тут была рига, урожай целого года! Рядом лежит Бурек; его уже начали клевать вороны, и из-под желтой шерсти вылезли ребра. А вот его хата — без окон, без дверей, без крыши; одна лишь труба торчит среди закопченных стен.

«Низкая какая хата, а труба высокая!..» — удивлялся Слимак.

Он отвернулся и поднялся на холм: ему казалось, что в эту минуту о нем говорят в деревне, может быть даже спешат ему на помощь. Но из деревни никто не шел; на безбрежной белой пелене не было ни души, лишь кое-где между деревьями светились огни в хатах.

— Завтрак готовят, — пробормотал про себя мужик.

Минутами в его усталом мозгу воскресали знакомые образы; он грезил наяву. Вот снова весна, Слимак боронует овес. Впереди, обмахиваясь хвостами, идут его гнедые, над ним чирикают воробьи, где-то рядом Стасек смотрится в реку, а вдали баринов шурин скачет верхом на лошади, с которой не может сладить. Из-под моста, где жена стирает белье, доносится стук валька, в огороде горланит Ендрек, а Магда из хаты кричит ему что-то в ответ...

В эту минуту до Сливака донесся запах гари, и вдруг все ему тут опротивело: и замерзшая река, в которую уже никогда не будет смотреться Стасек, и холмы, покрытые снегом, и маленькая пустая хата без крыши, с безобразно торчащей трубой. Все тут стало ему мерзко, и впервые в жизни захотелось бежать отсюда куда-нибудь далеко-далеко, совсем в другие края, где ничто не напоминало бы ему ни о Стасеке, ни об Овчаже, ни о лошадях, ни об этом проклятом хуторе.

— Чего я тут не видал!.. — повторял он, размахивая кулаками. — Что, я уйти, что ли, отсюда не волен?.. Денег малость у меня есть, получу у немцев еще и куплю себе землю в другом месте. Чего мне здесь строиться, — чтобы опять спалили? Хозяйствовать — и опять ничего не продавать? Сидеть здесь, чтобы другие отбивали у меня заработок?.. Лучше уж не быть крестьянином, а жить, как немцы: покупать земельку подешевле, продавать подороже да копить денежки про черный день...

Спустившись с холма, он пошел в конюшню и, улегшись на соломе поодаль от стонавшей в бреду жены, сразу уснул.

В полдень в дверях конюшни показался старик Хаммер; рядом стояла какая-то немка с двумя горшками горячего варева. Видя, что хозяин спит, Хаммер ткнул его несколько раз тростью.

— Эй, эй, вставайте! — окликнул он мужика.

Слимак очнулся, сел и протер удивленные глаза. Заметив бабу, стоявшую над ним с горшками, он вдруг ощутил голод, молча взял у нее обе посуды и ложку и жадно принялся есть.

Старик Хаммер уселся на пороге, поглядел на мужика, покачал головой, затем достал из кармана фарфоровую трубку с гнувшимся чубуком и, раскурив ее, начал рассказывать:

— Ходил я сейчас в вашу деревню. Был у Гжиба, у Ожеховского, еще у нескольких мужиков побогаче — насчет того, чтобы они вам чем-нибудь помогли. Это же долг каждого христианина...

Он не спеша пустил клуб дыма, словно ожидая, что мужик станет благодарить. Но Слимак был занят едой и даже не взглянул на него.

— Я сказал им, — продолжал старик, — чтобы кто-нибудь пустил вас к себе на квартиру или хоть послал лошадей за фельдшером для вашей жены. Но они — ни в какую. Только качают головой и говорят, что это вас бог наказал за смерть

батрака и сиротки, а в такие дела они не хотят вмешиваться. У них не христианское сердце.

Слимак уже доел, но по-прежнему молчал. Хаммер опять затянулся и наконец спросил:

— Ну, а что вы теперь будете делать на этом пустыре?

Мужик вытер рот и ответил:

— Продам.

Хаммер потыкал пальцем в трубку, прижимая табак.

— Есть у вас покупатель?

— А я вам продам.

Хаммер задумался и снова поковырял в трубке. Наконец сказал:

— Пфф! Купить — я куплю, раз вы оказались в такой нужде, но я могу дать только семьдесят рублей за морг.

— Недавно еще вы давали сто.

— Чего ж вы не брали?

— Это правильно, — признал мужик. — Всякий, как может, пользуется.

— А вы никогда не пользовались?.. — спросил Хаммер.

— И я пользовался.

— Кроме того, хата и рига сгорели.

— Вы построите себе другие, получше.

Хаммер снова задумался.

— Ну как, отдаете? — спросил он Слимака.

— Чего ж не отдать?

— И завтра поедем к нотариусу?

— Поедем.

— А сегодня вечером договоримся у меня?

— И то можно.

— Ну, если так, — помолчав, продолжал Хаммер, — я вам вот что скажу: я заплачу по семьдесят пять рублей за морг и не дам вам пропасть. Мы отвезем вашу жену в колонию и устроим ее в школе. Там тепло. Вы оба перезимуете у нас, а за работу я вам буду платить, как нашим батракам.

При слове «батрак» Слимака передернуло, но он промолчал.

— От ваших мужиков, — сказал Хаммер, поднимаясь с порога, — вы не дождетесь помощи. У них не христианское сердце. Это скоты... Будьте здоровы.

— Счастливый вам путь, — ответил мужик.

Хаммер ушел. На закате за лежавшей без памяти Слимаковой приехали сани и увезли ее в колонию. Слимак остался на пожарище. Прежде всего он достал из-под навоза мешочки с серебром и с бумажными деньгами и рассовал их по карманам зипуна. Потом перенес в конюшню уцелевшую от пожара одежду и утварь и, наконец, подбросил сена коровам. Ему показалось, что эти бессловесные твари смотрят на него с упреком, как будто спрашивают:

«Что ж это вы делаете, хозяин, неужто ничего лучше не надумали?»

«А что мне делать?.. — отвечал себе мужик. — Ну, остались у меня кое-какие деньги, даже, можно сказать, немалые деньги, да что толку? Если я сызнава построюсь и лошадей заведу, опять что-нибудь приключится: такое уж тут место несчастливое. Вот перейдет сюда немец и отвадит нечистого, а мне с ним не совладать».

Наступил вечер, а Слимак все еще бродил по двору с таким чувством, как будто что-то удерживало его на месте, как будто ноги у него примерзли к земле. Он попытался возбудить в себе гнев и принялся сам перед собой охаивать свой хутор.

— У-у... пакость... — ворчал он. — Было бы что жалеть! А то земля не родит, кругом ни души, заработков никаких, а чего солнце не выжжет, то смоет водой. Не для того же мне тут оставаться, чтоб на мне разживались воры.

Он в самом деле обозлился: плюнул в сердцах, пнул ногой сломанные ворота и размашисто зашагал к мосту, не оглядываясь назад. По дороге он встретил двух немцев-батраков; весело разговаривая, они шли ночевать к нему на хутор. При виде Слимака немцы умолкли, но, едва разминувшись с ним, негромко засмеялись.

— Стану я зимовать с такими стервецами, как вы!.. — буркнул Слимак. — Пусть только малый мой вернется из тюрьмы да поправится баба, я на край света уйду, лишь бы глаза мои вас не видали...

В ясном небе загорелись звезды; из-за леса выплыла луна. За мостом мужик свернул налево и вскоре остановился возле колонии Хаммера.

У ворот послышалось покашливание, там чернела какая-то тень.

— Это вы, пан учитель?.. — спросил Слимак.

— Я. Ну что же, решили продать землю?

Мужик молчал.

— Может, это и к лучшему... Да, пожалуй, к лучшему, — говорил учитель. — Один вы на этом клочке много не навоюете: очень уж вам не везет, а так — хоть других выручите.

Он оглянулся по сторонам и прибавил понизив голос:

— Но у нотариуса вы поторгуйтесь с Хаммерами, ведь вы им оказываете услугу. Как только они с вами уладят это дело, Кнап отдаст свою дочь за Вильгельма, выплатит ему приданое и даст им еще денег в долг. Иначе в день святого Яна Гиршгольд выгонит их и продаст ферму Гжибу... На тяжелых условиях они заключили контракт с Гиршгольдом.

— Это, стало быть, Гжиб хочет купить колонию? — спросил Слимак.

— А вы думали кто? — сказал учитель. — Гжиб покупает для сына... Иосель уже с месяц тут шныряет, и, бог знает, чем бы все это кончилось, если бы вы не решились продать свой хутор.

— Гжиб? — повторил мужик. — Да лучше мне черта иметь соседом, чем эту холеру! И сто немцев так не доймут, как этот старый Иуда.

— А вы все-таки с ними поторгуйтесь, — прибавил учитель. — Кнап уже приехал, так что они не будут особенно упираться.

На ферме скрипнула дверь. Учитель тотчас заговорил о другом.

— Ваша жена, — громко сказал он, — лежит в школе. Вы пройдите туда...

— Это кто, Слимак? — крикнул со двора Фриц Хаммер.

— Я.

— Вы зайдите к жене, но ночевать будете в кухне. За больной присмотрит Августова, а вам нужно выспаться: завтра чуть свет мы едем.

Он скрылся за углом; дверь снова скрипнула. Должно быть, он ушел к себе.

— А вы где живете, пан учитель? — спросил мужик.

— Обычно в школе, но сегодня ночуем с дочерью в конюшне.

Слимак задумался и сказал:

— Видать, мою бабу только до завтра положили в горнице. А завтра нас прогонят в конюшню... Нет, нечего нам тут засиживаться.

Они вошли в темные сени. Откуда-то из дальних комнат доносился громкий разговор, прерываемый взрывами грубого смеха и звоном стаканов. Учитель взял Слимака за руку и потянул к дверям налево. В большой комнате, заставленной скамейками, тускло горела лампочка; в углу на топчане лежала Слимакова; какая-то старуха клала ей на голову мокрые тряпки. Комнату наполнял острый запах уксуса.

У Слимака сжалось сердце. Лишь теперь, ощутив этот запах, он понял, что жена его больна, тяжело больна.

Он наклонился над топчаном; Слимакова, прищуриль глаза, вглядывалась в него. И вдруг заговорила хриплым голосом:

— Это ты, Юзек?..

— Я и есть.

Закрыв глаза, больная теребила край тулупа, которым была накрыта. Немного помолчав, она снова заговорила, на этот раз громче:

— Что ты делаешь, Юзек?.. Что ты делаешь?..

— Да видишь, стою.

— Ага! Стоишь... Я знаю, что ты делаешь... Ты не думай!.. Я все знаю...

— Идите отсюда, хозяин, идите, — перебила ее старая немка, подталкивая мужика к дверям. — Идите, а то она волнуется, ей вредно... Идите.

И она выпроводила его из комнаты.

— Юзек!.. — крикнула Сливакова. — Юзек! Поди сюда... Я тебе кое-что скажу...

Мужик колебался.

— Не стоит, — шепнул учитель, — она бредит и раздражается. Когда вы уйдете, она, может быть, уснет.

Он провел Слимака через сени на другую половину, в кухню. Туда сейчас же вошел Фриц Хаммер и утащил Слимака в комнаты.

За ярко освещенным столом, уставленным пивными кружками, в клубах табачного дыма сидел, попыхивая трубкой, старик Хаммер, а рядом с ним мельник Кнап. Это был тучный человек, грузный, как куль муки, с широкой красной физиономией, лоснящейся от пота. Сидел он без сюртука, держа в одной руке кружку пива и рукавом другой руки вытирая вспотевший лоб. Из-под расстегнутой рубашки, на которой блестели золотые запонки, виднелась полная, как у женщины, грудь, густо поросшая волосами.

Направо от стола, на подставке стоял изрядный бочонок пива, из которого Вильгельм Хаммер то и дело наполнял кружки.

— Ну, как ты называешься, отец? — весело крикнул Кнап грубым голосом, с сильным немецким акцентом.

— Слимак.

— О, правда, это тот самый!.. — гаркнул Кнап и захохотал. — А ты продашь нам твой земля с горой под мельницу?

— Кто его знает?.. — робко ответил мужик. — Стало быть, продам...

— Ха-ха! — покатывался Кнап. — Вильгельм!.. — заревел он, точно Вильгельм был за версту отсюда, — налей ему пива, этому мужику... Пей за мое здоровье, а я за твоё здоровье... Хо-хо-хо!.. Хотя ты ко мне никогда не привозил свое зерно, я буду с тобой чокаться. Ты будь здоров, и я будь здоров... А зачем ты раньше нам не продал твой земля?

— Кто его знает?.. — сказал мужик, жадно глотая пиво.

— Вильгельм!.. Налей ему!.. — гремел Кнап. — А я скажу, зачем ты не продал. Затем, что ты не имеешь крепкого решения. Хо-хо!.. Крепкое решение — это самый главный. Я сказал: «Я буду иметь мельница в Вульке!» — и я имею мельница в Вульке, хотя евреи два раза мне ее подожгли. Что, не правда, Хаммер?.. И я еще сказал: «Мой Конрад будет доктор!» — и Конрад будет доктор. И еще я сказал: «Хаммер, твой Вильгельм должен иметь ветряную мельницу!» — и Вильгельм должен иметь ветряную мельницу. А человек без крепкого решения — он есть, как мельница без воды... Вильгельм!.. Налей ему пива... Что, какое хорошее пиво, правда?.. Это мой зять Краузе делает такое пиво... Хо-хо!..

— Что это?.. — воскликнул он, нагнувшись к бочонку. — Что это, пива нет?.. Баста!.. Идем спать...

Все встали из-за стола. Фриц подтолкнул Слимака к кухне и запер дверь.

Мужик охмелел, сам не зная от чего: от пива или от речей шумливого Кнапа. При свете лампы он разглядел в кухне два топчана: на одном кто-то уже спал, другой был не занят. Слимак присел на него, и вдруг ему стало до того весело, что он закачался: влево — вправо, влево — вправо...

Он ни о чем не думал, он просто прислушивался к разговору на немецком языке, доносившемуся из смежной комнаты. Через некоторое время он услышал звонкое чмоканье, бесконечные восклицания, грохот отодвигаемого стола, хохот Кнапа. Потом кухню залил яркий свет: прошли Фриц и Вильгельм.

— Спать, спать! — крикнул мужику Фриц. — На рассвете мы едем.

Молодые Хаммеры вышли в сени, из сеней во двор, наконец шаги их затихли где-то за амбаром, а Слимак все покачивал головой — влево и вправо. Прошло еще немного времени; в соседней комнате гулко отдавались тяжелые шаги, потом грубый голос Кнапа забубнил: «Vater unser, der Du bist im Himmel...»^[12]

Читая молитву, мельник снимал сапоги и швырял их в дальний угол; затем со словами «аминь... аминь» он улегся на кровать, которая сильно заскрипела под ним.

Наконец он умолк, а через несколько минут захрапел на разные голоса и как-то очень странно: казалось, будто его резали или душили.

Фитилек, едва тлевший в плошке, затрещал, раза два вспыхнул и погас, наполнив кухню противным запахом подгоревшего сала. В заиндевевшее окно глянул месяц, и на глинобитный пол упала полоса тусклого света, перерезанная на шесть долек тенью оконной рамы.

Мельник ужасающе храпел и стонал. Одурманенный пивом, мужик раскачивался вправо и влево, чему-то улыбался и рассуждал вслух:

— Ну, и продам!.. А что? Нельзя, что ли? Лучше мне в чужой стороне купить пятнадцать моргов хорошей, настоящей земли, чем биться здесь на десяти негодных, да еще по соседству с Ясеком Гжибом. Они со стариком вовсе меня заедят... Продать так продать, но чтоб сразу...

Он встал, словно собираясь сейчас же идти к нотариусу. Вспомнив, однако, что до нотариуса далеко, он снова опустился на сенник и тихо засмеялся. Крепкое пиво, выпитое на голодный желудок, совсем его разморило.

Вдруг на фоне освещенного окна показался какой-то силуэт. Кто-то со двора пытался заглянуть в кухню.

Мужик машинально подошел к окну. Взглянул, мигом протрезвел... и выбежал из кухни. От скрипа дверей сонный батрак заворочался и выругался, но Слимак ничего не замечал. Трясущимися руками он нащупал в сенях щеколду, толкнул дверь, и его обдало морозным воздухом.

Во дворе перед домом стояла женщина и заглядывала в окно. Слимак бросился к ней, схватил за плечи и в ужасе прошептал:

— Это ты, Ягна?.. Ты?.. Побойся бога, что ты делаешь? Кто тебя одел?

Действительно, это была Слимакова.

— Сама я оделась, только с башмаками никак не могла управиться, вишь, как нескладно обулась... Ну, пошли домой, — сказала она, потянув его за руку.

— Куда же домой? — ответил Слимак. — Ты, знать, совсем больна, раз не помнишь, что у нас сгорели и дом и рига... Ну, куда ты пойдешь по такому морозу?

В саду залаяли волкодавы Хаммера; Слимакова повисла на руке мужа, упорно повторяя:

— Пошли домой... Пошли домой! Не хочу помирать в чужом углу, словно побирушка... Не! Я сама хозяйка... Не хочу брататься со швабами, а то ксендз не окропит мой гроб святой водой...

Она тянула мужа, и он шел. Так они добрались до ворот, потом вышли за ворота, потом дальше — к замерзшей реке, только бы скорей дойти до жилья. За ними с бешеным лаем бежали собаки и рвали на них одежду.

Они молча шли. Наконец у реки Слимакова, выбившись из сил, остановилась и, передохнув немного, заговорила:

— Ты думаешь, я не знаю, что немцы тебя окрутили и что ты хочешь продать им землю?.. Может, не правда?.. — прибавила она, дико глядя ему в глаза.

Слимак опустил голову.

— Ах ты продажная душа!.. Отступник проклятый! — вдруг взорвалась она, грозя ему кулаком. — Землю свою продаешь?.. Этак ты и самого господ Иисуса Христа продашь!.. Прискучило тебе честно жить, как подобает хозяину, как жил твой отец? Бродяжничать захотел? А Ендрек что будет делать?.. Ходить за чужой сохой?.. А меня ты как похоронишь?.. Как хозяйку или как побирушку какую?..

Она потянула его к себе и ступила на лед. Когда они дошли до середины реки, Слимакова вдруг крикнула:

— Стой тут, Иуда!.. — И она схватила его за обе руки. — Что, будешь продавать землю? Ты уже у меня из веры вышел. Слушай, — говорила она в лихорадочном возбуждении, — ежели продашь, господь бог проклянет и тебя и сына... Этот лед провалится под тобой, ежели ты не откажешься от дьявольского наущения... Я хоть помру, а покоя тебе не дам... Глаз не сомкнешь, а уснешь, я из гроба встану и не дам тебе спать... Слушай!.. — кричала она в приступе безумия. — Ежели ты продашь землю, не проглотить тебе святых даров: поперек горла они тебе станут или разольются кровью...

— Иисусе! — шепнул мужик.

— Куда ни ступишь, трава у тебя загорится под ногами... — заклинала его обезумевшая женщина. — На кого посмотришь, того сглазишь, и несчастье падет на его голову...

— Иисусе! Иисусе! — стонал мужик.

Он вырвался из ее рук и заткнул уши.

— Продашь? Продашь? — спрашивала она, наклоняясь к самому его лицу.

Слимак тряхнул головой и развел руками.

— Будь что будет, — ответил он, — не продам.

— Хоть будешь подыхать на соломе?

— Хоть буду подыхать.

— Так помогай тебе бог!..

— Так помогай мне бог и безвинные муки его...

Слимакова пошатнулась. Муж подхватил ее, обнял и почти дотащил до конюшни, где спали оба батрака Хаммера.

Слимак усадил жену на порог, а сам застучал кулаками в двери.

— Кто там? — спросил сонный голос.

— Отоприте!.. Вставайте!.. — ответил мужик.

Один из батраков отпер дверь.

— Это вы, Слимак? — с удивлением спросил он, кутаясь в тулуп.

— Ступайте к себе в колонию, мне тут надо уложить мою бабу.

Батрак почесал всклокоченную голову.

— Смеетесь вы, что ли?.. Да ведь земля эта уже не ваша...

— А чья же?.. — в бешенстве заревел мужик и, схватив его за шиворот, вышвырнул во двор. — Вон пошли!.. — прибавил он, пропуская второго батрака, который с сапогами в руках сам поспешил уйти.

Возмущенные тем, что их выгнали, немцы, ворча, стали одеваться. Слимак взял жену на руки и уложил на еще не простывшую постель. Женщина тяжело дышала.

— Ну, теперь будете судиться! — сказал старший батрак. — Так нельзя обманывать людей. Старик вам поверил на слово и вызвал Кнапа, жене вашей обеспечил уход, вы договорились о продаже, а сами среди ночи удираете. Честный же вы купец!..

— Это его Геде подбил, — вмешался второй батрак.

— Нет, Геде не такой подлец, — возразил старший, — он не нарушит договора. Тут пахнет евреями. Наверное его подговорили Йосель с Гиршгольдом — два негодяя, которые всех нас пустили в трубу.

Слимак в ярости захлопнул двери конюшни. Оба немца закричали:

— Ты еще заплатишься за свое мошенничество!..

— Всей твоей земли не хватит!..

— Увидишь, как тебя надуют евреи!..

— С голоду подохнешь, руку будешь протягивать на паперти!

— Поцелуйте меня в... — огрызнулся Слимак.

Батраки повернулись и ушли в колонию, грозя кулаками и ругаясь попеременно по-польски и по-немецки. Когда их сердитые голоса замолкли, Слимак вышел из конюшни и стал бродить по двору, прислушиваясь, не едет ли кто по дороге.

«Ничего не поделаешь, — думал он, — придется звать какую-нибудь бабку да фельдшера...»

Время от времени он приоткрывал скрипучую дверь и заглядывал в конюшню. Жена уже не хрипела, и ему показалось, что она спит спокойнее.

Так он прошатался до утра. На заре он задал корму коровам, напоил их, а когда совсем рассвело, пошел в конюшню, решив немного поспать.

Его поразило спокойствие жены. И, хотя глаза у него слипались и шумело в голове, он наклонился над ней и, собрав последние силы, стал осматривать. Потом дернул ее за руку, потрогал губы — она не шевелилась. Умерла и даже успела уже окоченеть.

— Ну вот!.. — пробормотал мужик. — Эх... Все пошло к чертям!..

Он затворился в конюшне, сгреб немного соломы в угол и лег. Через несколько минут он крепко уснул.

Было уже за полдень, когда Слимак проснулся от света и крика. Он открыл глаза и увидел перед собой старуху Собесскую.

— Вставайте, Слимак, вставайте!.. Жена-то ваша померла... Как есть померла...

— А что я могу сделать? — ответил мужик.

И, повернувшись животом вниз, еще плотней натянул на голову тулуп.

— Гроб надо купить... В приход пойти, сказать...

— Ну, и пускай говорят, кому надо...

— Кому надо-то? — кричала бабка. — В деревне толкуют, что вас сам бог наказал за Овчажа да за сиротку... Немцы лютуют против вас — страшное дело! Толстый-то этот, мельник из Вульки, поссорился с ними и уехал... Иосель и то не велел мне сюда идти, говорит, что теперь вы платитесь за цыплят, которых прошлый год продавали дорожникам. Совсем он остервенился, я уж хотела варом ему плеснуть в зенки... Да поднимайтесь же, Слимак!.. — говорила бабка, дергая его за тулуп.

— Эй!.. Отвяжись от меня, — отозвался мужик приглушенным голосом, — а то как двину ногой, так вся водка из тебя брызнет...

— Ах ты безбожник! Собачий ты сын!.. Отступник от святой церкви!.. Да ты и вправду совесть потерял; вишь, валяется, когда родная жена ждет христианского погребения... Да опомнись, Слимак!

— Поцелуй меня, знаешь?.. — заревел мужик и взмахнул ногой в воздухе с такой силой, что старуху ветром обдало.

Бабка всплеснула руками и с воплем побежала в деревню...

Слимак толкнул дверь и снова укрылся тулупом. Сердцем его овладело непреодолимое мужицкое упрямство; он был уверен, что погиб безвозвратно. Он не жаловался, ни о чем не жалел, но хотел лишь одного: заснуть и во сне умереть. Враги его прокляли, знакомые отступились, близкие сошли в могилу. У него не осталось никого и ничего; во всем мире не было руки, которая протянулась бы к нему в минуту отчаяния или подала воды, если бы в горячке его томила жажда. Спасти его могло одно лишь милосердие божье, но он уже в него не верил.

Когда он так лежал, припав лицом к земле, чтобы не видеть трупа жены, солнце опустилось на западные холмы, из ближнего костела донесся вечерний звон, а в хатах бабы набожно зашептали «Ангел господень». Как раз в это время с горы по дороге спускалась какая-то черная сгорбленная тень. Она медленно шла прямо к хутору Сликама, с мешком на спине и с палкой в руках, в сиянии закатного солнца, словно ангел господень, ниспосланный к нему милосердным отцом в столь тяжкую для него годину.

Это был Иойна Недопеж, самый старый и самый бедный еврей во всей округе. Он все делал и всем торговал, но никогда у него ничего не было. Жил он с многочисленным семейством в стороне от дороги, в маленькой хате; один угол в ней давно уже завалился, и над ним не было крыши, а в оконцах, забитых дощечками и заклеенных бумагой, лишь кое-где блестели осколки стекла.

Иойна шел в деревню в надежде, что, может быть, Гжиб или Ожеховский пожелают отдать в починку кое-что из одежды или в крайнем случае найдется какое-нибудь поручение у шинкаря Иоселя, который охотно пользовался его услугами, но платил скупно. Ледяной ветер развеивал его пейсы, трепал жиденькую

бородку, щипал красные разбухшие веки, стараясь пробраться под ветхий заплатаанный балахон. Старик дул на посиневшие пальцы, перекидывал мешок с одного плеча на другое и, с трудом передвигая ноги, озабоченно думал о своей семье. Дождется ли когда-нибудь его жена, старая Либа, щуки на шабес? Что поделявает его сын Менахем, который сбежал от военной службы в Германию, уже сбрил бороду и надел короткий сюртук, но по-прежнему сидит без денег? И когда вернется Бенцион Суфит, самый ловкий из его зятьев, отсиживающий в тюрьме за какие-то преступления против акциза? И станет ли наконец ученым другой его зять, Вольф Кшикер, который уже десять лет ничего не делает и только читает священные книги? Выйдет ли когда-нибудь замуж его дочь Ривка, некрасивая старая дева? А его внуки и внучки — Хаим, Файвель, Мордко, Элька, Лая и Мирля, — будет ли у них когда-нибудь хоть по две крепких рубашки?

— Ай-ай! — бормотал еврей. — А эти негодники еще забрали у меня три рубля...

Эти три рубля отняли у Недопежа грабители еще осенью, но он до сих пор не мог забыть о своей потере. Три рубля были самой крупной суммой, которую ему случалось иметь за всю его жизнь.

В эту минуту взгляд Иойны упал на трубу сгоревшей хаты Слимака, и старик тяжело вздохнул. Ай! Что было бы, если бы это на его хату господь послал огонь, и куда бы девались его жена, дочери, зять, внуки и внучки?

Волнение его еще усилилось, когда из закута послышалось мычание коровы. Значит, Слимак здесь, на хуторе. Ну конечно, здесь; никто в деревне их не пустит к себе, уже больше года все на них сердятся. А за что сердятся? Ну, а за что сердятся на него, старого Иойну, и еще называют его мошенником? Бывает это у людей: вдруг они кого-нибудь невзлюбят; так уж устроен мир, и Иойна его не исправит.

Корова опять заревела (обе они то и дело мычали с самого полудня), и Иойна свернул с дороги посмотреть, что делается у Слимаков.

«Может, и заработаю что-нибудь у них», — подумал он.

Войдя во двор, старик поглядел по сторонам и, качая головой, направился к конюшне.

— Слимак!.. Пан хозяин!.. Пани хозяйка, вы здесь?.. — кричал он, стуча в стену.

Отворить дверь он побоялся, чтобы, в случае если хозяев не окажется, его не упрекнули, что он суется, куда его не звали.

— Кто там? — откликнулся Слимак.

— Это я, старый Иойна, — ответил он.

И, приоткрыв дверь, спросил с удивлением:

— Что у вас случилось?.. Что с вами, Слимак?.. Где хозяйка?..

— Померла.

— Как так померла? — попятился старик. — Что за шутки такие? Ай-ай! А может, и в самом деле померла? — прибавил он, взглядываясь в покойницу. — Такая хорошая хозяйка! Ай, какое несчастье свалилось на вас, не дай бог... Тьфу! — сплюнул он. — А чего вы лежите, Слимак? Надо же похороны устроить.

— Зараз двоих будут хоронить, — буркнул мужик.

— Как это так — двоих?.. Вы что, захворали?

— Не.

Еврей покачал головой, сплюнул и задумался.

— Но так же невозможно, — сказал он, — если вы не хотите трогаться с места, я сам дам знать, только скажите кому.

Слимак молчал, но опять заревела корова.

— Чего она размычалась, ваша скотина? — спросил с любопытством Иойна.

— Верно, оттого, что не поена.

— А что же вы ее не напоили?

Мужик не отвечал. Еврей постоял с минуту, потом постучал пальцем по лбу, бросил на землю мешок, палку и спросил:

— Где у вас ушат, хозяин? Где ведро?..

— Отстаньте вы от меня! — сердито проворчал мужик.

Но Иойна не отступал. Он разыскал в закуте ведро и бадейку, несколько раз сходил к проруби за водой, напоил коров и поставил полную кружку возле Слимака. К коровам Иойна питал особую слабость: более полувека он тщетно мечтал когда-нибудь обзавестись собственной коровой или хотя бы козой.

Отдышавшись после непосильной работы, он опять спросил Слимака:

— Ну, как же будет?

Мужика тронуло его сострадание, ко из апатии не вывело. Он только приподнял голову и сказал:

— Ежели повстречаете Гроховского, накажите ему от меня, чтобы не позволял продавать мою землю, покуда Ендрек не подрастет.

— А что мне сказать в деревне?.. Я туда иду.

Но мужик уже укрылся тулупом и замолчал.

Уткнувшись подбородком в кулак, еврей долго стоял, раздумывая. Наконец затворил дверь, взял свой мешок, палку и пошел, но не за мост, в деревню, а вверх по дороге. Сочувствие бедняка к чужому несчастью было настолько сильно, что в эту минуту он позабыл о собственных горестях и думал только о том, как спасти Слимака. Верней, даже не думал, а не умел отделить Слимака от себя. Ему

казалось, что это он сам, Иойна, лежит в конюшне подле умершей жены и что любой ценой он должен вырваться из этого ужаса.

И он спешил, насколько позволяли его старые ноги, прямо к Гроховскому. Было около шести вечера и уже почти стемнело, когда Иойна добрался до двора старосты. Его поразило, что в хате не было света. Он постучался, никто не отвечал. Прождав с четверть часа у порога, он обошел хату кругом и, отчаявшись, собрался уже уходить, как вдруг перед ним, словно из-под земли, появился Гроховский.

— Ты здесь зачем?.. — грозно спросил его огромный мужик, стараясь спрятать за спиной какой-то длинный предмет.

— Зачем?.. — испуганно повторил Иойна. — Я нарочно к вам прибежал от Слимака... Знаете, они погорели, Слимакова померла, а сам он лежит около нее, совсем как помешанный... Он говорит такое... В голове у него ходят очень нехорошие мысли, он даже коров не напоил. Так я уже боюсь, как бы он над собой не сделал чего-нибудь ночью.

— Слушай, еврей, — сурово сказал мужик, — ты мне правду говори. Кто тебя подучил врать? Сам ты не вор — я знаю, но тебя воры подослали...

— Какие воры? — вскрикнул Иойна. — Я иду прямо от Слимака...

— Не ври, не ври!.. — отрезал Гроховский. — Меня ты отсюда не выманишь, хоть бы ты еще с три короба нагородил, а они тебе все равно твоих денег не отдадут...

Он погрозил Иойне и скрылся за домом. Лишь теперь старик заметил в руках Гроховского ружье. Как видно, староста подстерегал воров.

Вид оружия так напугал Иойну, что в первую минуту он чуть не упал, а потом быстро побежал по дороге. В бледном лунном свете каждый столб, каждый кустик казался старику разбойником, который сперва его ограбит, а потом застрелит из ружья. Он, наверно, умер бы от одного грохота.

И все же Иойна не забыл про Слимака и, выбравшись на большак, отправился в ту деревню, где был костел.

Нынешний ксендз всего лишь несколько лет возглавлял приход. Это был человек средних лет, очень красивый собой. Он получил высшее образование и держал себя, как подобает хорошо воспитанному шляхтичу. Ежегодно он выписывал больше книг, чем все его соседи вместе взятые, и много читал, однако это не мешало ему разводить пчел, охотиться, ездить в гости и исполнять обязанности священника.

Он пользовался всеобщей симпатией. Шляхта любила его за ум и за беспечный нрав кутилы; евреи за то, что он не давал их в обиду; колонисты за то, что он угощал у себя в приходе пасторов, а мужики за то, что он отстроил костел, огородил кладбище, говорил прекрасные проповеди, устраивал пышные богослужения и не только даром крестил и хоронил бедных, но и оказывал им помощь.

Однако отношения между крестьянами и главой прихода оставались далекими. Мужики уважали его, но побаивались. Глядя на него, они представляли себе бога важным паном, шляхтичем, хотя и добрым, но не из тех, что станут болтать с кем попало. Ксендз это чувствовал, и его крайне удручало, что никто из мужиков ни разу не пригласил его на крестины или на свадьбу, никто не обращался к нему за советом. Желая побороть их робость, он нередко заговаривал с ними, но всякий раз, заметив испуг на лице мужика и смешавшись сам, обрывал разговор.

«Нет, — сокрушался он, — не могу я притворяться демократом».

Иногда, во время распутицы, проведя несколько дней в одиночестве, ксендз испытывал угрызения совести.

«Негодный я пастырь, — корил он себя, — ничтожный апостол Христов. Не для того же я стал священником, чтобы играть в карты со шляхтой, а для того, чтобы служить малым сим... Дрянной я человек, фарисей».

И, запершись на ключ, он подолгу простаивал коленопреклоненный на голом полу, моля бога о ниспослании ему духа апостольского. Он давал обет раздарить всех легавых, выбросить из погреба бутылки, раздать свои элегантные сутаны бедным и никогда более не играть в карты с помещиками, а поучать заблудших, утешать страждущих и наставлять колеблющихся. Но в то самое время, когда благодаря посту и молитве в нем готов был проснуться дух смирения и самоотвержения, сатана насылал к нему в дом гостей.

— Не будет мне спасения, не будет... Господи, смилуйся надо мной!.. — бормотал в отчаянии ксендз, поспешно поднимаясь с колен, чтобы распорядиться насчет обеда и напитков.

А четверть часа спустя он уже распевал светские песенки и пил, как улан.

В тот вечер, когда пришел Йойна, ксендз собирался с визитом к одному из окрестных помещиков. Он знал, что приедет человек двадцать гостей, в том числе инженер из Варшавы с самыми свежими новостями; будут, как водится, преферанс, отличный ужин и редкие вина, припасенные для инженера, который сватался к дочке помещика. Ксендз несколько дней провел в одиночестве и теперь с лихорадочным нетерпением ждал минуты отъезда. Ему до смерти наскучило смотреть из одного окна во двор, где разжиревший работник колот дрова, а из другого в сад, занесенный снегом, наскучили все те же голые деревья, на которых кричали галки; он стосковался по людям и насилу дождался вечера. Теперь он уже считал не часы, а минуты, но когда снова взглядывал на циферблат, думая, что уже пора ехать, к изумлению его, оказывалось, что прошло всего четверть часа.

Викарий жил в другом доме; он ложился спать, как только садилось солнце и надевал на ночь суконный, на вате, колпак. Это было единственное, что немного забавляло ксендза, который не любил своего помощника. Чтобы как-нибудь скоротать время до отъезда, он потребовал самовар, раскурил трубку и замечтался:

«Будут сегодня пани Теофилёва с мужем или не будут?.. Ну, он-то человек на редкость глупый, но она... Боже милосердный, о чем же я думаю!..»

Но как ни корил себя ксендз, все время он видел зеленоватые глаза пани Теофилёвой, с тоской устремленные на него, видел то необычное выражение лица, с каким она недавно сказала:

— Знаете, в жизни бывают драмы, более тяжелые, чем на сцене...

Тогда он ей ничего не ответил, только почувствовал, как что-то сжалось у него в груди. Но сейчас, отсчитывая медленные удары маятника, наедине с самим собой, он признавал, что в жизни бывают не только тяжелые, но и страшные драмы.

Что за адская мука — таить от самого себя свои мысли!

Он поднес трубку к губам, глубоко затянулся и вдруг вздрогнул. Ему почудилось, что его сутана коснулась шелкового платья.

— Господи, смилуйся надо мной! — прошептал он, вставая из-за стола.

Но стоило ему сесть, как он снова видел зеленоватые глаза и ощущал жгучее прикосновение шелковой платья.

«Ах, скорей бы уж ехать... Мороз отрезвит меня... Впрочем, я весь вечер буду играть в преферанс...»

Так он убеждал себя, но сам не вполне этому верил. Он знал, что дамы задержат его в гостиной и что он увидит устремленные на него, как всегда, ее дивные глаза и печальное лицо, на котором словно запечатлелись слова: «Знаете, в жизни бывают драмы...»

Вдруг постучались в дверь. Вошел Иойна и поклонился до земли.

— Хорошо, что ты пришел! — воскликнул ксендз. — Я даже хотел послать за тобой: у меня набралась куча платья, которое нужно привести в порядок.

— Слава богу! — ответил еврей. — Я уже целую неделю сижу без работы. И еще пани экономка сказала, что на кухне испортились часы...

— Ты умеешь и часы чинить?..

— А как же? У меня даже инструменты при себе.

— Отлично!.. Портной и часовщик.

— Я и шорник, и зонтики исправляю, и посуду умею лудить.

— Ну, если так, оставайся у меня на всю зиму. А когда ты примешься за работу?

— Сейчас же и засяду.

— На ночь глядя? — спросил ксендз.

— Я работаю и ночью. В мои годы уже немного спят.

— Как хочешь. Так ты ступай во флигель и скажи, чтобы тебе дали поужинать. Чаю тебе сейчас принесут.

— Прошу вас, извините меня, — поклонился старик, — но если можно, пусть сахар будет отдельно.

— Ты пьешь без сахару?

— Наоборот, я даже люблю, чтобы чай был очень сладкий, но пью пустой, а сахар прячу для внуков.

— Пей с сахаром! Для внуков получишь отдельно, — засмеялся ксендз, удивляясь хитроумию старика. — Валентий, подай мне шубу, — вдруг заторопился он, услышав, как подкатили сани.

Еврей снова поклонился.

— Еще раз извиняюсь, — сказал он, — но я к вам пришел от Слимака...

— От Слимака?.. — повторил ксендз. — Ах да! Это ведь у него был пожар.

— То есть даже не от Слимака... он бы не посмел к вам посылать. Но сегодня его жена померла, и у него что-то неладно в голове; они оба лежат в конюшне, и даже некому воды подать, даже коров не поили целый день.

Ксендз ахнул.

— Как? Никто из деревни их не навестил?..

— Я опять попрошу извинения, — поклонился еврей, — но в деревне болтают, что на него обрушился гнев божий. Так по этому случаю он должен погибнуть, если никто его не спасет.

И старик поглядел в глаза ксендзу, словно желая сказать, что именно он должен спасти Слимака.

Ксендз так стукнул об пол чубуком, что трубка треснула.

— Ну, я, с вашего позволения, пойду во флигель, — прибавил еврей.

Он взял мешок, палку и вышел.

У крыльца позвякивали бубенчики, напоминая ксендзу, что пора ехать к соседу. Валентий стоял в комнате с шубой в руках.

«Там меня ждут, — думал ксендз, оперев в пол выгнувшийся дугой чубук. — Приехал инженер... Может быть, я понадобится при обручении... („Может быть, ты целую неделю не увидишь пани Теофилёву“, — тише мысли шепнул ему внутренний голос.) А этот мужик может потерпеть и до завтра, тем более что все равно я не воскрешу покойницу...»

Ах, как мучителен выбор между блестящим раутом и ночным посещением погорельца, который лежит рядом с трупом в конюшне...

— Давай шубу! — сказал ксендз. — Нет, погоди... — И он прошел к себе в спальню.

«Сейчас около восьми, — соображал он. — Если я поеду к нему, будет уже поздно ехать к ним».

И снова в пустой комнате он увидел зеленоватые глаза и печальное личико, снова услышал слова: «В жизни бывают драмы...»

— Шубу!.. Постой... Погляди, Валентий, поданы ли лошади?

— Стоят у крыльца, — ответил слуга.

— Ага... А ночь светлая?

— Светлая.

— Ага! Сходи к экономке и вели ей накормить старика. И пусть поставит ему лампу поярче, если он захочет работать ночью.

Валентий вышел.

— Нет, не могу я быть рабом всех погорельцев и баб, которые здесь умирают. Подождут до завтра. Да и нестоящий он, должно быть, человек, если никто из деревни не поспешил ему на помощь.

Ксендз ненароком взглянул на распятие — и вздрогнул. Ему показалось, что и у спасителя зеленоватые глаза.

— Святые раны господни, — прошептал он. — Что со мной делается? И это я — гражданин, священник, колеблюсь между развлечением и помощью несчастному... Священник!.. Гражданин!..

Он схватился обеими руками за голову и зашагал по комнате. Вошел Валентий.

Ксендз повернул к нему побледневшее лицо.

— Возьми корзинку, — сказал он изменившимся голосом, — положи туда мясо от обеда, хлеб, бутылку меду и отнеси в сани.

Слуга удивился, но выполнил приказание.

«А что, если он умирает? — думал ксендз. — Захватить, может быть, святые дары?.. Ужасно!.. — шепнул он, снова увидев перед собой эти удивительные глаза. — Я проклят, навеки проклят... Боже, смилуйся надо мной...»

Он бил себя в грудь и отчаивался в возможности своего спасения, забывая, что отец небесный ведет счет не раутам или выпитым бутылкам, а тяжким мукам борющегося с собой человеческого сердца.

XI

Через полчаса раскормленные лошади ксендза остановились перед хутором Слимака. Ксендз зажег хранившийся под козлами фонарик и, неся его в одной руке, а корзину в другой, направился к конюшне.

Едва толкнув дверь, он увидел труп Слимаковой. Взглянул направо: на соломе сидел мужик, закрывая рукой глаза от света.

— Кто тут? — спросил Слимак.

— Я, ксендз.

Мужик вскочил, накинул на плечи тулуп. Лицо его выражало удивление; видимо, он не мог понять, что происходит. Пошатываясь, он переступил порог и, став против ксендза, глядел на него, разинув рот.

— Чего вам? — тихо спросил он.

— Я принес тебе благословение господне. Тут холодно: надень тулуп и подкрепись, — сказал ксендз.

Он поставил корзину на высокий порог и вынул из нее хлеб, мясо и бутылку меду.

Слимак подвинулся ближе, заглянул ксендзу в лицо, потрогал руками шубу и вдруг повалился ему в ноги, рыдая:

— До чего же мне тяжело!.. Так тяжело!.. Ох, до чего тяжело!..

— *Benedicat te omnipotens Deus*^[13], — благословил его ксендз.

И неожиданно, вместо того чтобы перекрестить, обнял его за плечи и опустился с ним рядом на порог. Так они долго сидели — элегантный ксендз и бедный, плачущий мужик в его объятиях.

— Ну, успокойся, брат, успокойся... Все будет хорошо... Господь не оставляет детей своих...

Он поцеловал его и утер ему слезы. Слимак с воплем снова упал в ноги ксендзу.

— Теперь мне и помирать не страшно... — всхлипывал он. — Теперь мне можно и в пекло провалиться за все мои грехи, когда мне выпало такое счастье, что сам ксендз сжалился надо мной... А стою ли я? Да проживи я хоть сто лет, хоть бы я на коленях дополз до святой земли, мне этого не заслужить...

Не вставая с колен, он отодвинулся и у ног ксендза стал отбивать земные поклоны, словно перед алтарем. Прошло мною времени, прежде чем ксендзу удалось успокоить Слимака. Наконец он заставил его подняться и надеть тулуп.

— Выпей, — сказал ксендз, протягивая ему чарку меду.

— Да я не смею, благодетель, — смущенно ответил мужик.

— Ну, я пью за твое здоровье. — И ксендз пригубил чарку.

Слимак принял мед дрожащими руками и, снова опустившись на колени, выпил.

— Что, вкусно? — спросил ксендз.

— Ух, добро! Арак против него дрянь... — ответил мужик уже другим тоном и поцеловал ксендзу руку. — Видать, тут корней много положено, — прибавил он.

Потом ксендз уговорил его съесть кусок мяса с хлебом и выпить еще меду. Еда заметно подкрепила Слимака.

— А теперь расскажи мне, брат, что с тобой случилось, — начал ксендз. — Помнится, ты был прежде зажиточный хозяин.

— Долго рассказывать, благодетель. Один сын у меня потонул, другой сидит в тюрьме, жена померла, лошадей у меня украли, хату подожгли. А все мои беды начались с того самого времени, как пан продал имение, как начали строить дорогу да как пришли сюда немцы. Вот за этих первых дорожников, еще когда они тыкали колышки в поле, и взъярились на меня в деревне. Это все Йосель их подбивал из-за того, что землемеры у меня покупали цыплят и всякую всячину. Он и по нынешний день их подуськивает...

— А вы продолжаете ходить к нему за советом, — заметил ксендз.

— А куда же пойти, благодетель, скажите, сделайте милость? Мужик — человек темный, а еврей во всем знает толк, так иной раз и хорошо посоветует.

Ксендз пошевелился. Мужик, возбужденный медом, продолжал:

— Как пан уехал, кончились мои заработки в имении да еще пришлось отдать немцам те два морга земли, что я арендовал у пана.

— Ааа!.. — прервал ксендз. — Это не тебе ли помещик хотел продать за сто двадцать рублей луг, который стоил не меньше ста шестидесяти?

— Правильно, мне.

— Почему же ты не купил? Ты не поверил ему. Вам все кажется, что господа только и думают, как бы вас обидеть.

— Кто их знает, благодетель, что они думают? Между собой лопочут, будто евреи, а станут с тобой говорить — все им смешки. Я и сейчас помню, как тогда пан со своей пани да с шурыком начали надо мной мудрить насчет этого луга, так до того меня напугали, что я и за сто рублей его бы не взял. Да еще толковали люди в ту пору, что будут землю раздавать.

— А ты и поверил?

— Да как тут сообразишь, когда со всех сторон все только мутят, а истинной правды ни от кого не узнаешь? Всех лучше в этих делах разбираются евреи, но один раз они скажут так, другой — этак, а мужик тому верит, к чему у него душа лежит.

— Гм! А на железной дороге у тебя был какой-нибудь заработок?

— Гроша ломаного не видел, немцы сразу меня прогнали.

— И ты не мог прийти ко мне? — негодовал ксендз. — Ведь у меня все время жил главный инженер.

— Простите, благодетель, откуда же мне было знать? Да и не посмел бы я к вам пойти.

— Гм, гм! А что, немцы тоже тебе досаждали?

— Ой, ой! — вздохнул мужик. — Как приехали, так и начали из меня душу тянуть: продай да продай им землю! Так на меня надели, так приставали, что, когда господь наслал на меня огонь, я не устоял и перебрался с женой к ним...

— И продал?..

— Господь бог уберег да моя покойница. Встала со смертного одра, утащила меня от них и так заклинала, что лучше я помру, а продавать не стану. Ну, теперь они меня заедят... — уныло прибавил Сликама, понурился головой.

— Ничего они тебе не сделают.

— Ну, не они, так старый Гжиб. В случае Хаммеры отсюда уйдут, Гжиб у них купит ферму. А он еще похуже немца.

«Нечего сказать, хорош пастырь! — подумал про себя ксендз. — Мои овцы грызутся между собой, как волки, немцы их донимают, евреи дают им советы, а я разъезжаю по гостям!..»

— Побудь здесь, брат мой, а я заеду в деревню.

Он поднялся с порога. Сликама еще раз поклонился ему в ноги и проводил до саней.

— Поезжай за мост, — приказал ксендз вознице.

— За мост?.. А туда не поедет? — удивился кучер, повернув к нему пухлое, точно искусанное пчелами, лицо.

— Поезжай, куда велют! — нетерпеливо ответил ксендз и порывисто опустился на сиденье.

Сани тронулись. Сликама остался один; опершись на плетень, как когда-то, в лучшие времена, он прислушивался к замиравшему вдали звону бубенчиков и думал: «Откуда же это благодетель про нас узнал? Видать, от ксендза, как от господя бога, ничто не укроется... Чудеса! Из здешних никто не мог ему сказать: ни немцы, ни Собеская... Может, Иойна? Добрый он еврей, жалостливый, коров моих напоил, но какая ему охота бежать среди ночи в этакую даль! Да и шел-то он в деревню. Неслыханное дело: сам благодетель приехал к мужику, накормил его, напоил да еще обласкал. Господи боже мой, мне, право, совестно, как это я его облапил... А я и к органисту не смел бы подступить...»

Он стоял, задумавшись, и шептал:

— Видать, круто все переменялось на свете, ежели такой важный духовный чин не постыдился сидеть с мужиком запанибрата, да еще на пороге конюшни. Или землю опять стали раздавать?.. Или, может, совсем упразднили шляхту?.. А добрый у нас ксендз, душевный. Аккурат, как тот святой епископ, что своими руками поднял Лазаря и перевязал ему раны. Верно, и наш тоже будет святой; да, пожалуй, он и сейчас уже святой, раз он ясновидящий и знает, что за полмили делается. Теперь сунься ко мне кто-нибудь с советами, не поздоровится ему... Эх,

если б еще благодетель отпустил мне грех за беднягу Овчажа и за сиротку, уж тогда бы я ничего не боялся.

Слимак вздохнул и долго смотрел на небо, усыпанное звездами.

— Любопытно мне знать, — пробормотал он, — как там на небе: жгут ли всю ночь лампы, или само оно так светится?

Вдалеке, на мосту, снова зазвенели бубенчики, зафыркали лошади, и вскоре у хутора остановились сани ксендза. Мужик выбежал на дорогу.

— Это ты, Слимак?

— Я, благодетель.

— Завтра у тебя будет старый Гжиб: он хочет тебе помочь. Помирись и больше не ссорься. А к вечеру надо похоронить покойницу. Я уже послал за гробом в местечко.

— Спаситель вы мой!.. — простонал мужик.

— Ну, Павел, гони что есть мочи, — сказал ксендз кучеру.

Он достал часы с репетиром и, когда они пробили три четверти десятого, пробормотал:

— Да, поздновато, но еще успею!..

Он снова видел перед собой зеленоватые глаза — то на снегу, то среди звезд, то на спине разжиревшего кучера.

— Господи, смилуйся надо мной... Господи, смилуйся... — шептал ксендз, борясь с дьявольским искушением.

Слимак стоял посреди дороги до тех пор, пока сани не растаяли во тьме. А когда все кругом затихло, он вдруг почувствовал крайнюю усталость и непреодолимое желание уснуть. Он медленно поплелся к конюшне, но туда не вошел. Теперь он боялся спать подле умершей жены и лег в закуте.

Сны у него были тяжелые, как всегда после сильных потрясений. То он куда-то падал, то тонул в ледяной воде или блуждал по незнакомой местности, где царил вечный полумрак и никогда не бывало дня, то ему почудилось, что жена убежала из конюшни и хочет пробраться к нему в закут; вот она тихонько отворяет дверь, вот отдирает доску в стене... Он проснулся усталый и печальный; на минуту ему показалось, что ночное посещение ксендза было только сном. В тревоге он заглянул в конюшню и успокоился, лишь когда увидел хлеб, мясо и початую бутылку меду, которую ему вчера оставил ксендз. Свет занимающейся зари упал на покойницу и зажег два тусклых луча в ее полуоткрытых глазах.

«Нет, никуда она не уходила ночью», — подумал мужик и вздохнул, поминая душу усопшей.

Вдруг какие-то сани, ехавшие по дороге, остановились у ворот. Через минуту во двор вошли два мужика с большой корзиной. Слимак с изумлением увидел, что это старик Гжиб и его батрак.

— Ну, Куба, теперь поезжай в город за гробом, да живо! — сказал Гжиб батраку, когда они поставили корзину возле закута.

Батрак ушел, а Гжиб обернулся к Слимаку, но седая голова его тряслась, а желтоватые глаза беспокойно бегали.

— Моя вина, — крикнул он, ударяя себя в грудь. — Моя вина!.. Ну, что... сердитесь еще?..

— Пошли вам бог всякого благополучия за то, что вы не оставили меня в моей беде, — проговорил Слимак и низко ему поклонился.

Старику понравилось его смирение. Он схватил Слимака за руку и сказал уже мягче:

— Я вам говорю: моя вина, потому что так мне велел ксендз. Оттого я, старик, к вам первый пришел и говорю: моя вина!.. Но и вы, кум (не в укор вам будь сказано), здорово мне досаждали.

— Простите и вы, ежели я кому что сделал худого, — молвил Слимак, склоняясь к плечу Гжиба, — но, по правде сказать, не припомню, чем же я вас-то обидел?

— Да я не жалею. А все ж таки с дорожниками вы торговали без меня...

— Вот и наторговал... — вздохнул Слимак, показывая на пожарище.

— Да, тяжелое испытание послал вам отец наш небесный, потому я и говорю: моя вина! Но и вы тоже могли тогда у костела, когда покойница ваша (вечная ей память!) накупила себе фуляров, могли вы хоть полчетверти на радостях поставить, а то сразу возгордились и невесть чего наговорили мне, старику...

— Ох, правда, зря я лаялся.

— Ну, и с немцами вы тоже зря братались, — подхватил Гжиб. — Ендрек — тот даже пил с ними (помните, когда они место под дом выбирали?), а вы с ними заодно молились...

— Я только шапку снял. Ведь бог-то один — что у них, что у нас.

Гжиб замахал руками.

— Это так только говорится, что один, — ответил он. — А я думаю, что у них бог другой, раз с ним надо по-немецки лопотать... Ну, да что там! — вдруг повернул он разговор. — Что было, то прошло и не воротится. А благодетель вчера мне сказал, что вы много заслужили перед богом, потому что землю не отдали немцам. И правильно сказал. Вчера уже приходил ко мне Хаммер: хочет на святого Яна продать свою ферму.

— Может, и так!..

— Так оно и есть. Прохвосты-то эти, швабы, — погрозил старик кулаком, — всего год назад говорили, что всех нас отсюда помаленьку выкурят, гусей моих на лугу перестреляли, скотину раз захватили, а теперь — на-ка!.. Свернули себе шею, стервецы, одного мужика на десяти моргах не одолели, а ведь как нос задирали!.. За это одно, Слимак, стойте вы милости божьей и людской дружбы. Ну, что покойница?

— Лежит в конюшне.

— Пусть покоится с богом, покуда мы в святом месте ее не схороним. А не раз она против меня вас подзуживала; ну, да я ни на кого не обижаюсь... А тут, — заговорил Гжиб о другом, — я привез вам из деревни, от всех нас, малость харчей. Вот крупа, — показал он на один мешок, — а это горох, мука, шматок сала...

С дороги, на этот раз сверху, донесся топот копыт и скрип саней, которые тоже остановились возле хутора.

— Неужто благодетель?.. — спросил Гжиб, насторожившись.

— Нет, это мужик, — ответил Слимак. — Вон как грузно шагает, вроде старосты Гроховского.

Действительно, показался Гроховский. Увидев Гжиба, он крикнул:

— А!.. И вы тут? А я к вам ехал... Что у тебя, Юзек? — обернулся он к Слимаку.

— Баба моя померла — вот что.

— Говорил мне вчера Иойна, да я ему не поверил. Скажите-ка, а? Где же она?.. Ага, тут...

Взглянув на покойницу, староста снял шапку и стал на колени прямо в снег. Гжиб опустился рядом. Несколько минут слышались шепот молитв и тихие всхлипывания Слимака. Потом мужики поднялись, поохали, похвалили покойницу, помянув ее добродетели; наконец староста обратился к Гжибу.

— Птенца вашего везу, — сказал он, — маленько подстрелен, но не шибко.

— А? — спросил Гжиб.

— Да чего «а»? Ясека вашего привез. Нынче ночью он у меня лошадей воровал, ну я и вlepил ему несколько дробинок.

— Ах он, мерзавец!.. Да где он?..

— Сидит в санях на дороге.

Гжиб рысью побежал за ворота. Оттуда послышались удары, крики, а затем старик показался снова, волоча за волосы Ясека, который, несмотря на свой рост и красоту, ревел, как малое дитя.

Вышитая куртка его была изорвана, высокие сапоги испачканы в навозе, левая рука обмотана окровавленной тряпкой, лицо залеплено пластырем.

— Воровал ты лошадей у старосты?.. — спрашивал разгневанный старик.

— А что мне не воровать? Воровал.

— Но тут ему не повезло, — вмешался Гроховский, — зато повезло у Слимака: это ведь он украл у него лошадей.

— Ты украл?.. — заорал Гжиб, бросаясь на сына с кулаками.

— Я, я, только не сердитесь, тятенька, — хныкал Ясек.

— Господи боже мой, что же это делается! — кричал Гжиб.

— А что делается? — презрительно возразил Гроховский. — Парень здоровый, нашел себе дружков под стать, вот они всех по очереди и обворовывали, пока я его вчера не подстрелил.

— Что же теперь будет? — кричал старик, снова принимаясь тузить Ясека.

— Больше не буду, тятенька... Уж теперь-то я женюсь на Ожеховской и возьмусь за хозяйство...

— Вот-вот, в самый раз! Теперь-то впору в тюрьму идти, а не свадьбу играть, — заметил Гроховский.

Старый Гжиб призадумался.

— Вы, что же, будете на него жаловаться? — спросил он старосту.

— Лучше бы не жаловаться, а то из-за такого дела по всей округе завороха пойдет. Но ежели вы мне отступного не дадите, придется жаловаться.

Гжиб снова задумался.

— Ну, а сколько это будет стоить?

— Со ста пятидесяти рублей гроша не скину, — ответил староста, разводя руками.

— Господи боже мой! — возмутился Ясек. — Стреляли вы в меня из одностволки, а денег требуете, словно за пушку.

— Коли так, — сказал Гжиб, — пускай посидит в тюрьме, я за этого мерзавца сто пятьдесят рублей не стану платить.

— Мне сто пятьдесят за секрет, — продолжал Гроховский, — а Слимаку восемьдесят за украденных лошадей.

Гжиб снова бросился колотить парня.

— Ах ты разбойник!.. Говори, кто тебя подучил?..

— Известно кто — Иосель... Да хватит вам драться, — вопил Ясек, — право, совестно перед чужими людьми. Что вы все бьете меня да бьете?..

— А ты зачем Иоселя слушал?

— Да я ему задолжал сто рублей!

— Господи Иисусе! — простонал Гжиб и принялся рвать на себе волосы.

— Ну, не с чего вам голову терять, — заметил Гроховский. — Всего-то триста тридцать рублей — мне, Слимаку да Иоселю. Для вас это пустое дело.

— Нет, не буду столько платить! — заявил Гжиб.

— Да я сам заплачу, как только женюсь на Ожеховской, — выкрикнул Ясек.

— Холеру ты заплатишь!.. Дождешься от тебя!.. — не унимался старик.

— Ну, коли так, — рассердился староста, — пускай идет под суд. Ты не в шутку у нас воровал, и я с тобой не стану шутить. Собирайся!

И он потащил огромного парня за шиворот.

— Тятенька, смилуйтесь... ведь один я у вас!.. — взмолился Ясек.

Старый Гжиб поочередно взглядывал то на сына, то на Гроховского, то на Слимака.

— Ух, и жадный же вы, тятя!.. Ни за грош губите меня на всю жизнь! — причитал Ясек.

— Вишь, как он теперь запел, — подтрунивал староста. — А помнишь, как ты возле правления курил сигару да посмеивался, что меня обворуют... Я сказал, что не обворуют, и вышло по-моему, а ты теперь ревешь, как баба! Ты вот сейчас посмейся... Ну, пойдём. Увидишь, отец твой не вытерпит, догонит нас дорогой.

— Постой, постой!.. — засуетился Гжиб, видя, что староста и вправду тащит парня к саням.

Гроховский остановился. Гжиб кивнул Слимаку, и они отошли за сарай.

— Вот что, кум, я вам посоветую, — начал Гжиб понизив голос. — Ежели хотите, чтобы мы жили с вами по-добрососедски, вы знаете, что сделайте?..

— Почему я знаю? И откуда мне знать?

— Женитесь на моей сестре.

— На Гавендиной? — спросил Слимак.

— Ну да. Вы вдовец и она вдова, у вас десять моргов, у нее пятнадцать и нет детей. Я возьму себе ее землю, раз уж она рядом с моей, а вам дам пятнадцать моргов из Хаммеровой, — вот и будет у вас двадцать пять моргов в одной полосе.

Слимак задумался.

— Сдается мне, — заметил он, — будто ее земля, стало быть вашей сестры, получше Хаммеровой.

— Ну, так я вам дам побольше лугов. По рукам? — настаивал Гжиб.

— Кто его знает? — протянул Слимак, почесывая затылок.

— Ну, по рукам, — твердил свое Гжиб. — А вы за мою доброту заплатите сто пятьдесят рублей Гроховскому да сто Иоселю.

Слимак заколебался.

— Я еще не схоронил свою бабу, как же тут жениться на другой? — вздохнув, сказал он.

Старик вышел из себя.

— Не дури! — крикнул он. — Ты что? Разве без бабы обойдешься в хозяйстве? Все равно женишься, не сейчас, так через полгода! Померла покойница — и крышка! А кабы могла она теперь голос подать, сама бы сказала: «Женись, Юзек, и не вороти нос от такого благодетеля, как Гжиб!»

— Чего это вы повздорили? — спросил, подходя, Гроховский.

— Я говорю, чтобы он женился на моей сестре, на Гавендиной, а он артачится, — ответил Гжиб.

— Ну, а как же! Вы хотите, чтобы я из своего кармана заплатил Гроховскому и Иоселю, — оправдывался Слимак.

— А пятнадцать моргов земли, а четыре коровы, а пара лошадей и всякая утварь — это что? — петушился Гжиб.

— Дело стоящее, — вмешался Гроховский. — Да только как ему управиться на двух полях?

— А я с ними поменяюсь, — объяснил Гжиб. — Сестрину землю возьму себе, а им выделю пятнадцать моргов здесь, возле его хутора.

— Да ведь это Хаммерова земля! — возразил Гроховский.

— Какая там Хаммерова! — крикнул Гжиб. — Они нынче же мне ее продадут, а денька через три, не позже, мы съездим к нотариусу, и я куплю у Хаммера всю ферму. Вот для этого лоботряса! — прибавил он, кивнув головой в сторону Ясека.

— Так они, что же, удирают отсюда? — спросил Гроховский.

— Э-э-э... Они бы тут до скончания века сидели, да Слимак не захотел продать свою землю и спутал все их расчеты. Они и обанкротились...

Гроховский размышлял.

— Ну, ничего не поделаешь, Юзек, женись, — вдруг сказал он Слимаку. — Будет у тебя двадцать пять моргов земли, да и женка хоть куда.

— Фью!.. — присвистнул Гжиб. — Дородная баба.

— И достатки у нее немалые, — прибавил Гроховский.

— И еще народит душ шесть ребятишек, — подхватил Гжиб.

— Барином заживешь, — заключил Гроховский.

Слимак вздохнул.

— Эх! — сказал он. — Одно жалко, что моя Ягна этого не увидит...

— А кабы она видела, не было бы у тебя двадцати пяти моргов, — вразумлял его Гроховский.

— Ну, так по рукам? — спросил Гжиб.

— Воля божья! — снова вздохнул Слимак.

— Жалко, нечем вспрыснуть, — подосадовал Гроховский.

— Осталось у меня чуток меду, что привез благодетель, — сказал Слимак и медленно, повесив голову, пошел в конюшню.

Через минуту он принес бутылку и зеленоватую рюмку, наполнил ее и обратился к Гжибу.

— Ну, кум, — поклонился он, — ну, кум, пью за ваше здоровье и за то, чтоб никогда больше у нас с вами не было ссор. А еще прошу вас, как брата или как отца, замолвить за меня словечко перед вашей сестрицей, стало быть Гавендиной, ибо имею я охоту на ней жениться — с вашего дозволения и благословения господня.

Он выпил, поклонился Гжибу в ноги и подал ему полную рюмку.

— А я тебе говорю, брат Слимак, — отвечал Гжиб, — что дражайшая моя сестрица уже вчера, когда был у нас ксендз, подумала о тебе. А нынче прислала тебе самый большой кулек крупы, пшеничную булку и кусок масла, да еще наказывала, чтобы ты перешел к ней жить, покуда сызнова не отстроишь свою хату. И я, то же самое, от души тебе рад, как родному брату, потому что ты один из всей деревни не поддался этим вероотступникам и немало потерпел в войне с ними, за что тебя наградит господь.

Гжиб выпил и подал рюмку Гроховскому.

— Очень я доволен, — сказал староста, когда ему налили меду, — очень я доволен, что все так хорошо обернулось. А потому желаю тебе, брат Слимак, радости от новой жены и от Ендрека, благо его нынче выпустят из каталажки. А вам, брат Гжиб, желаю радости от нового зятюшки и от вашего непутевого Ясека да еще — чтоб этот негодяй наконец остепенился. А тебе, Ясек, желаю на новом месте хозяйничать лучше немцев и в чужие конюшни не заглядывать, а то против тебя мужики уже сговариваются и раскроют тебе башку при первой оказии, аминь.

— На той неделе куплю у Хаммера ферму, а после праздников сыграем сразу две свадьбы! — крикнул повеселевший Гжиб.

После этих слов все четверо принялись обниматься и лобызать друг друга, а Слимак, заметив, что мед уже выпили, послал батрака Гроховского в деревню к Иоселю за бутылкой водки и бутылкой арака.

— Мало будет, брат! — вмешался Гроховский. — Накажи Иоселю прислать штофа три водки да бочонок пива: увидишь, нынче на похороны покойницы привалит тьма народу.

Слимак послушался разумного совета старосты и правильно сделал.

Под вечер, когда привезли гроб из местечка, проводить Слимакову пришло столько народу, что и старожилы не помнили таких похорон.

Договор свой мужики выполнили в точности. Гжиб в течение недели приобрел у Хаммеров ферму и еще до великого поста справил обе свадьбы — Ясека с Ожеховской и Слимака с Гавендиной.

Как раз к началу весны в деревню приехал землемер и произвел обмен земель между Гжибом и Слимаком. А в тот самый час, когда забили в землю первый колышек, из колонии выехали фургоны, увозившие имущество Хаммеров.

Осенью Ясек Гжиб с женой перебрался на ферму, а у Слимака к тому времени уже была хата и все основания надеяться на прибавление семейства. Пользуясь этим обстоятельством, вторая жена Слимака частенько отравляла ему жизнь, обзывала нищим и кричала, что ей он обязан всем своим богатством. Расстроившись, Слимак удирал из хаты на холм и там, лежа под сосной, размышлял о той удивительной борьбе, в которой немцы потеряли землю, а он четырех близких ему людей.

В деревне давно позабыли Слимакову, Стасека, Овчажа и сиротку, но Слимак помнил даже околевшего Бурека и корову, которую из-за нехватки кормов отдали мясникам на убой!..

Из других лиц, причастных к борьбе Слимака с немцами, дурочка Зоська умерла в тюрьме, а старуха Собесская — в корчме Йоселя. Остальные, в том числе и Иойна Недопеж и поныне живы и здоровы.

Примечания

Повесть впервые опубликована в 1885 году в журнале «Вендровец» («Путешественник»), пропагандировавшем в то время обращение к народной тематике. Во главе журнала стояли польские писатели Ст.Виткевич, А.Сыгетинский и А.Дыгасинский.

Прус работал над повестью несколько лет. В 1890 году, отвечая на упрек польского писателя Александра Свентоховского, обвинившего его в том, что он якобы недостаточно обдумывает свои произведения, Прус пишет: «В каждом произведении, которое я до сих пор издал, я использую едва третью или четвертую часть собранного мною материала, обдумываю произведение в течение нескольких лет, и когда начинаю его писать, то материал и план бывают уже обработаны.

«Форпост» я начал писать около 1880 года под названием «Наш форпост». Когда это начало я прочитал моему товарищу Д.Х., он посоветовал мне назвать повесть «Форпост» и сказал, что начало плохое. Это замечание заставило меня еще глубже исследовать теорию композиции и предпринять новые исследования жизни крестьян, в результате чего повесть появилась на несколько лет позже».

Прус так формулирует основную идею повести: «Не продавай землю немцам, хотя бы тебя соблазняло много +С и принуждало много —С». (В сокращениях Пруса «+С» значит счастье, «-С» — несчастье).

Публицистика Пруса свидетельствует о том, что его беспокоила немецкая колонизация в Польше. «Немцы слишком близко от нас, — пишет он в 1883 году. — Слишком близкий сосед часто забывает о том, что он гость и во имя пограничных отношений любит добираться до шевелюры хозяина».

Наблюдая борьбу с немецкими колонистами, Прус видит, что по-настоящему противостоят натиску прусского юнкерства только крестьяне. «Около 1880 года, — рассказывает он, — вышел „Дневник варшавской губернии“, где представлена почти столетняя история немецкой колонизации в этой губернии. Посмотрите только, из скольких деревень колонисты изгоняли наших крестьян, а из скольких наши крестьяне изгоняли колонистов, и вы убедитесь, что между этими двумя стихиями происходила и происходит борьба за каждый кусок земли. Это не идеология, это факты.

А кто же приводил немецких колонистов в страну — может быть, крестьянин? И кто заставляет колонистов уходить из Царства Польского? Может быть, не крестьянин?»

Прус неоднократно писал о необходимости для писателя обратиться к жизни крестьянства, он считал, что человек из народа — интересный объект для художника. Полемизуя с А.Свентоховским, который, признавая талант Пруса в описании психологии крестьянина, высказал мысль о том, что Прус никогда не сможет нарисовать титана мысли, какого-нибудь Цезаря, Наполеона или Колумба, Прус пишет: «Пан Свентоховский, критик, не понимает даже того, что психология крестьянина ничем не отличается в принципе от психологии Наполеона, и что бесконечно легче описать Наполеона, чем крестьянина. Ибо крестьянина нужно наблюдать лично, а Наполеона уже описало множество его поклонников и врагов. Ибо действия Наполеона так поражают воображение читателя, что рядом с ним кажутся незаметными ошибки в описании, в то время как вся ценность характеристики крестьянина заключена в тщательно продуманном определении».

«Форпост» был по-разному принят критикой.

В консервативном лагере «Форпост» вызвал недовольство тем, что Прус именно крестьянина, а не помещика показал защитником родины. В защиту шляхты выступил в своей полемике с Прусом писатель и критик реакционного лагеря Теодор Еске-Хоинский. Он стремился доказать, что шляхта всегда дорожила землей, что помещик всегда был не только хозяином, но и защитником земли. Для Еске-Хоинского Сликама и крестьянин вообще — «это зверь, животное, со всеми присущими ему инстинктами, подлое, глупое, лишенное каких-либо благородных идей».

Прогрессивная польская критика приветствовала появление повести «Форпост». Так, Владислав Богуславский, подчеркивая хорошее знание Прусом жизни

деревни и реалистическое ее отражение в повести, пишет: «Крестьянин у него — настоящий крестьянин, хата — крестьянская хата, корчма — крестьянская корчма, недостатки и достоинства — недостатки и достоинства крестьянской природы, вся жизнь — крестьянская жизнь; есть во всем этом убедительная правда».

Другой критик называет «Форпост» «крестьянской эпопеей» и отмечает, что Прус в ней «затронул самые основные проблемы крестьянской жизни в связи с общественными судьбами всего общества». «Это настоящая жемчужина нашей литературной прозы, золото высокой пробы», — пишет он в заключение.

Восторженно отзывался о «Форпосте» Стефан Жеромский. 15 июня 1887 года он пишет в своем дневнике: «Читали с Ясем „Форпост“ Пруса. Самого Пруса встречаем по несколько раз в день на улице. Такой нескладный, похожий на Гоголя, в сером сюртуке, с двумя парами очков — и пишет такие чудесные вещи! „Форпост“ я читал уже третий раз».